

Г. Р. ДЕРЖАВИН | В ВОСПОМИНАНИЯХ  
| СОВРЕМЕННОИКОВ

Г. Р. ДЕРЖАВИН

В ВОСПОМИНАНИЯХ  
СОВРЕМЕННОИКОВ

---





*Гавриил Романович*

Гавриил Романович Державин (1743–1816)

И. П. Пожалоутина (1837–1909) с оригинала В. Л. Боровиковского (1757–1825)  
1866. Гравюра резцом

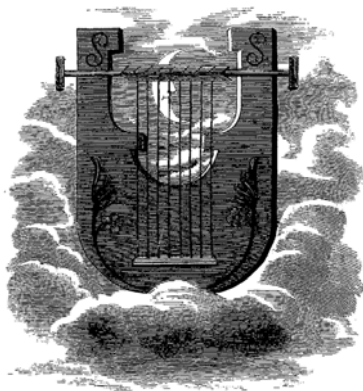
*К 275-летию со дня рождения*

*Г. Р. ДЕРЖАВИНА*

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ВСЕРОССИЙСКИЙ МУЗЕЙ А. С. ПУШКИНА  
МУЗЕЙ-УСАДЬБА Г. Р. ДЕРЖАВИНА

**Г. Р. ДЕРЖАВИН**  
**В ВОСПОМИНАНИЯХ СОВРЕМЕННОКОВ**



---

Санкт-Петербург  
2018

Д36 Г. Р. Державин в воспоминаниях современников / сост., вступ. ст. Н. П. Морозовой; подг. текстов и коммент. Б. А. Градовой (мемуары П. Н. и Е. Н. Львовых, С. В. Скалон), Н. П. Морозовой. — СПб.: Всероссийский музей А. С. Пушкина, 2018. — 440 с.; ил.

ISBN 978-5-9909951-9-2

В издании впервые собраны воедино сохранившиеся воспоминания о гениальном поэте и крупном государственном деятеле Гаврииле Романовиче Державине (1743—1816). Их авторами были как известные писатели, так и малоизвестные читателю литераторы. Особый интерес представляют мемуары, основанные на семейном предании. Публикуемые тексты различны по форме и литературным достоинствам, но каждый из них дополняет общую мемуарную картину. Историю ее создания отражает композиция сборника, в основу которой положена очередность появления мемуаров в печати.

Для любителей русской поэзии и широкого круга читателей.

ББК 84 (2Рос=Рус) 1-4

*В оформлении титульного листа использована иллюстрация из Сочинений Державина с объяснит. примеч. Я. Грота: в 9 т. Т. 3. СПб., 1866*



## Содержание

Предисловие (*Н. П. Морозова*) . . . . . 7

### ВОСПОМИНАНИЯ, ДНЕВНИКОВЫЕ ЗАПИСИ, ОЧЕРКИ

<i>П. И. Шаликов</i> . Министр, Поэт, добрый человек, Патриот (Достопамятность в моей жизни) . . . . .	15
<i>А. В. Храповицкий</i> . Из «Дневника. 1782–1793» . . . . .	18
<i>А. С. Пушкин</i> . Державин . . . . .	22
<i>И. И. Дмитриев</i> . Державин (Из записок «Взгляд на мою жизнь») . . . . .	24
<i>А. И. Нестеров</i> . Первое и последнее мое свидание с Державиным (июня 25-го 1813 г.) . . . . .	40
<i>С. Н. Глинка</i> . Первое свидание с Державиным . . . . .	44
<i>А. С. Стурдза</i> . Из статьи «„Беседа любителей русского слова“ и „Арзамас“ в царствование Александра I и мои воспомина- ния» . . . . .	49
<i>И. Ф. Тимковский</i> . Из «Записок: Мое определение в службу» . . . . .	52
<i>С. П. Жихарев</i> . Из «Записок современника» и «Воспоминаний старого театра» . . . . .	54
<i>М. А. Дмитриев</i> . Мелочи из запаса моей памяти <О Державине> . . . . .	77
<i>С. Т. Аксаков</i> . Из очерка «Яков Емельянович Шушерин и современ- ные ему знаменитости» . . . . .	87
<i>С. Т. Аксаков</i> . Знакомство с Державиным . . . . .	88
<i>В. И. Панаев</i> . О Державине. Из моих воспоминаний . . . . .	113
<i>М. Ф. Ростовская</i> . Воспоминание о Гаврииле Романовиче и Дарье Алексеевне Державиных . . . . .	136
<i>Ф. Ф. Вигель</i> . Из «Воспоминаний» . . . . .	196
<i>С. Т. Аксаков</i> . Из «Воспоминаний о Дмитрие Борисовиче Мертваго» (письмо В. П. Безобразову от 20 января 1857 года) . . . . .	201

<i>Д. Б. Мертваго.</i> Из «Записок» . . . . .	203
<i>Г. И. Добрынин.</i> Из «Истинного повествования, или Жизни Гавриила Добрынина, им самим писанной, 1752—1823» . . . . .	208
<i>Ф. П. Лубяновский.</i> Из «Воспоминаний» . . . . .	209
<i>А. Л. Витберг.</i> Из «Записок академика Витберга, строителя храма Христа Спасителя в Москве» . . . . .	210
<i>Д. Д. Рябинин.</i> Прощение, поданное императору Александру I черниговским протоиереем Кубецким . . . . .	211
<i>Н. И. Цылов.</i> Старинные острословия . . . . .	213
<i>Е. Н. Львова.</i> Из «Некоторых анекдотов людей известных, умных и по душе приятных» . . . . .	214
<i>П. Н. Львова.</i> Записки . . . . .	218
<i>Э. И. Стогов.</i> Из «Очерков, рассказов и воспоминаний» . . . . .	265
<i>С. В. Скалон (Капнист).</i> Из «Воспоминаний» . . . . .	266
<i>М. М. Попов.</i> Из «Мелких рассказов» . . . . .	271
<i>И. П. Хрущев.</i> Милена, вторая жена Державина . . . . .	273
<i>В. И. Лыкошин.</i> Из «Записок» . . . . .	314
<i>М. И. Гоголь.</i> Из воспоминаний (письмо к С. Т. Аксакову) . . . . .	315
<i>А. П. Кожевников.</i> Некоторые черты Званской жизни . . . . .	318

#### ЗВАНКА ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX ВЕКА

<i>В. Я. Стоюнин.</i> Званка (Из путевых впечатлений) . . . . .	331
<i>Я. К. Грот.</i> Званка и могила Державина . . . . .	358
<i>Иосиф, архимандрит.</i> Державинская Званка . . . . .	368
-Комментарии . . . . .	375
Аннотированный указатель имен, упоминаемых в текстах мемуаров . . . . .	420



## Предисловие

О, как удел певца высок!  
Кто в мире с ним судьбою равен?  
Откажет ли и самый рок  
Тебе в бессмертии, Державин?  
*К. Ф. Рылеев*

Воспоминания о Гаврииле Романовиче Державине (1743—1816) оставили многие его современники: известные писатели и поэты (А. С. Пушкин, П. И. Шаликов, И. И. Дмитриев, С. Т. Аксаков, В. И. Панаев, С. П. Жихарев), близкие родственники и их потомки (П. Н. и Е. Н. Львовы, С. В. Капнист, М. Ф. Ростовская, А. П. Кожевников), малознакомые широкому кругу читателей авторы (чиновники, начинающие литераторы). Их мемуары различны по форме: современные событиям дневниковые записи и воспоминания о далеком прошлом, развернутые повествования и очерки, «анекдоты».

Особый интерес представляют воспоминания, основанные на семейном предании. Они созданы ближайшим родственным окружением поэта и наполнены подробностями домашней жизни. В ней Державин был добрейшим человеком, отличался «ангельской кротостью», приветливостью и вниманием к ближним, особенно к молодежи. На государственной же службе был непримиримым борцом «противу всякой неправды и несправедливости», с его именем для современников «было соединено» все самое лучшее в человеке: честь, правда, любовь к ближнему, преданность отечеству.



Неравноценны литературные достоинства публикуемых текстов, но каждый из них делает общую мемуарную картину ярче и полноценнее. Историю ее создания отражает, в первую очередь, хронология появления мемуаров в печати. Этот принцип и положен в основу композиции данного сборника.

Первым опубликовал воспоминание о встрече с Державиным Петр Иванович Шаликов, побывавший в Петербурге летом 1810 года. Верный последователь Н. М. Карамзина, он создал путевой очерк, наделенный чертами сентиментальной прозаической миниатюры, и напечатал его в своем журнале «Аглая». С тех пор сюжет одной (часто единственной) встречи с Державиным сделался традиционным мемуарным поводом. На нем основаны воспоминания А. С. Пушкина, А. Нестерова, С. Н. Глинки и других авторов.

Развернутым рассказом о Державине стал фрагмент мемуаров Ивана Ивановича Дмитриева «Взгляд на мою жизнь», опубликованный племянником автора М. А. Дмитриевым с заглавием «Державин» в 1842 году в журнале «Москвитянин» (Ч. 1. № 1. С. 149—164). Здесь был создан яркий, полноценный портрет поэта, созвучный всем последующим воспоминаниям о нем. И. И. Дмитриев писал: «Державин как поэт и как государственная особа имел в предмете нравственность, любовь к правде, честь и потомство». Рассказ о доброте и простодушии Державина он закончил словами: «я не в силах был говорить вам об его гении, по крайней мере, в двух или трех чертах показал его сердце»<sup>1</sup>.

Издатель «Москвитянина», в котором появилась эта публикация, Михаил Петрович Погодин стремился сделать свой журнал органом «самобытного русского просвещения». Благодаря этому здесь печаталось значительное количество исторических материалов, в том числе посвященных истории русской словесности. Заметным явлением стала публикация

в 1853—1854 годах «Записок современника» («Дневник студента») Степана Петровича Жихарева, продолженная в следующем году в «Отечественных записках». Дневниковые записи 1805—1807 годов, автор которых подробно рассказывает о событиях каждого дня, сохранили немало новых для читателя эпизодов и деталей жизни Державина. Особенно часто идет речь об участии поэта в литературных собраниях будущей «Беседы любителей русского слова». Свои же чувства накануне встречи с ним Жихарев описывает так: «И вот я послезавтра буду обедать у Державина! Напишу о том к своим. Боюсь, что не поверят моему благополучию. Воображаю, что скажет Петр Иванович <Шаликов> и как вырасту я в его мнении»<sup>2</sup>.

«Счастливейшей минутой в своей жизни» назвал встречу с прославленным поэтом и Сергей Тимофеевич Аксаков — автор замечательного очерка «Знакомство с Державиным», опубликованного в 1856 году в его книге «Семейная хроника и Воспоминания». Молодой «декламатор» показал нам поэта в ситуации творческого общения, когда он читал Державину и знаменитые его оды, и недавно сочиненные трагедии: «Все мои сердечные ноты, каждый переход из тона в тон, каждый одушевленный звук переживала его восприимчивая, страстная душа! Он не мог сидеть, часто вскакивал, руки его делали беспрестанные жесты, голова, все тело было в движении. Восхищениям, восторженным похвалам, объятьям — не было конца, а моему счастью — не было меры». Вспоминая об этом 35 лет спустя, автор очерка писал: «Сколько простосердечия, теплоты, живости и благодушия сохранялось еще в этом семидесятитрехлетнем старце, в этом гениальном таланте!»<sup>3</sup>

В 1859 году вышел из печати «учено-литературный» сборник «Братчина», составленный из статей бывших студентов

Казанского университета. Название сборнику придумал «старейший выпускник» С. Т. Аксаков. Другой «бывший студент» — Владимир Иванович Панаев опубликовал здесь посвященный поэту фрагмент из своих «Воспоминаний», озаглавив его «О Державине». Эта публикация, как и очерк Аксакова, рассказывает о поэте в последний год его жизни, но имеет уже иную тональность, обусловленную родственными связями автора с Державиным. Вот как описывает, например, юный Панаев встречу со знаменитым родственником: «С благоговением вступил я в кабинет великого поэта. Он стоял посреди комнаты, как на портрете<sup>4</sup>, только, вместо бархатного тулупа, в сереньком серебристом бухарском халате, и медленно, шарча ногами, шел ко мне навстречу. От овладевшего мною замешательства, не помню хорошенько, в каких словах я ему отрекомендовался, помню только, что он два раза меня поцеловал, а когда я хотел поцеловать его руку, он не дал и, поцеловав меня еще в лоб, сказал: “Ах, как похож ты на своего дедушку!”»<sup>5</sup>

В очерк включена еще одна портретная зарисовка, относящаяся к посещению автором рождественского обеда в доме поэта: «В этот раз я почти не узнал Державина — в коричневом фраке, с двумя звездами, в черном исподнем платье, в хорошо причесанном парике». Особый интерес представляет и рассказ о собраниях «Беседы любителей русского слова» зимой 1816 года: «Они в полном смысле могли назваться блестящими. Многочисленная публика наполняла обширную, великолепно освещенную залу. В числе посетителей находились почти все государственные сановники и первенствующие генералы. Тут в первый раз видел я графа Витгенштейна, графа Сакена, графа Платова, которого маститый хозяин встретил с каким-то особенным радушием. На последнюю беседу ждали государя императора. Но когда все заняли свои места, во-

шел в залу с.-петербургский главнокомандующий, граф Вязмитинов, и объявил Державину, что государь, занятый полученными из-за границы важными депешами, к сожалению, приехать не может»<sup>6</sup>.

Одновременно с появлением воспоминаний Панаева журнал «Русская беседа» начал публикацию автобиографических «Записок» Державина, вызвавших неоднозначную реакцию в журнальных откликах 1860-х годов<sup>7</sup>. Несмотря на это, читатели получили возможность ближе узнать поэта, прежде всего, как государственного деятеля. С деталями его творческой жизни, обстоятельствами создания и аллегорическим смыслом многих произведений они могли познакомиться, прочитав ранее напечатанные «Объяснения на сочинения Державина, им самим диктованные родной его племяннице, Елисавете Николаевне Львовой, в 1809 году, изданные Ф. П. Львовым в четырех частях» (СПб., 1834). Эти два текста дополняют друг друга.

Большим стимулом к созданию и публикации мемуаров о Державине стало решение Академии наук издавать его Сочинения. План работы был опубликован Я. К. Гротом<sup>8</sup>, начавшим собирать рукописи поэта и документальные источники для ее выполнения. В 1859 году он получил Записки Елизаветы Николаевны Львовой и от нее же Записки ее сестры Прасковии Николаевны, позднее Софьи Васильевны Скалон (Капнист), использованные в работе над фундаментальным трудом «Жизнь Державина» (Т. 1–2. СПб., 1880–1883).

Показательно, что в год выхода из печати первого тома «Сочинений Державина» (СПб., 1864) дочь Е. Н. Львовой, писательница Мария Федоровна Ростовская создает и печатает в издававшемся ею журнале «Семейные вечера» объемное «Воспоминание о Гавриле Романовиче и Дарье Алексе-

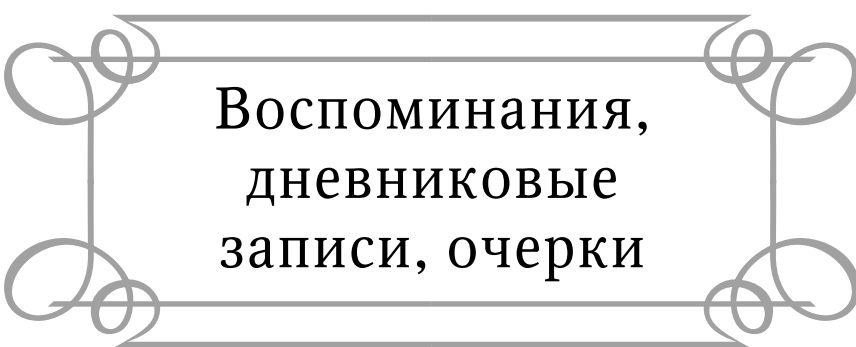
### *Предисловие*

евне Державиных с присовокуплением четырнадцати анекдотов из жизни Державина», основанное во многом на семейном предании и имевшихся в ее распоряжении рукописных мемуарных источниках.

Таковыми же источниками располагал Иван Петрович Хрущев, женатый на внучке Веры Николаевны Воейковой (племянницы Д. А. Державиной), в работе над статьей «Милена, вторая жена Державина»<sup>9</sup>.

Среди мемуаров, созданных родственным кругом поэта, особое значение имеют «Записки» П. Н. Львовой, рассказавшей о последних днях жизни Державина, скончавшегося в новгородском имении Званка. В отдельный раздел выделены публикации, повествующие о судьбе этого имения после кончины владельцев.

*Н. П. Морозова*



Воспоминания,  
дневниковые  
записи, очерки





П. И. ШАЛИКОВ

## Министр, Поэт, добрый человек, Патриот

(Достопамятность в моей жизни)

Sans la froide indifférence,  
Sans la fière résistance,  
Tous les coeurs ferocent contens.

*J.-J. Rousseau*<sup>1</sup>

«Где живет Н. Н.? — спросил я инвалида, который, стоя на часах подле своей будки, попевал веселую песенку. «Неужели не знаете, ваше благородие?» — сказал он с усмешкою. — «Право нет; я приезжий». — «Ступайте прямо, и там по левой руке увидите большой дом». — «Благодарствую», — сказал я и отправился.

Пришел, взошел на лестницу; швейцар, не дожидаясь моего вопроса, говорил: «Извольте идти прямо».

«Это редкость! — думал я. — Как это возможно! Здесь даже не спрашивают, *зачем?* к кому? с каким видом? с каким намерением? Редкость, повторяю, которая не знаю где еще может случиться!»

Идучи все прямо, я прямо вошел в комнату. Мне отворили дверь также без малейших расспросов, и я уже находился



в приемной ревностного служителя Фемиды, у Вельможи, Философа, доброго человека, прекраснейшего Поэта! Вот достоинства, на которые не всякий имеет право; и только к подобным людям можно ходить прямо!..

Приемная комната была уже наполнена разными лицами; удовольствие было изображено на каждом! — Простосердечная и с к р е н н о с т ь отличала Министра-Патриота от обыкновенных министров. Он разговаривал, когда я вошел к нему, и не заметил меня; но как скоро окончил разговор свой, я поклонился ему и передал рекомендательные письма. «Мы с вами давно знакомы», — сказал он мне ласково и приветливо; прочел письма и расспрашивал меня о многом и все с такою любезностию, с такою приятностию, с какими я не знаю, кто бы мог говорить. — Я едва мог отвечать ему и хотел бы лучше всегда слушать его: какое-то непостижимое удовольствие разливалось в сердце моем, в душе моей и, казалось, всё говорило мне: «Радуйся! ты теперь подле доброго человека! подле доброго. П а т р и о т а - В е л ь м о ж и!» — В самом деле, какое удовольствие может равняться с тем удовольствием, которое доставляет нам время, разделяемое с редким, всегда милым, везде любезным нам человеком! — Вот тот великий счастливец, думал я, о котором сказал некогда наш *Мориц*<sup>2</sup> — *Карамзин*: «Он по природному чувству своему не может не любить, не делать добра: дружба есть потребность жизни его!»

Никто из посетителей не был обойден приветливостью доброго Вельможи; блеск и грубость здесь совсем неизвестны; он так же говорит, так же поступает, как пишет, как чувствует, думает.

Его желанья — скромно жить,  
Не с завистью — с сердечным миром;  
А злату не бывать души его кумиром!<sup>3</sup>

Хороший человек прекрасен во всех эпохах жизни своей! Он одинаков и в блеске счастья и в смиренной хижине, везде, везде — и этот человек есть человек истинный! Блажен тот монарх, который окружает себя подобными Вельможами; счастлив тот народ, который имеет ходатаем своим подобного Гражданина.

Потребно ли здесь больше слов  
Для тех, которых восхищает  
Честь, правда и язык богов?<sup>4</sup>

«Вы все еще продолжаете делать свои наблюдения?»<sup>5</sup> — спросил Министр-Поэт. «Боже мой! — отвечал я. — Мое самолюбие весьма ограничено; могу ли во всяком случае полагаться на точность или справедливость неопытных мнений моих? я ничто в огромной массе всего! и почему знать, кто может согласиться со мною в чем-нибудь?..» Он рассмеялся. Ах! если б я имел перо Тацита, я бы изобразил теперь добродетель в полном блеске ее, во всем ее величии, — так думал я; если бы я обладал магическою кистию Рафаэля, то вот предмет для несравненной, прекраснейшей Физиономии! Говорю о моем Герое:

Не потрясая мира громом,  
Себя к бессмертным приобщил!<sup>6</sup>

В двенадцатом часу мы расстались с сим редким человеком, и все были преисполнены несравненного удовольствия! Этот день был одним из благополучнейших дней в жизни моей; он мне доставил первое знакомство и первое свидание с человеком, которого всегда почитал душевно!

Здесь я буду часто, думал я, оставляя дом гостеприимного, доброго Вельможи, здесь, везде и всегда стану восхищаться им! Но что думают и чувствуют, когда оставляют гордость и тщеславие?



А. В. ХРАПОВИЦКИЙ

## Из «Дневника. 1782–1793»

1788

*Ноябрь*

29. <...>. По докладу Сената приказано Державина отдать под суд. Он стихотворец и легко его воображение может быть управляемо женою, коей мать злобна и ни к чему не годна. <...>

1789

*Июнь*

27. Читал доклад о Державине, 6-м Сената департаментом оправданном. — Приказано отыскать оду «Фелице».

*Июль*

11. Читал просьбу Державина и поднес оду «Фелице». В ней прочтено при мне:

Еще же говорят не ложно,  
Что будто завсегда возможно  
Тебе и правду говорить.

Приказано сказать Державину, что доклад и просьба его читаны и что ее величеству трудно обвинить автора оды к «Фелице», *cela le consolera*<sup>1</sup>. Донес о благодарности Державина — *on peut lui trouver une place*<sup>2</sup>.

29. <...>. По письму Державина дозволено ему быть в среду к ее величеству. <...>

*Август*

1. Провел Державина в Китайскую и ждал в Лионской<sup>3</sup>. «Я ему сказала, что чин чина почитает. В третьем месте не мог ужиться, надобно искать причину в себе самом. Он горячился и при мне. Пусть пишет стихи. Il ne doit pas être trop content de ma conversation»<sup>4</sup>. Велено выдать неполученное им жалованье, а гр[аф] Без[бородко] прибавил в указе, чтобы и впредь производить до определения к месту.

1791

*Декабрь*

13. <...>. Гав<рило> Ром<анович> Державин определен в секретари.

15. Державин явился. Об нем докладывали. Недосуг. После был впущен; приласкали, но не очень.

18. С гневом у меня и у Турчанинова спрашивали, почему знает гр. Кобенцель, что Державину поручены мемории Сената? Он пишет о том в перлюстрации. Я оправдался тем, что и сам такой новой должности не знал и с министрами никакой связи не имею.

1792

*Февраль*

13. Сказали мне после доклада Державина, что он ходит с такими просьбами, какими бабы разжалобили тещу и жену его. Я промолчал.

14. Державин не приезжал во дворец, прислав сказать, что болят зубы.

*Март*

2. Как-то не в добрый час Державин докладывал по делу графа Моцениги с банкиром бароном Сутерландом<sup>5</sup>. По на-

клонении его не захотели решить на основании приговора, в Пизе учиненного, и с неудовольствием Державина отпустили. Потом, тотчас призвав меня, рассказывали об обстоятельствах дела. «Как мне это решить? Пусть разбираются между собою или помирятся. Он со всяким вздором ко мне лезет». Я отвечал, что как это дело заключается только в купеческих расчетах, то могут выбрать посредников, коммерцию знающих, и кончить расчет. Пошли к прическе волос и, скоро кликнув Державина, при парикмахерах со слов моих дали резолюцию. После и без него говорили: он так нов, что ходит с делами, до меня не принадлежащими.

4. Говорено мне еще о Державине, по случаю просьбы купца Милютина, по почте из Софии присланной, где ссылается он на просьбу, Державину поданную, что Державин принимает все прошения о деньгах, готов принять на миллион; это работа его тещи. Она самая негодница и доходила до кнута, но так оставлено за то только, что была кормилицею великого князя. Говорено с жаром.

### *Апрель*

5. <...>. Подписан указ, чтоб Васильеву, Державину и Новосильцову ревизовать Сутерландову контору. Державин прибавлен Зубовым.

21. Поздравил с праздником. — Разбирая почту, на просьбу Елмановой велели ей сказать: „J'ai un Sœur de poche“<sup>6</sup>, и спросить Державина, не знакома ли ему? Теща его всех просительниц знает. <...>

30. При отдаче мне бумаг для доклада граф Безбородко сказывал, что и с ним говорили о шашнях Державина. Граф внушил, что по мемориям именных указов давать Сенату нельзя. — Сказал я графу о предложениях князя Потемкина Таврического, поданных Поповым. Он дополнил: Что сказа-

ли? Давай их сюда!» Думая найти проекты какие, но увидели только записки о даче Державину 2-го класса св. Владимира, о помещении бывшего в Астрахани губернатора Алексеева, о гвардейских капитанах, назначенных в полковники. Все худо очень принято и особенно о Державине отвечали: «Он должен быть много доволен, что взят из-под суда в секретари, а орден без заслуг не дается»<sup>7</sup>.

*Сентябрь*

3. Подписали указ в пользу Кашкина, чтоб судить Ярославова<sup>8</sup> против старательства Державина и Зубова.

1793

*Июнь*

14. Державин мне сказывал, что при нем ее величество меня и Ал. Ив. Васильева назвала мартинистами и что Новиков сочтен умным и опасным человеком.

*Июль*

14. Сего утра Державин докладывал по Сутерландову делу.  
<...>



А. С. ПУШКИН

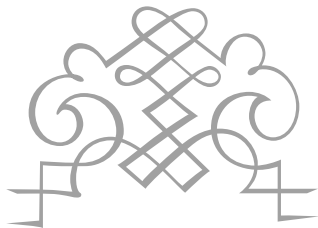
## Державин

Державина видел я только однажды в жизни, но никогда того не забуду. Это было в 1815 году, на публичном экзамене в Лицее. Как узнали мы, что Державин будет к нам, все мы взволновались. Дельвиг вышел на лестницу, чтоб дожидаться его и поцаловать ему руку, руку, написавшую «Водопад». Державин приехал. Он вошел в сени, и Дельвиг услышал, как он спросил у швейцара: «где, братец, здесь нужник?» Этот прозаический вопрос разочаровал Дельвига, который отменил свое намерение и возвратился в залу. Дельвиг это рассказывал мне с удивительным простодушием и веселостию. Держ.<авин> был очень стар. Он был <в> мундире и в плисовых сапогах. Экзамен наш очень его утомил. Он сидел, подперши голову рукою. Лицо его было бессмысленно; глаза мутны; губы отвислы; портрет его (где представлен он в колпаке и халате) очень похож. Он дремал до тех пор, пока не начался экзамен в русской словесности. Тут он оживился, глаза заблестали; он преобразился весь. Разумеется, читаны были его стихи, разбирались его стихи, поминутно хвалили его стихи. Он слушал с живостию необыкновенной. Наконец вызвали меня. Я прочел мои *Воспоминания в Ц.<арском> С.<еле>*, стоя в двух шагах от Державина. Я не в силах описать состояния души моей: когда дошел я до стиха, где упоми-

*Державин*

наю имя Державина, голос мой отроческий зазвенел, а сердце забилось с упоительным восторгом... —

Не помню, как я кончил свое чтение, не помню, куда убежал. Державин был в восхищении; он меня требовал, хотел меня обнять... Меня искали, но не нашли...







И. И. ДМИТРИЕВ

## Державин

(Из записок «Взгляд на мою жизнь»)

Поэзия Державина известна мне стала еще с 1776 года. Около того времени первые произведения его вышли в свет без имени автора из типографии Академии наук под названием «Оды, сочиненные и переведенные при горе Читалагае». Это были, как я после узнал, плоды кратких досугов его в военном стану, посреди уфимских степей. Тогда он, в числе гвардейских офицеров, находился для разных поручений при Александре Ильиче Бибикове, предводителе войск против бунтовщика и самозванца Пугачева.

В этой книжке помещены были несколько од разного содержания, более философических, и послание Фридриха Второго к астроному Мопертюи, переведенное в прозе. Я упоминаю с такою подробностью об этой книжке потому только, что ныне она редка и немногим известна даже из литераторов. В стихах, помещенных в ней, при некоторых недостатках, уже показывались замашка врожденного таланта и главные свойства его: благородная смелость, строгие правила и резкость в выражениях. После того в разные времена вышли также без его имени «Послание к И. И. Шувалову, по случаю возвращения его из чужих краев», писанное в Казани; оды «На

смерть князя Мещерского»; «К соседу»; «К киргиз-кайсацкой царевне Фелице»; стансы «Успокоенное неверие», дифирамб «На выздоровление И. И. Шувалова» и «Гребеневский ключ», посвященный М. М. Хераскову. Все эти стихи, кроме послания, по моему мнению, суть лучшие и совершеннейшие из поэтических произведений Державина. Они были напечатаны в «Санктпетербургском вестнике» в 1778 году и последующих<sup>1</sup>, а потом некоторые из них перепечатаны с поправками в «Собеседнике любителей российского слова»<sup>2</sup>. В нем участвовала сама императрица. Ее сочинения выходили под названием «Былей и небылиц». Издавался же он под надзором президента обеих Академий княгини Катерины Романовны Дашковой.

Кроме «Фелицы», долго я не знал и нетерпеливо желал узнать об имени автора упомянутых стихотворений. Хотя сам писал и худо, но по какому-то чутью находил в них более силы, живописи, более, так сказать, свежести, самобытности, нежели в стихах известных мне современных наших поэтов. К удивлению должно заметить, что ни в обществах, ни даже в журналах того времени не говорено было ничего об этих прекрасных стихотворениях; малое только число словесников, друзей Державина, чувствовали всю их цену. Известность его началась не прежде, как после первой оды его к Фелице<sup>3</sup>. Наконец, я узнал об имени прельстившего меня поэта; узнал и самого его лично; но только глядывал на него издали во дворце, с чувством удовольствия и глубокого уважения. Вскоре потом посчастливилось мне вступить с ним и в знакомство. Вот какой был к тому повод.

Во вторую кампанию Шведской войны я ездил на границу Финляндии для свидания с старшим братом моим<sup>4</sup>. Он служил тогда в пехотном Псковском полку премьер-майором. В продолжении дороги и на месте я вел поденную записку,

описывая в ней, между прочим, одно красивое местоположение, употребил я обращение в стихах к Державину и назвал его единственным у нас живописцем природы. По возвращении моем знакомец мой, П. Ю. Львов, переписал эти стихи для себя и показал их поэту. Он захотел узнать меня, несколько раз говорил о том Львову, но я совестился представиться знаменитому певцу в лице мелкого и еще никем не признанного стихотворца. Долго не мог решиться и все откладывал. Наконец, одним утром знакомец мой прислал собственноручную записку к нему Державина, в которой он еще напоминал Львову о желании его сойтись со мною. Эта записка победила мою застенчивость. Итак, в сопровождении Львова отправился я к поэту, с которым желал и робел познакомиться.

Мы застали хозяина и хозяйку в авторском кабинете; в колпаке и в атласном голубом халате, он что-то писал на высоком налое, а она, в утреннем белом платье, сидела в креслах посреди комнаты, и парикмахер завивал ей волосы. Добросердечный вид и приветливость обоих с первых слов ободрили меня. Поговоря несколько минут о словесности, о войне и проч., я хотел, соблюдая приличие, откланяться; но они оба стали унимать меня к обеду. После кофе я опять поднялся, и еще упрошен был до чая. Таким образом, с первого посещения я просидел у них весь день, а чрез две недели уже сделался коротким знакомцем в доме; с того времени редко проходил день, чтоб я не имел свиданья с этой любезной и незабвенной четою.

Державину минуло тогда пятьдесят лет<sup>5</sup>. Он был еще действительным статским советником и кавалером ордена св. Владимира третьей степени. Года за два пред тем он отрешен был от должности губернатора Тамбовской губернии, по случаю несогласия, происшедшего между им и генерал-губернатором графом Гудовичем. Взаимные их жалобы отданы

были на рассмотрение Сената. Державин был оправдан<sup>6</sup>. Любопытная столица с нетерпением ожидала от премудрой Фелицы решения судьбы любимого ее поэта.

Между тем князь Потемкин-Таврический, отправляясь в армию, приготавливался несколько месяцев к великолепному угощению императрицы; это было уже по взятии Очакова<sup>7</sup>. Державину поручено было от князя заблаговременно сочинить, по сообщенной ему программе, описание праздника. Знакомство наше началось вместе с этой работою. Почти в моих глазах она была продолжаема и окончена. Праздник изумил всю столицу; описание<sup>8</sup> напечатано, но не полюбилось, как слышно было, Потемкину; вероятно, за поэтическую характеристику хозяина, довольно верную, но не у места шутливую.

С первых дней нашего знакомства я уже пробежал толстую рукопись всех собранных его стихотворений, известных и неизвестных. Сверх того показаны мне и те, которые, по хлопотам службы, долгое время лежали у него неоконченными.

Главнейшие из них были «Водопад», состоявший тогда в пятнадцати только строфах, «Видение Мурзы», «На коварство», «Прогулка в Сарском Селе». Последние стихи, равно как и «Видение Мурзы», дописал он уже при появлении «Московского журнала»<sup>9</sup>; «Водопад» гораздо после, когда получено было известие о кончине князя Потемкина<sup>10</sup>; оду же «На коварство» еще позднее<sup>11</sup>. Немногим известно, что и «Вельможа» напечатан был в числе од, писанных при горе Читалагае, о коих я упоминал выше. Но любители словесности познакомилась с нею уже при втором появлении, когда поэт прибавил к этой оде несколько строф, столь изобильных сатирическою солью и яркими картинами. Возобновление ее последовало по кончине князя Потемкина при генерал-прокуроре графе Самойлове. Общество находило в ней много намеков на счет того и другого. Тогда поэт был уже сенатором<sup>12</sup>.

Державин при всем своем гении с великим трудом поправлял свои стихи. Он снисходительно выслушивал советы и замечания, охотно принимался за переделку стиха, но редко имел в том удачу. Везде и непрестанно внимание его обращено было к поэзии. Часто я заставал его стоявшим неподвижно против окна и устремившим глаза свои к небу. «Что вы думаете?» — однажды спросил я. «Любуюсь вечерними облаками», — отвечал он. И чрез некоторое время после того вышли стихи «К дому, любящему учение»<sup>13</sup> (к семейству графа А. С. Строганова), в которых он впервые назвал облака *краезлатыми*. В другой раз заметил я, что он за обедом смотрит на разварную щуку и что-то шепчет; спрашиваю тому причину. «Я думаю, — сказал он, — что если бы случилось мне приглашать в стихах кого-нибудь к обеду, то при исчислении блюд, какими хозяин намерен потчевать, можно бы сказать, что будет и *щука с голубым пером*». — Мы чрез год или два услышали этот стих в его послании к князю А. А. Безбородке<sup>14</sup>.

Голова его была хранилищем заготовленного запаса сравнений, уподоблений, сентенций и картин для будущих его поэтических произведений. Он охотник был до чтения, но читал без разборчивости; говорил мало, отрывисто и некрасно. Кажется, будто заботился только о том, чтобы сказать скорее. Часто посреди гостей, особенно же у себя, задумывался и склонялся к дремоте; но я всегда подозревал, что он притворяется, чтобы не мешали ему заниматься чем-нибудь *своим*, важнейшим обыкновенных, пустых разговоров. Но тот же самый человек говорил долго, резко и с жаром, когда пересказывал о каком-либо споре по важному делу в Сенате или о дворских интригах, и просиживал до полуночи за бумагой, когда писал *голос*, заключение или проект какого-либо государственного постановления. Державин как поэт и как госу-

дарственная особа имел в предмете нравственность, любовь к правде, честь и потомство.

Вместе со входом в дом его как будто открылся мне путь и к Парнасу: дотоле быв знаком только с двумя стихотворцами, Ермилом Ивановичем Костровым и Дмитрием Ивановичем Хвостовым, я увидел в обществе Державина вдруг несколько поэтов и словесников: певца «Душеньки»<sup>15</sup> Ипполита Федоровича Богдановича, переводчика «Телемака» и «Гумфрея Клингера» Ивана Семеновича Захарова, Николая Александровича и Федора Петровича Львовых, Алексея Николаевича Оленина, столь известного по его изобретательному таланту в рисованье и сведущему в художествах и древности. О первом не стану повторять того, что уже помещено было Карамзиным по пересказам моим в биографии Богдановича, напечатанной в «Вестнике Европы»<sup>16</sup>; прибавлю только, что я познакомился с ним в то время, когда уже он мало занимался литературою, но сделался невольным данником большого света. По славе «Душеньки» многие, хотя и не читали этой поэмы, хотели, чтоб автор ее дремал за их поздними ужинами. Всегда в французском кафтане, кошелек на спине и тафтяная шляпка (кляк) под мышкою, всегда по вечерам в концерте или на бале в знатном доме: Богданович, если не играл в вист, то везде слова два о дневных новостях, или о дворе, или заграничных происшествиях, никогда с жаром, никогда с большим участием; он не любил не только докучать, даже и напоминать о стихах своих; но втайне сердца всегда чувствовал цену свою и был довольно щекотлив к малейшим замечаниям на счет произведений пера его. Впрочем, чужд злоязычия, строгий блюститель нравственных правил и законов общества, скромный и вежливый в обращении, он всеми благоразумными и добрыми людьми был любим и уважаем.

Через Державина же я сошелся и с Денисом Ивановичем Фонвизиным. По возвращении из белорусского своего поместья он просил Гаврила Романовича познакомить его со мною. Назначен был день нашего свидания. В шесть часов пополудни приехал Фонвизин. Увидя его в первый раз, я вздрогнул и почувствовал всю бедность и тщету человеческую. Он вступил в кабинет Державина, поддерживаемый двумя молодыми офицерами из Шкловского кадетского корпуса, приехавшими с ним из Белоруссии. Уже он не мог владеть одною рукою, равно и одна нога одеревенела: обе поражены были параличом. Говорил с крайним усилием и каждое слово произносил голосом охриплым и диким; но большие глаза его быстро сверкали. Первый брошенный на меня взгляд привел меня в смятение. Разговор не замешкался. Он приступил ко мне с вопросами о своих сочинениях: знаю ли я «Недоросля»? читал ли «Послание к Шумилову», «Лисукондойку», перевод его «Похвального слова Марку Аврелию» и так далее; как я нахожу их?

Казалось, что он такими вопросами хотел с первого раза выведать свойства ума моего и характера. Наконец, спросил меня и о чужом сочинении: что я думаю об «Душеньке»? «Она из лучших произведений нашей поэзии», — отвечал я. «Прелестна!» — подтвердил он с выразительною улыбкою. Потом Фонвизин сказал хозяину, что он привез показать ему новую свою комедию «Гофмейстер»<sup>17</sup>. Хозяин и хозяйка изъявили желание выслушать эту новость. Он подал знак одному из своих вожатых, и тот прочитал комедию одним духом. В продолжение чтения автор глазами, киваньем головы, движением здоровой руки подкреплял силу тех выражений, которые самому ему нравились. Игривость ума не оставляла его и при болезненном состоянии тела; несмотря на трудность рассказа, он заставлял нас не однажды смеяться. По словам

его, во всем уезде, пока он жил в деревне, удалось ему найти одного только литератора, городского почтмейстера. Он выдавал себя за жаркого почитателя Ломоносова. «Которую же из од его, — спросил Фонвизин, — признаете вы лучшею?» — «Ни одной не случилось читать», — отвечивал ему почтмейстер. «Зато, — продолжал Фонвизин, — доехав до Москвы, я уже не знал, куда мне деваться от молодых стихотворцев. От утра до вечера они вокруг меня роились. Однажды докладывают мне: „Приехал сочинитель“. — „Принять его“, — сказал я, и чрез минуту входит автор с пучком бумаг. После первых приветствий и оговорок он просит меня выслушать трагедию его в *новом вкусе*; нечего делать: прошу его садиться и читать. Он предваряет меня, что развязка драмы его будет совсем необыкновенная. У всех трагедии оканчиваются добровольным или насильственным убийством, а его героиня или главное лицо — умрет естественною смертию. «И в самом деле, — заключил Фонвизин, — героиня его от акта до акта чахла, чахла и наконец издохла».

Мы расстались с ним в одиннадцать часов вечера, а наутро он уже был в гробе!<sup>18</sup>

Между известными того времени поэтами, посещавшими Державина, к удивлению моему, ни однажды не сходился я с Княжниным и Петровым.

Первого, по крайней мере, видал я в театре, а последнего никогда не знал; хотя и жила с ним в одном городе; оды его и тогда были при дворе и у многих словесников в большом уважении; но публика знала его едва ли не понаслышке, а Державин и приверженные к нему поэты, хотя и не отказывали Петрову в лирическом таланте, но всегда останавливались более на жесткости стихов его, чем на изобилии в идеях, на возвышенности чувств и силе ума его. Что же касается до меня, я желал бы большего благозвучия стихам его, но всегда



почитал в нем одного из первоклассных и *ученейших* наших поэтов. По моему мнению, лучшие из его произведений две оды: одна на сожжение турецкого флота при Чесме<sup>19</sup>, другая к графу Г. Г. Орлову<sup>20</sup>, начинающаяся стихом:

Защитник строгого Зинова закона...

и элегия, или песнь, на кончину князя Потемкина<sup>21</sup>. Он истощил в ней все красоты поэзии и ораторского искусства. Менее всего он успел в сатирическом и шутливом роде. В нежном писал он мало, но с чувством. В пример тому можно привести на память стихи его на рождение дочери<sup>22</sup>; они оканчиваются следующим обращением к его супруге:

О ангел! страж семьи! ты вечно для меня  
Одна в подсолнечной красавица, прелеста,  
Мать истинная чад,  
Живой источник мне отрад,  
Всегда любовница, *всегда моя невеста!*

Какое глубокомыслие, какая нежность, истина и простота в последнем стихе!

Н. А. и Ф. П. Львовы, А. Н. Оленин и П. Л. Вельяминов составляли почти ежедневное общество Державина. Здесь же познакомился я с Васильем Васильевичем Капнистом. Он по несколько месяцев проживал в Петербурге, приезжал из Малороссии, его отчизны, и веселым остроумием, вопреки меланхолическому тону стихов его, всегда оживлял нашу беседу.

Но я еще более находил удовольствие быть одному с хозяйном и хозяйкою. Катерина Яковлевна, первая супруга Державина, дочь кормилицы императора Павла и португальца Бастидона, камердинера Петра Третьего, с пригожеством лица соединяла образованный ум и прекрасные качества души, так сказать, любивой и возвышенной. Она пленялась всем изящным и не могла скрывать отвращения своего от

всего низкого. Каждое движение души обнаруживалось на миловидном лице ее. По горячей любви своей к супругу, она с живейшим участием принимала к сердцу все, что ни относилось до его благосостояния. Авторская слава его, успехи, неудовольствия по службе были как будто ее собственные. Однажды она провела со мною около часа наедине; кто же поверит мне, что я во все это время только слушал, и о чем же? она рассказывала мне о разных неудовольствиях, претерпенных мужем ее в бытность его губернатором в Тамбовской губернии; говоря же о том, не однажды отирала слезы на глазах своих.

Воспитание ее было самое обыкновенное, какое получали тогда в частных учебных заведениях; но она по выходе в замужество пристрастилась к лучшим сочинениям французской и отечественной словесности. В обществе друзей своего супруга она приобрела верный вкус и здравое суждение о красотах и недостатках сочинения; от них же, а более от Н. А. Львова и А. Н. Оленина, получила основательные сведения в музыке и архитектуре.

В пример доброго ее сердца расскажу еще один случай: жена, муж и я сидели в его кабинете; они между собою говорили о домашних делах, о старине, дошли, наконец, до Казани, отчизны поэта. Катерина Яковлевна вспомнила покойную свекровь свою<sup>23</sup>, начала хвалить ее добрые качества, ее к ним горячность, наконец, стала тужить, для чего они откладывали свидание с нею, когда она в последнем письме своем так убедительно просила их приехать, навсегда с нею проститься. Поэт вздохнул и сказал жене: «Я все откладывал в ожидании места (губернаторского), думал, уже получаю его, испросить отпуск и съездить в Казань». При этом слове оба стали обвинять себя в честолюбии, хвалить покойницу и оба заплакали. Я с умилением смотрел на эту добросердечную чету. Молодая

супруга, пятидесятилетний супруг оплакивают одна свекровь, другой мать — и чрез несколько лет по ее смерти!

Державин любил вспоминать свою молодость. Вот что я от него самого слышал: отец его был помещик Уфимской провинции, составлявшей тогда часть Казанской губернии. Сам же он, обучаясь в Казанской гимназии, обратил на себя внимание директора ее, Михаила Ивановича Веревкина, успехами в рисовании и черчении планов, особенно же, работы его, портретом императрицы Елисаветы, снятым простым пером с гравированного эстампа. Портрет представлен был главному куратору Московского университета Ивану Ивановичу Шувалову. Державин взят был в Петербург вместе с другими отличными учениками и записан в гвардии Преображенский полк рядовым солдатом. Отец его был хотя не из бедных дворян, но, по тогдашнему обыкновению, при отпуске сына не слишком наделил его деньгами, почему он и принужден был пойти на хлеб к семейному солдату: это значило иметь с хозяином общий обед и ужин за условленную цену и жить с ним в одной светлице, разделенной перегородкою. Человек умный и добрый всегда поладит с выпавшим жребием на его долю. Солдатские жены, видя его часто с пером или за книгою, возымели к нему особенное уважение и стали поручать ему писать грамотки (письма) к отсутствующим родным своим. Он служил им несколько месяцев бескорыстно пером своим, но потом сделал им предложение, чтоб они, за его им услуги, уговорили мужей своих отправлять в очередь его ротную службу: стоять за него на ротном дворе в карауле, ходить за провиантом, разгребать снег около съезжей или усыпать песком учебную площадку. И жены и мужья на то согласились.

К числу примечательных случаев в солдатской жизни Державина поспешим прибавить, что автор оды к Фелице стоял

на часах в Петергофском дворце в ту самую минуту, когда Екатерина отправилась в Петербург...<sup>24</sup>

В то же время начал он и стихотворствовать. Кто бы мог ожидать, какой был первый опыт творца «Водопада»? Переложение в стихи, или, лучше сказать, на рифмы площадных прибасок на счет каждого гвардейского полка! Потом он обратился уже к высшему рифмованию и переложил в стихи несколько начальных страниц «Телемака» с русского перевода. Когда же узнал правила поэзии, то взял в образец Ломоносова. Между тем читал в оригинале Геллерта и Гагедорна. Кроме немецкого, он не знал других иностранных языков. Древние классические поэты, италиянская и французская словесность известны ему стали в последующие годы по одним только немецким и русским переводам.

В продолжение унтер-офицерской службы его случилось ему быть в Москве; тогда Сумароков, еще в полном блеске славы своей, рассорился с содержателем вольного театра<sup>25</sup> и главною московскою актрисою. Он жаловался на них начальствующему в столице фельдмаршалу графу Петру Семеновичу Салтыкову. Не получа же от него удовлетворения, принес жалобу на самого его императрице. Екатерина благоволила удостоить его ответом, но в рескрипте своем дала ему почувствовать, что для нее приятнее «видеть изображение страстей в драмах его, нежели читать в письмах»<sup>26</sup>. С этого рескрипта пошли по рукам списки, все толковали его не в пользу Сумарокова. Раздраженный поэт излил горечь и желчь свою в элегии, в которой особенно замечателен был следующий стих:

Екатерину зрю, проснись Елисавета!<sup>27</sup>

Элегия была тогда же напечатана, несмотря на этот стих и многие колкие намеки на счет фельдмаршала. Вместе с нею выпустил он еще эпиграмму на московских вестовщиков:

На место соловьев кукушки здесь кукуют  
И гневом милости Дианины толкуют, и пр.<sup>28</sup>

Державин, поэт еще неизвестный, вступаясь за москвичей, сделал на эту эпиграмму пародию<sup>29</sup> и распустил ее по городу. Он выставил под ней только начальные буквы имени своего и прозванья. Сумароков хлопочет, как бы по ним добратся до сочинителя. Указывают ему на одного секретаря-рифмотворца. Он скачет к неповинному незнакомцу и приводит его в трепет своим негодованием.

В скором времени после того смелый Державин успел познакомиться с Сумароковым; однажды у него обедал и мысленно утешался тем, что хозяин ниже подозревал, что против его сидит и пирует с ним тот самый, который столько раздражил желчь его.

В дополнение характеристики достойно уважаемого нами поэта сообщу еще об одном случае, рассказанном мне Елизаветою Васильевною Херасковой, супругою творца «Россияды», ныне столь нагло уничижаемого по слухам и эгоизму молодым поколением.

В семьсот семьдесят пятом году, когда двор находился в Москве, у Хераскова был обед. Между прочими гостями находился Иван Перфильевич Елагин, известный по двору и литературе. За столом рассуждали об одах, вышедших на случай прибытия императрицы. Началась всем им оценка, большею частию не в пользу лирикам. Но всех более критикована была ода какого-то Державина. Это были точные слова критика. Хозяйка толкает Елагина в ногу; он не догадывается и продолжает говорить об оде. Державин, бывший тогда уже гвардии офицером<sup>30</sup>, молчит на конце стола и весь рдеет. Обед окончился. Елагин смутился, узнав свою неосторожность. Хозяева ищут Державина, но уже простыл и след его.

Проходит день, два, три. Державин против обыкновения своего не показывается Херасковым. Между тем как они тужат и собираются навестить оскорбленного поэта, Державин с бодрым и веселым видом входит в гостиную: обрадованные хозяева удвоили к нему ласку свою и спрашивают его, отчего так долго с ним не видались? «Два дня сидел дома с закрытыми ставнями, — отвечает он, — и все горевал об моей оде; в первую ночь даже не смыкал глаз моих, а сегодня решился ехать к Елагину, заявить себя сочинителем осмеянной им оды и показать ему, что и дурной лирик может быть человеком порядочным и заслужить его внимание. Так и сделал. Елагин был растроган, осыпал меня ласками, упросил остаться обедать, и я прямо оттуда к вам».

Заклучу, наконец, двумя чертами его простодушия, которое и посреди соблазнов, окружавших вельмож, никогда и ничем не было в нем заглушаемо.

Державин был уже статс-секретарем. Однажды слуга входит в кабинет его с докладом, что какой-то живописец просит позволения войти к нему. Державин, приняв его за челобитчика, приказывает тотчас позвать его. Входит румяный<sup>31</sup> живописец, начинает высокопарною речью извинять свою дерзость, происшедую, по словам его, «единственно от непреодолимого желания насладиться лицезрением великого мужа, знаменитого стихотворца» и пр. Потом бросается целовать его руки. Державин хотел отплатить ему поцелуем в щеку. Живописец повис к нему на шею и насилу выпустил его из своих объятий. Наконец, он вышел из кабинета, утирая слезы восторга, поднимая руки к небу и осыпая хозяина хвалами. Я заметил, что это явление не неприятно было для простодушного поэта.

Чрез два или три дня живописец опять приходит, и возобновляется прежняя сцена; хозяин с тем же покорством выно-

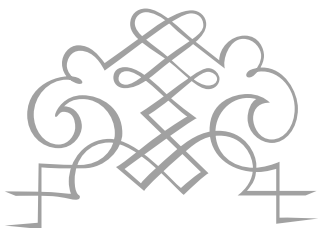
сит доуки гостя, который стал еще смелее. Через день то же. Хозяин уже с печальным лицом просит у приятелей совета, как бы ему освободиться от возливого своего поклонника. Последовал единогласный приговор: отказывать.

В другой раз, около того же времени, я иду с ним по Невской набережной. «Чей это великолепный дом?» — спрашивает меня, проходя мимо дома принцессы Бярятинской-Гольштейн-Бек; я сказываю: «Да она в Италии, кто же теперь занимает его?» — «Нанял Иван Петрович Осокин». — «Осокин! — подхватил он. — Зайдем, зайдем к нему!..» — и с этим словом, не ожидая моего согласия, поворотил на двор и уже всходит на лестницу. Мне легко было за ним последовать, ибо я давно был знаком с Осокиным. Хозяин изумился, оторопел, увидя у себя нового вельможу, с которым уже несколько лет нигде не встречался. Державин бросается целовать его, напоминает ему об их молодости, об старинном знакомстве. Хозяин же только с почтительным молчанием или с короткими ответами кланяется и подносит нам кубки шампанского. Через полчаса мы с ним расстались, и вот развязка внезапного нашего посещения.

Отец Осокина имел суконную фабрику в Казани; сын его в молодых летах по каким-то домашним делам проживал в Петербурге. По склонности своей к чтению русских книг он познакомился с именитыми того времени словесниками: с питою и филологом Тредияковским, с прозаистом Кирьяком Кондратовичем и их учениками. Он заводил для них пирушки, приглашая всякий раз и земляка своего Державина, который был тогда еще капралом. Кондратович привозил иногда и дочь свою. Она восхищала хозяина и гостей игрою на гусях и была душою беседы. Молодой Осокин (Иван Петрович) и сам стихотворствовал. Я читал его пастушескую песню, отысканную добрым Державиным в своих бумагах.

*Державин*

Поэт, рассказывая мне на обратном пути об этом старинном своем знакомстве, не позабыл прибавить, что Осокин тогда помогал ему в нуждах и нередко ссужал его деньгами. — Почитатели Державина! я не в силах был говорить вам об его гении, по крайней мере, в двух или трех чертах показал его сердце...







А. И. НЕСТЕРОВ

## Первое и последнее мое свидание с Державиным

(июня 25-го 1813 г.)

В начале 1813 года я приехал по службе моей в Москву — не в древнюю, величавую, белокаменную, но в пустынную. От самой заставы представляется обширнейшее кладбище: по сторонам кучи кирпича, занесенные снегом, как могилы, между которыми мы пробирались, — до церкви? Так ехали до Мясницкой. Здесь сердце ожило: я увидел себя опять в Москве, узнал улицу, знакомые дома. Квартира была мне отведена на Кузнецком мосту; эта часть была в настоящем своем виде, но только по построению, — на улицах пусто, уныло. Коротко, в Москве с трудом только можно было достать калач московский.

Первое гулянье весеннее, 1-го мая, за год многолюдное, шумное, веселое — теперь скучное, унылое, как бы невольное. Каждый только по привычке хотел быть на нем, оживить в воображении прежнее удовольствие, встретить весну. Но вместо прежней тесноты, суеты, скачки — простор; кое-где тянутся лениво экипажи; изредка коляски, более дрожки. Вместо веселого пения, оглашавшего вечнозеленые рощи

Сокольничьи, — тишина... Но на что описывать печальное — былое; на что возобновлять грусть, уже минувшую? Теперь снова можно восклицать вместе с поэтом:

В каком ты блеске ныне зрима,  
Княжений, Царств Великих Мать!  
Москва, России дочь любима!  
Где равную тебе сыскать?  
Венец твой перлами украшен;  
Алмазный скиптр в твоих руках;  
Верхи твоих огромных башен  
Сияют в злате, как в лучах!<sup>1</sup>

В скуке и одиночестве я проводил время среди обширной столицы! Так, в один летний жаркий день, после убогой, одинокой трапезы моей покоился я на своем диване и читал любимейшего своего поэта — певца «Бога» и «Фелицы». Вдруг слышу шорох, взглядываю — предо мною стоит почтальон.

— Гаврило Романович Державин приказал просить вас к себе. Он очень желает видеться с вами.

— Как это? — в удивлении спросил я. — В Петербург? Это далеко.

— Он приехал в Москву и остановился близ Нескучного, в доме Полторацкого<sup>2</sup>.

— Вот это другое дело. Сейчас буду.

И мог ли я медлить? Как не поспешить видеть того, который своими вдохновенными песнями составлял всегда, так сказать, пищу души моей? Встать, одеться, сесть на извозчика — было делом одной минуты! Я не ехал — летел. Я представлял уже пред собою мужа, отличного от всех людей, каких только случалось мне видеть: с быстрым, огненным, пронизательным взором, с осанкой величавой, словом, великого песнопевца, изобразившего во всей славе Творца вселенной!..

Прилетел, спрыгиваю с дрожек, вхожу в дом; меня встречает во второй комнате старичок в парике, с тростью в руках, за которым бежала собачка. Наружность его представляет только почтенного, доброго старца. Гаврило Романович обнял меня, посадил против себя, и я во все время короткого пребывания у него не сводил с него глаз: мне хотелось, чтобы образ его навсегда запечатлелся в душе моей.

Разговаривали о разных предметах, более о литературе. Мне чрезвычайно лестно было, что великий муж соглашался со мною почти во всем. Он спрашивал моего мнения о журналах, и когда я, между прочим, сказал, что выходявший тогда *Н. Н.* мне не совсем нравится, что нахожу в нем всегдашнее единообразие, повторение одних и тех же слов, что слог его тяжел и мрачен; Гавр. Роман. во всем этом был согласен. Тут прочел я ему свои стихи «На смерть кн. Кутузова-Смоленского, только что тогда напечатанные»<sup>3</sup>. Бессмертный поэт сказал: «Стихи хороши, но они приятны живому; прах наш не трогается и при самых громких хвалах!» Наконец, Гавр. Роман. советовал мне тогда, еще юному, неопытному, испытать, к чему более способен, и упражняться в одном роде стихотворений.

Я взглянул нечаянно в окно, — лучи заходящего солнца догорали на золотых главах Донского монастыря, и это напоминало, что и мне пора расстаться с закатывающимся уже солнцем Поэзии — и кто знал, навсегда!.. Я нехотя встал, откланялся. Гаврило Романович проводил меня до последней комнаты, поцеловал и сказал: «Мне очень приятно будет, если вы продолжите ваше знакомство со мною».

На другой день, восхищенный лицезрением великого Поэта, я написал послание «К певцу Фелицы, по случаю первого с ним свидания»<sup>4</sup> и послал его к нему.

Гаврило Романович обещал по возвращении своем из Киева, куда он тогда отправлялся, прислать мне ответ; но к ис-

*Первое и последнее мое свидание с Державиным*

кренному моему сетованию, видно, обстоятельства или слабость здоровья тому воспрепятствовали; в 1816 году, ночью, с 8 на 9 число июля затворились навеки уста, из которых изливались сладкие, громкие песни. Только что дошла до меня плачевная весть о кончине любимейшего моего Поэта, я — вспоминая слова покойного, незадолго до смерти своей, как бы на свой счет сказанные: «Прах наш не трогается и при самых громких хвалах», я излил сетование свое в короткой эпиграфии:

При томном месяца мерцанье,  
Я зрю — в печальном одеянье,  
На хладном камне сем Поэзия грустит;  
Среди безмолвия, природа унывает;  
Лишь надпись звездная на небесах блистает:  
Благоговей, земля, — здесь Бард бессмертный спит!<sup>5</sup>



С. Н. ГЛИНКА

## Первое свидание с Державиным

Первое мое свидание с нашим поэтом было в доме Льва Александровича Нарышкина. И вот по какому случаю.

Помещено было в «Русском вестнике»<sup>1</sup> и перепечатано в Журнале для учебных заведений<sup>2</sup> известие о том, что в проезд свой из Белорусского края Екатерина осчастливила посещением своим сельский приют моих отцов, где 1781 года июня 4 собственноручно записала меня в Кадетский корпус. По выходе из колыбели моего воспитания, 1795 года, я сочинил «Песнь Великой Екатерине»<sup>3</sup>, напечатал ее в корпусной типографии и, являсь ко Льву Александровичу Нарышкину, милостивцу моих родителей, просил его поднести сочинение мое императрице. Он приказал мне прийти к нему на другой день поутру и с чиновником своим, майором Петровым, отправил меня к князю Платону Александровичу Зубову с тем, чтобы представить меня князю и просить о вручении сочинения моего государыне. В первый еще раз довелось мне быть в почетной приемной. По приходе нашем стечение различных лиц и в мундирах, и в лентах, и во фраках сделалось многочисленное. В моем офицерском мундире я прижался в левый угол залы и заслонил шляпою мою оду, чтоб не видно было атласного переплета. Я не робел, но для меня все было ново. Без всякой цели глаза мои разбегались по разным сторонам,

и вдруг в правом углу залы увидел я Михаила Илларионовича Кутузова, который с таким же смирением, как и я, стоял неподвижно на своем месте. Тут от князя вышел камердинер с подносом и чашкою шоколада. Тихим мерным шагом Михаил Илларионович подошел к камердинеру. Любопытство толкнуло меня вперед. Я услышал вопрос Кутузова у камердинера: «Скоро ли выйдет князь?» Вопрос высказан был по-французски и на том же языке последовал ответ камердинера: «Часа через два». Тем же скромным шагом Кутузов пошел назад и притаился в своем уголке. Закипело у меня юношеское сердце. Быстро подошел я к проводнику моему майору Петрову и отрывисто сказал: «Нет! я не стану дожидаться. Вот посмотрите: там в уголку дожидается герой Измаила, герой, венчавший русских победою под Мачиным и бывший мой начальник в корпусе!» «Не говорите так громко», — сказал мне мой ментор. «У меня такой голос, — отвечал я, — прощайте!» «Да что же я скажу Льву Александровичу?» — спросил он. «Скажите, что Вы хотите», — возразил я и убежал из залы.

В тот же день ввечеру пошел я ко Льву Александровичу и едва мелькнул в гостиной, где он сидел на софе с гостем (то был Державин), он захохотал от всего сердца и сказал: «Что ты накуролесил, шалун? Я послал тебя к князю с твоею одою, а ты, как Вольтеров Гурон, опрометью выбежал из залы». Тут пересказал он своему гостю все то, что передал майор Петров. «Однако, — прибавил Лев Александрович, — ода его изрядная, особливо последняя строфа». И он, к удивлению моему, прочитал ее наизусть:

Прими простое песнопенье:  
Тебя не смел я превознесьть;  
Зри в нем единое усердьё —  
В нем сердце говорит, не лесть.

*С. Н. Глинка*

Ты отроком меня прияла,  
Ты разум мой образовала,  
Ты в сердце чувства влила;  
Благотворительной рукою  
Ты правила моей душою,  
Ты жизнь мне новую дала.

Поэт наш взял меня за руку, поцеловал и сказал: «Сохраняйте всегда это чувство к государыне». Краснея и заикаясь, я отвечал: «Если б императрица не была моею благодетельницею, то Ваши бессмертные творения научили бы меня ее любить». Тут я приосанился и по порыву неугомонной моей памяти, как будто заданный урок, отмахнул наизусть оду «Фелице». У Державина глаза блистали, румянец играл на щеках; наконец, и слезы сверкнули на ресницах. А когда я досказал оду, он снова поцеловал меня. В восторге душевном я не слышал под собою земли. А Лев Александрович примолвил: «Право, он обстреляется в свете. Присмотришься, понаучишься, как, где что водится».

Не далась мне светская наука, хотя и довольно понасмотрелся в свете. Ошибся Лев Александрович. Я все как будто новичок в свете. А что теперь в нем делается? не знаю. Но и при давнишнем моем уединении, зная, что приятно слышать о добре, желать всем добра, часто повторяю Корнелев стих:

Dans le Bonheur d'autrui, je cherche mon Bonheur<sup>4</sup>.  
Я в счастья других зрю счастье свое.

## Из «Записок»

Домашние наши варенья, коврижки, сыры и живность появлялись при дворе Екатерины и на столах наших петербургских милостивцев и знакомых. Однажды родители мои полу-

чили следующее письмо от Л. А. Нарышкина: «Все присланные вами коврижки разошлись на домашнем потчеванье, а потому, чтобы быть позапасливее, прошу вас заготовить мне тысячу коврижек с моим гербом, которого и прилагаю рисунок. Из этой тысячи уделю только двадцать Г. Р. Державину за его хорошие стихи. Он большой лакомка, а вас отблагодарит своей поэзией». Этот гостинец был тотчас отправлен. В нашей кладовой кадки с липцем и медом были безвыходно<sup>1</sup>. Раздолье было тогда это житье сельское! Казалось, что и сама природа спешила отдарить за то, что с нею жили и ближе, и дружнее.

Державин не остался в долгу: из стихов его помню четыре последние:

Дележ у нас святое дело,  
Делимся всем, что Бог послал;  
Мне ж кстати лакомство поспело:  
Тогда Фелицу я писал.

<...>

Между тем я отправился к Державину с трагедией моей «Михаил, князь Черниговский»<sup>2</sup>, бывшей еще в рукописи. У него тоже было многочисленное собрание, и я в кругу его читал мою трагедию. Она произвела действие, потому что содержание ее применяли к тогдашним обстоятельствам. В трагедии моей Михаил, князь Черниговский, говоря о первом нашествии на землю русскую монголов, или татар, восклицает:

Мы не смиряемся, мы Бога забывали,  
За тяжкой прах земной мы небо продавали.  
И с грозным воинством к нам налетел Батый.

При этих словах все слушатели воскликнули имя нового завоевателя нашего века.



Возвратясь домой, нахожу следующую записку от Дмитрия Прокофьевича Трошинского, тогдашнего министра юстиции: «Общий наш приятель, Василий Назарович Каразин, пришел ко мне от Державина в восторге от вашего „Михаила“; он говорит, что это живая история, которая по Европе ходит и движется; грех вам будет, если обойдете меня: в 1781 году, когда я служил при смоленском генерал-губернаторе князе Репнине, мне первому удалось поздравить батюшку вашего с посещением, которым удостоила его императрица».

<...>

Внешний натиск на «Русский вестник» был и скоро прошел. Началась внутренняя на него пальба. Чудное дело! Первый был выстрел из «Цветника»<sup>3</sup>, издаваемого баснописцем Измайловым. Державин препроводил в «Русский вестник», чрез Ивана Ивановича Дмитриева, стихи к Купидону<sup>4</sup>. Я отозвался, что баснословного не помещаю в «Русском вестнике». В гневном порыве наш лирик напал на меня эпиграммой, которою поставил меня в ряды бессловесных (смягчаю выражение) и говорил, что я не знаком с нежными сердцами. Но где гнев, там и милость; и это сбылось почти вслед за сердитым налетом. Гаврила Романович сообщил в мое издание драматический отрывок, под заглавием «Праздник у Добрады»<sup>5</sup>, посвященный императрице Марии Федоровне; с того времени у поэта с «Русским вестником» существовал мир нерушимый.

Эпиграмма Державина была в «Цветнике», издаваемом баснописцем Измайловым.



А. С. СТУРДЗА

## Из статьи «„Беседа любителей русского слова“ и „Арзамас“ в царствование Александра I и мои воспоминания»

Еще в первые годы царствования Александра Благословенного самородный гений Державина догорал на небосклоне русской поэзии, догорал, но не без ярких по временам проблесков его минувшей славы.

Старцу желалось окружить себя лучшими представителями изящного в России, сомкнуть светлые их ряды в стройную дружину и сосредоточением их трудов оказать последнюю услугу русскому слову.

Державин постигал всю истину и силу достопамятных слов Ломоносова: «Повелитель многих языков, язык российский, не только обширностью мест, где он господствует, но и собственным обилием своим, велик пред всеми в Европе».

Вскоре около знаменитого, вдохновенного старца, составилось общество под названием: «Беседы любителей русского слова». В урочные дни поэты, прозаики, писатели, заслуженные и новички, начали съезжаться в дом Гавриила Романовича, затейливый и своеобразный. «Беседа» имела свои частные и публичные заседания. Сии последние бывали по вечерам, отличались присутствием многих посторонних

слушателей, допускаемых туда по билетам. Зала средней величины, обставленная желтыми, под мрамор, красивыми колоннами, казалась еще изящнее при блеске роскошного освещения. Для слушателей вокруг зала возвышались уступами ряды хорошо придуманных сидалищ. Посреди храма Муз поставлен был огромный продолговатый стол, покрытый зеленым тонким сукном. Около стола сидели члены «Беседы», под председательством Державина, по мановению которого начиналось и перемежалось занимательное чтение вслух, и часто образцовое. Здесь, кроме Державина, заседали: А. Н. Оленин, А. С. Шишков, Озеров, Крылов, друг его Гнедич, Жуковский, Муравьев-Апостол, Писарев, М. М. Сперанский, Н. И. Соколов и, если не ошибаюсь, иногда Дмитриев и Карамзин <...>.

«Беседа любителей русского слова» составила не по одному только желанию Державина; она была выражением пламенной любви ко всему отечественному, родному — любви, пробужденной роковыми событиями того времени <...>.

Оттого-то и «Беседа Л. Р. Слова» в составе своем вмещала столько людей государственных по *заслугам* или по предопределению. Я был слишком молод тогда, чтобы иметь доступ в заветное святилище изящного. Но мне смерть хотелось обратить на себя внимание отборного сословия писателей. Мои ребяческие стихи не могли никак устоять на суде знатоков; оставалось одно средство представить им образчик моих познаний классических. Я ухватился за рассказ Терамена в «Федре» Расина, переведенный Державиным, и написал сравнительный разбор трех рассказов об одном и том же мифе — Эврипида, Овидия и французского поэта, отправил труд свой к секретарю Беседы Писареву — и с тех пор мое бытие стало известнее нашему Парнасу на берегу Фонтанки. Гнедич встретил меня в гостиных и полюбил pour l'amour du grec<sup>1</sup>. А. С. Шишков радушно при-

*Из статьи «„Беседа любителей русского слова“ и „Арзамас“»*

нял новый труд мой: *«Опыт о преподавании российскому юношеству греческого языка»*, представил его на суд собраний и склонил их прочесть отрывки из моего опыта при первом публичном заседании. Меня, разумеется, пригласили на этот вечер, столько для меня памятный. После басен Шишкова и других изящных произведений старец Шишков начал читать мои пламенные страницы — Гнедич хвалил, — все прочие аристархи почтили восемнадцатилетнего юношу своими одобряющими отзывами.

Как отраднo мечтать о славе на заре жизни; но и того лучше расстаться дружески со всеми земными мечтами перед тихим ее закатом!

С Державиным я не был лично знаком и беседовал с ним не иначе, как в бессмертных его творениях; в них замечал я следы не полного и не дозревшего дарования. Для изобилия мысли и чувствований в самородном гении Державина русский язык, еще не установившийся в то время, не давал надлежащего простора воображению поэта, который нередко обходился с орудием мысли, как обходится исполин с недорослем, т. е. жестко и невежливо. За то собравшаяся около великого певца *«Беседа любителей русского слова»* начала узаконять язык и готовить образцы для позднейших писателей. Это была минута решительного перелома в приемах и преданиях искусства, но этот перелом, как и всякий переворот в нравственном мире, не обошелся без пререкания и борьбы.



И. Ф. ТИМКОВСКИЙ

## Из «Записок: Мое определение в службу»

Ч. З. Шувалов

<...> 6. На другой день к обеду я пришел в 12 часов. <...> В гостиной у Шувалова был Осип Петрович Козодавлев, который недавно, посредством его, из членов комиссии училища определен в Сенат 3-го департамента обер-прокурором. «Вот мой питомец, сказал Шувалов; это мои дети; вам его поручаю». Я поклонился обоим. <...> Вошел секретарь его, и пока он имел надобность переговорить о чем, чтоб от того себя отвлечь, я заметил на столе у окна книгу, большой осьмушки, в красном сафьяне с позолотою; книга рукописная, сочинения Державина, с виньетами; я перебирал ее. «Это я заставил Державина, — сказал Шувалов, отпустив секретаря, — собрать свои сочинения; столько лет пишет; порознь печатные редки; иным охотникам и неизвестны. Я хочу напечатать их в Университете». Пошла речь о свойствах поэзии нашей от Ломоносова. <...>

10. Там <в доме И. И. Шувалова> я видел много почетных лиц, которых можно назвать рядовыми, несколько видел замечательных. Все они бывали в полдни, и почти все визитно. Из последних упомяну здесь, что было ближе:

а. Гаврило Романович Державин. Я видел его там два раза. Упомянутую книгу сочинений его с первых моих дней Шувалов позволил мне взять на время. Потом она действительно отправлена в Университет для печатания. Корректуру автор поручил Карамзину, тогда жившему в Москве. Говорили, что на предложение Карамзина, не рассудит ли чего переменить по местам, он от того отказался. А в 1802 году, когда учреждены министерства и Державин поступил министром юстиции, он призвал меня служить в его департаменте. Из валовых моих работ у него было, по его проекту и запискам, составление устава Третейского совестного суда. По делам, если он когда переменял свои мысли, то весьма часто возвращался на первую. В архиве моем остаются черновые бумаги с его приписками и отметками. Службы моей при нем было четыре месяца, и к сожалению перемена ее произошла в такое время, когда в споре его по делу с г[рафом] С[еверинем] П[отоцким] известно ему стало, что я принимал сторону последнего, которая и в общем мнении была оправдана<sup>1</sup>.



С. П. ЖИХАРЕВ

## Из «Записок современника» и «Воспоминаний старого театрала»

### Из «Дневника студента»

1805 год

*9 января, понедельник.*

У Ивана Ивановича никого из записных охотников читать стихи свои не было. Зато сам хозяин заставил меня прочитать послание его к Державину в ответ на присланные стихи без подписи нашего Пиндара<sup>1</sup>.

Бард безымянный, тебя ль не узнаю?  
Орлий издавна знаком мне полет,  
Я не в отчизне, в Москве обитаю,  
В жилище сует<sup>2</sup>!

*12 сентября, вторник.*

На вопрос Ив. Ив. Дмитриева у приехавшего из Петербурга г. Максимовича, служащего в комиссии составления законов, что делают тамошние литераторы и в особенности Державин, Максимович отвечал, что, «по слухам, он сочиняет какую-то оперу, вроде Метастазия...»<sup>3</sup> — «Разве вроде безобразия», — возразил Дмитриев.

Иван Иванович не может скрыть своего сожаления, что величайший лирический поэт нашего времени на старости лет предпринимает сочинения, совершенно не свойственные его гению: пишет и даже переводит трагедии, комедии и оперы в подрыв своей славе, которою Иван Иванович, как старинный его приятель и усердный почитатель его таланта, так дорожит, что желал бы видеть ее неприкосновенною для критики.

*14 октября, суббота.*

Шурин Г. Р. Державина, Н. А. Дьяков, показывал несколько его писем и, между прочим, собственноручное его послание, в котором наш бард делает намеки на увольнение Дьякова от должности московского прокурора и как будто утешает его в невзгоде:

Коль с невинных снял железы,  
Ускорил коль правый суд,  
Коль утер сиротам слезы,  
Не брал лихвы, не был плут,  
Делал то, что делать должно, —  
И без чина ты почтен и проч. и проч<sup>4</sup>.

Прочие стихи не припомню, только Иван Иванович говорит, что Дьяков совсем не из разряда тех людей, которые бы могли внушать поэтические послания. И точно, мне показался он не более как прокурором, но прокурором зажиточным и наторелым в хорошем обществе. Между прочим, к слову о Державине. Наблюдательный Иван Иванович рассказывал, что Гаврила Романович по кончине первой жены своей (Катерины Яковлевны, женщины необыкновенной по уму, тонкому вкусу, чувствам приличия и вместе по своей миловидности) приметно изменился в характере и стал еще более задумчив, и хотя в скором времени опять женился, но воспоминание



о первой подруге, внушавшей ему все лучшие его стихотворения, никогда его не оставляет. Часто за приятельскими обедами, которые Гаврила Романович очень любит, при самых иногда интересных разговорах или спорах, он вдруг задумается и зачертит вилкою по тарелке вензель покойной, драгоценные ему буквы К. Д. Это занятие вошло у него в привычку. Настоящая супруга его, заметив это ежедневное, несвоевременное рисование, всегда выводит его из мечтания строгим вопросом: «Ганюшка, Ганюшка, что это ты делаешь?» «Так, ничего, матушка», — обыкновенно с торопливостью отвечает он, вздохнув глубоко и потирая себе глаза и лоб как будто спросонья.

*5 ноября, воскресенье.*

За обедом у Ростислава Евграфовича Татищева видел я Дмитрия Ардальоновича Лопухина, бывшего калужского губернатора, непремиримого врага Державину за то, что этот, в качестве ревизирующего сенатора, сменил его за разные злоупотребления. Лопухин не может слышать о Державине равнодушно, а бывший секретарь его, великий говорун Николай Иванович Кондратьев, разделивший участь своего начальника и до сих пор верный его наперсник, приходит даже в бешенство, когда заговорят о Державине и особенно если его хвалят. Этот Кондратьев пописывает стишки, разумеется, для своего круга, и, по выходе Державина в отставку, с п у с т и л, по выражению, кажется, Сумарокова, с в о ю с в о е в о л ь н у ю м у з у, а к и ц е п н у ю с о б а к у, на отставного министра и выразил удовольствие свое следующим стихотворным бредом:

Ну-ка, брат, певец Фелицы,  
На свободе от трудов  
И в отставке от юстицы  
Наполняй бюро стихов.

Для поэзии ты свободен,  
Мастер в ней играть пером,  
Но за что стал неугоден  
Министерским ты умом?  
Иль в приказном деле хватки  
Стихотворцам есть урок?  
Чьи, скажи, были нападки?  
Или изгнан за порок?  
Не жена ль еще причиной,  
Что свободен стал от дел?..<sup>5</sup>

Далее, слава богу, не припомню. Кроме неудовольствия слышать эти гадкие, кабачные стихи, грустно видеть в них усилие мелочной души уколоть гениального человека, который, вероятно, никогда и не узнает об этих виршах. Просто: кукиш из кармана.

*29 ноября, среда.*

<...> Непостоянство — доля смертных,  
В пренах вкуса — счастье их!<sup>6</sup>

Мало того, что Державин великий поэт, он и великий мудрец; а Н. И. Кондратьев, губернский секретарь, пишет на него кабачные стихи! Вот поди ты с ним!

1806 год

*23 января, вторник.*

Вот и мои сонцетти! Они стоят державинского, которое ходит здесь по рукам:

О. как велик На-поле-он  
И хитр и быстр и тверд во брани,  
Но дрогнул, как простер лишь длани  
К нему с штыком Бог-рати-он<sup>7</sup>.

Иван Иванович говорит, что ему сгрустнулось от этих стихов, потому что они доказывают, как низко может упасть

гений, подточенный старостью, и что приобрести славу легче, чем до конца уберечь ее. Он, шутя, замечает, что из всех человеческих дел самое трудное уметь остановиться вовремя, и ничего так за себя не опасается, как выжить — если не из ума, так из вкуса.

*10 марта, суббота.*

<...>Тончи теперь мало занимается живописью и пишет иногда только портреты с родных жены своей. Портрет, написанный им с старого князя — произведение образцовое: кроме необычайного сходства, какая работа и какой колорит! Точно живой, так и выходит из полотна; но говорят, что этот портрет, как он ни превосходен, ничто в сравнении с портретом Державина, писанным в Петербурге. Тончи ни за что не хотел представить поэта в парике, а Державин не соглашался писать себя плешивым, и потому художник придумал надеть на него русскую соболью шапку. Сказывают, что это верх совершенства<sup>8</sup>.

### **Из «Дневника чиновника»**

*30 ноября, пятница.*

На днях думаю представиться Державину с моим «Артабаном»<sup>9</sup>. Великий поэт в эпоху губернаторства своего в Тамбове был дружен с дедом моим, который, после увольнения от должности вятского губернатора, жил в тамбовской деревне и, любя чтение, был одним из усердных поклонников певца Фелицы.

*5 декабря, среда.*

Был у Державина — и до сих пор не могу прийти в себя от сердечного восхищения. С именем Державина соединено

было все в моем понятии, все, что составляет достоинство человека: вера в Бога, честь, правда, любовь к ближнему, преданность к государю и отечеству, высокий талант и труд бескорыстный... и вот я увидел этого мужа,

кто, строя лиру,  
Языком сердца говорил!

Сильно билось у меня сердце, когда въехал я на двор невысокого дома на Фонтанке, находящегося невдалеке от прежней моей квартиры в Доме умалишенных. Вхожу в сени с «Артабаном» под мышкою и спрашиваю дремавшего на стуле лакея: «Дома ли его высокопревосходительство и принимает ли сегодня?» «Пожалуйте-с», — отвечал мне лакей, указывая рукою на деревянную лестницу, ведущую в верхние комнаты. — «Но, голубчик, нельзя ли доложить прежде, что в приехал Степан Петрович Жихарев, а то, может быть, его высокопревосходительство занят». — «Ничего-с, пожалуйста; енарал в кабинете один». — «Так проводи же, голубчик. — «Ничего-с, извольте идти сами-с, прямо по лестнице, а там и дверь в кабинет, первая налево». Я пошел или, скорее, поплелся; ноги подгибались подо мною, руки тряслись, и я весь был сам не свой: меня била лихорадка. Взойдя наверх и остановившись пред стеклянную дверь, первую налево, завешенную зеленою тафтою, я не знал, что мне делать — отворять ли дверь или дожидаться, покамест кто-нибудь случайно отворит ее. Я так был смешан и так смешон! К счастью, явилась мне неожиданная помощь в образе прелестной девушки, лет 18, которая, пробежав мимо меня и, вероятно, заметив мое смущение, тотчас остановилась и, добродушно спросив: «Вы, верно, к дядюшке? — без церемонии отворила дверь, примолвив: — Войдите». Я вошел. Старец лет 65, бледный и угрюмый, в белом колпаке, в беличьем тулупе, по-

крытом синею шелковою материею, сидел в креслах за письменным столом, стоявшем посредине кабинета, углубясь в чтение какой-то книги. Из-за пазухи у него торчала головка белой собачки, до такой степени погруженной в дремоту, что она и не заметила моего прихода. Я кашлянул. Державин — потому что это был он — взглянул на меня, поправил на голове колпак и, как будто спросонья зевнув, сказал мне: «Извините, я так зачитался, что и не заметил вас. Что вам угодно?» Я отвечал, что по приезде в Петербург я первою обязанностью поставил себе быть у него с данью того искреннего уважения к его имени, в котором был воспитан; что он, будучи так коротко знаком с дедом, конечно, не откажет и внуку в своей благосклонности. Тут я назвал себя. «Так вы внук Степана Данилыча? Как я рад! А зачем сюда приехали? Не определяться ли в службу?» — и, не дав мне времени отвечать, продолжал: — Если так, то я могу попросить князя Петра Васильича <Лопухина> и даже графа Николая Петровича <Румянцева>». Я объяснил ему, что я уже в службу определен и что ни в ком и ни в чем покамест надобности не имею, кроме его благосклонности. Он стал расспрашивать меня, где я учился, чем занимался, какое наше состояние и проч., и когда я удовлетворил всем его вопросам, он, как будто спохватившись, сказал: «Да что ж вы стоите? садитесь». Я взял стул и подсел к нему. «Ну а это что у вас за книга?» Я отвечал, что это трагедия моего сочинения «Артабан», которую я желал бы посвятить ему, если только она того стоит. «Вот как! так вы пишете стихи — хорошо! Прочитайте-ка что-нибудь». Я развернул моего «Артабана» и прочитал ему сцену из 3-го действия, в которой впавший в опалу и скитающийся в пустыне царедворец Артабан поверяет стихиям свою скорбь и негодование, пылая мщением. Державин слушал очень внимательно, и когда я перестал читать, он, ласково и с улыбкою

посмотрев на меня, сказал: «Прекрасно. Оставьте, пожалуйста, трагедию вашу у меня: я с удовольствием ее прочитаю и скажу вам свое мнение». Я был в восторге, у меня развязался язык, и откуда взялось красноречие! Я стал говорить о его сочинениях, многие цитировал целиком; рассказал о знакомстве моем с И. И. Дмитриевым, о его к нему послании, начинающемся так: «Бард безымянный, тебя ль не узнаю», которое прочитал от начала до конца; распространился о некоторых московских литераторах, особенно о Мерзлякове и Жуковском, которые были ему вовсе неизвестны; словом, сделался чрезвычайно смел. Державин все время слушал меня с видимым удовольствием и потом, несколько призадумавшись, сказал, что он желал бы, чтоб я остался у него обедать. Я объяснил ему, что с величайшим удовольствием исполнил бы его волю, если б не дал уже слова обедать у прежнего своего хозяина, доктора Эллизена. «Ну, так милости просим послезавтра, потому что завтра хотя и праздник, но у нас день невеселый: память по Николае Александровиче Львове». Я поклонился в знак согласия. «Да прошу вперед без церемонии ко мне жаловать всякий день, если можно. Ведь у вас здесь знакомых, должно быть, немного».

И вот я послезавтра буду обедать у Державина! Напишу о том к своим. Боюсь, что не поверят моему благополучию. Воображаю, что скажет Петр Иванович и как вырасту я в его мнении.

*7 декабря, пятница.*

К Гавриилу Романовичу приехал я, по назначению, в 3 часа. Домашние его находились уж в большой гостиной, находящейся в нижнем этаже, и сидели у камина, а сам он, в том же синем шелковом тулупе, но в парике, задумчиво расхаживал по комнатам и по временам гладил головку собачки,

которая так же, как и вчера, высывалась у него из-за пазухи. Лишь только я успел войти, как он тотчас же представил меня своей супруге Дарье Алексеевне: «Вот, матушка, Степан Петрович Жихарев, о котором я тебе говорил. Прошу полюбить его: он внук старинного тамбовского моего приятеля». Потом, обратившись к племянницам, продолжал: «Вам рекомендовать его нечего: сами познакомитесь». И тут же совершенно переменяя вчерашний учтивый со мною тон, с большею живостью начал говорить об «Артабане». «Читал я, братец, твою трагедию и, признаюсь, оторваться от нее не мог: ну, право, прекрасно! Да откуда у тебя талант такой? Все так громко, высоко; стихи такие плавные и звучные, какие редко встречал я даже у Шихматова». Я остолбенел: мне пришло на мысль, что он вздумал морочить меня. Однако ж думаю: нет, из-за чего бы ему, Державину, говорить мне комплименты, если б в самом деле в трагедии моей не было никаких достоинств? Я отвечал, что с малолетства напитан был чтением Священного писания, книг пророческих и его сочинений, что едва только выучился лепетать, как знал уже наизусть некоторые его оды, как-то: «Бога», «Вельможу», «Мой истукан», «На смерть князя Мещерского» и «К Фелице», что эти стихотворения служили для меня лучшим руководством в нравственности, нежели все школьные наставления. Кажется, он остался очень доволен моим объяснением.

За обедом посадили меня возле хозяйки, которая была ко мне чрезвычайно ласкова и внимательна. «Пожалуйста, бывайте у нас чаще; мы всякий день обедаем дома и по вечерам никуда почти не выезжаем. Будьте у нас, как у родных». Державин за столом был неразговорчив; напротив, прелестные племянницы его говорили беспрестанно, мило и умно. Племянников не было, а мне очень хотелось познакомиться с ними. Старший Леонид служит в Иностранной коллегии

и недавно приехал из Мадрида, где он был при посольстве. Но время не ушло.

После обеда Гаврила Романович сел в кресло за дверью гостиной и тотчас же задремал. Вера Николаевна сказала мне, что это всегдашняя его привычка. «А что это за собачка, — спросил я, — которая торчит у дядюшки из-за пазухи, только жмурит глаза да глотает хлебные катышки из руки дядюшкиной?» «Это воспоминание доброго дела, — отвечала мне В. Н. — К дядюшке ходила по временам за пособием одна бедная старушка, с этой собачкой на руках. Однажды зимою бедняжка притащилась, окоченевшая от холода, и, получив обыкновенное пособие, ушла, но вскоре возвратилась и со слезами умоляла дядюшку взять себе эту собачку, которая всегда к нему так ласкалась, как будто чувствовала его благодеяние. Дядюшка согласился, но с тем, чтоб старушка получала у него по смерти свою пансион, который она и получает, только она, по дряхлости своей, не ходит за ним, а дядюшка заносит его к ней сам, во время своих прогулок. С тех пор собачка не оставляет дядюшку ни на минуту, и если она у него не за пазухой или не вместе с ним на диване, то лает, визжит и мечется по целому дому». При этом рассказе у меня навернулись на глазах слезы — и я не стыдился их, потому что, по словам его же, неистощимого и неисчерпаемого Державина,

Почувствовать добра приятство  
Такое есть души богатство,  
Какого Крез не собирал!<sup>10</sup>

Покамест наш бард дремал в своем кресле, я рассматривал известный портрет его, писанный Тончи. Какая идея, как написан и какое до сих пор еще сходство! Мне хотелось видеть его бюст, изваянный Рашетом и так им прославленный в стихотворении «Мой истукан», но он, по желанию поэта, находился наверху, в диванной его супруги:



*С. П. Жихарев*

А ты, любезная супруга,  
Меж тем возьми сей истукан,  
Спрячь для себя, родни, для друга  
Его в серпяный свой диван<sup>11</sup>.

Проснувшись, Гаврила Романович опять, между прочим, повторил предложение дать мне на всякий случай рекомендательные письма к князю Лопухину и к графу Румянцеву и даже настоял на том, чтоб я к ним представился. «Князь Лопухин, — сказал мне Гаврила Романович, — человек старинного покроя и не тяготится принять и приласкать молодого человека, у которого нет связей; да и Румянцев человек обходительный и покровительствует людям талантливым и ученым. Правду молвить, и все-то они (разумея министров) большею частью люди добрые; вот хоть бы и граф Петр Васильич<sup>12</sup>, хотя и не может до сих пор забыть моего Беатуса<sup>13</sup>. Да как быть!»

Я откланялся, обещая бывать у Гаврила Романовича так часто, как только могу, и конечно, сдержу свое слово, лишь бы не надоесть.

*11 декабря, вторник.*

Обедал у Гаврила Романовича. Это не человек, а воплощенная доброта; ходит себе в своем тулупе с Бибишкой за пазухою, насупившись и отвесив губы, думая и мечтая и, по видимому, не занимаясь ничем, что вокруг его происходит. Но чуть только коснется до его слуха какая несправедливость и оказанное кому притеснение, или, напротив, какой-нибудь подвиг человеколюбия и доброе дело — тотчас колпак набекрень, оживится, глаза засверкают, и поэт превращается в оратора, поборника правды, хотя, надо сказать, ораторство его не очень красноречиво, потому что он недостаточно владеет собою: слишком горячится, путается в словах и голос имеет довольно грубый, но со всем тем в эти минуты он очень

увлекателен и живописен. Кажется, что мое чтение ему понравилось, потому что он заставлял меня читать некоторые прежние свои стихотворения и слушал их с таким вниманием, как будто бы они были для него новостью и не его сочинения. Меня поразило в нем то, что он не чувствовал настоящих превосходных красот в своих стихотворениях, и ему нравились в них именно те места, которые менее того заслуживали.

Гаврила Романович настоял, чтоб я непременно представился с рекомендательными его письмами князю Лопухину и графу Румянцеву; эти письма дал он мне за открытыми печатями, которые очень ловко смастерил кривой его секретарь. Я вижу такие печати в первый раз в жизни и, право, не понимаю, для чего они делаются. Спрошу у М. В. Веняминова, который должен обстоятельно знать все, что касается до пакетов и печатей, потому что все прочее для него триньтрава.

*20 декабря, четверг.*

Гаврила Романович спрашивал меня: был ли я у князя Лопухина и графа Румянцева, и на ответ мой, что по болезни быть еще не успел, сказал: «Экой ты братец! Да поезжай к ним и особенно к князю; только снорови к нему утром, часу в десятом; я предупредомил его, и он рад будет принять тебя». Завтра поеду.

*30 декабря, воскресенье.*

<...> Гаврила Романович сказывал, что приятель и родственник его, В. В. Капнист, написав комедию «Ябеда», неоднократно читал ее при многих посетителях у него, у Н. А. Львова и у А. Н. Оленина, и когда в городе заговорили о неслыханной дерзости, с какою выведена в комедии безнравственность губернских чиновников и обнаружены их злоупотребления, Капнист, испугавшись, чтоб благонамерен-

ность его не была перетолкована в худую сторону и он не был очернен во мнении императора, просил совета, что ему делать. «То же, что сделал Мольер со своим „Тартюфом“, — сказал ему Н. А. Львов, — испроси позволения посвятить твою комедию самому государю». Капнист последовал совету — и все толки умолкли<sup>14</sup>. <...>

Не постигаю пристрастия Державина к Боброву. Я читал и читаю его с величайшим вниманием, стараясь отыскать в нем что-нибудь, что бы затронуло душу — ничего, решительно ничего! <...>

1807 год

2 января, среда.

У Державина нашел я великого Дмитревского, которому и был представлен в качестве трагика. Певец Фелицы заставил краснеть меня похвалами моему «Артабану». «Прочитай, братец, — говорил он Ивану Афанасьевичу, — его трагедию — удивишься: я сам оторваться от нее не мог. Откуда только он выкопал такое происшествие, да и стихи такие гладкие, звучные и громкие, что, право, не подумаешь, чтоб это было сочинение 18-летнего мальчика. Дай-ка ему посозреть, так выйдет настоящий Бобров». Дмитревский тотчас же просил меня доставить ему удовольствие прослушать мою трагедию и назначил мне явиться к нему завтра утром. Не знаю, как благодарить Гаврила Романовича и чем могу заслужить его милости; я едва не плачу от восхищения...

*9 января, среда.*

<...> Он <А. С. Шишков> очень долго толковал о пользе, какую бы принесли русской словесности собрания, в которые бы допускались и приглашались молодые литераторы для чтения своих произведений, и предлагал Гаврилу Романовичу

назначить вместе с ним попеременно, хотя по одному разу в неделю, литературные вечера, обещая склонить к тому же Александра Семеновича Хвостова и сенатора Ивана Семеновича Захарова, которых дома и образ жизни представляли наиболее к тому удобств. Бог весть, как обрадовался этой идее добрый Гаврила Романович и просил Шишкова устроить как можно скорее это дело<sup>15</sup>.

*18 января, пятница.*

У Гаврила Романовича обедали О. П. Козодавлев и Дмитриевский. <...> Говорили о «Димитрии Донском», и на вопрос Гаврила Романовича Дмитриевскому, как он находит эту трагедию в отношении к содержанию и верности исторической, Иван Афанасьевич отвечал, что, конечно, верности исторической нет, но что она написана прекрасно и произвела удивительный эффект. «Не о том спрашиваю, — сказал Державин, — мне хочется знать, на чем основался Озеров, выведя Димитрия влюбленным в небывалую княжну, которая одна-одинехонька прибыла в стан и, вопреки всех обычаев тогдашнего времени, шатается по шатрам княжеским да рассказывает о любви своей к Димитрию». «Ну, конечно, — отвечал Дмитриевский, — иное и неверно, да как быть! Театральная вольность, а к тому же стихи прекрасные: очень эффектные». <...>

*24 января, четверг.*

<...> Литературные вечера назначены по субботам поочередно у Гаврила Романовича, А. С. Шишкова, И. С. Захарова и А. С. Хвостова; они начнутся с субботы 2 февраля у Шишкова, которому принадлежит честь первой о них мысли; вероятно, после кто-нибудь из известных особ захочет также войти в очередь с нашими меценатами, но покамест их только четверо. Все литераторы без изъятия, представленные хозяи-

ну дома кем-либо из его знакомых, имеют право на них присутствовать и читать свои сочинения, но молодые люди, более или менее оказавшие успехи в словесности или подающие о себе надежды, будут даже приглашаемы, потому что учреждение этих вечеров имеет главным предметом приведение в известность их произведений.

*3 февраля, воскресенье.*

Поздно вчера возвратился я от А. С. Шишкова, веселый и довольный. Общество собралось не так многочисленное, как я предполагал: человек около двадцати — не больше. <...>

Время проходило, а о чтении не было покамест и речи. Наконец, по слову Гаврилы Романовича, ходившего задумчиво взад и вперед по гостиной, что пора бы приступить к делу, все уселись по местам. <...> Гаврилы Романович, видя что на молодежь покамест надеяться нечего, вынул из кармана свои стихи «Гимн кротости» и заставил читать меня. Я прочитал этот гимн к полному удовольствию автора и, кажется, заслужил репутацию хорошего чтеца. Разумеется, вес присутствующие были или казались в восторге, и похвалам Державину не было конца». <...>

После ужина Гаврилы Романович пожелал, чтоб я декламировал что-нибудь из «Артабана», которого он, как я подозреваю, успел, по расположению ко мне, расхвалить Шишкову и Захарову, потому что они настоятельнее всех стали о том просить меня. Я отказался решительно от декламации, извинившись тем, что ничего припомнить не могу, но предложил, если будет им угодно, прочитать свое послание к «Счастливицу», написанное гекзаметрами; тотчас же около меня составилась кружок, и я, не робея, пропел им:

Юноша! тщетно себе ты присвоил название счастливица:  
Ты, не окончивший поприща, смеешь хвалиться победой!<sup>16</sup>

Старики слушали меня со вниманием и благосклонностью, особенно Гаврила Романович, которого всегда поражает какая-нибудь новизна, очень хвалил и мысли и выражения, но позади меня кто-то очень внятно прошептал: «В тредьяковщину заехал!» И этот кто-то чуть ли не был Писарев. Бог с ним! Гаврила Романович сетовал, зачем я не прочитал ему прежде этих стихов, и прибавил, что если у меня в ч е м о д а не есть еще что-нибудь, то принес бы к нему на показ. Дорогой отозвался он о князе Шихматове, что «он точно имеет большое дарование, да уж не по летам больно умничает».

*9 февраля, суббота.*

Сегодняшний литературный вечер у Гаврила Романовича начался чтением стихов его на выступление в поход гвардии. На этот раз я охотно отказался бы от чтения их пред публикою — так мне они не по сердцу, но побоялся, чтоб он опять не огрел меня названием педанта, и волею-неволею провозгласил:

Ступай и победы  
Никем непобедимых;  
Обратно не ходи  
Без звезд на персях зримых!<sup>17</sup>

*17 февраля, воскресенье.*

Вчерашний вечер у И. С. Захарова не похож был на вечер литературный. Кого не было! Сенаторы, обер-прокуроры, камергеры и даже сам главнокомандующий С. К. Вязмитинов. <...>

Гаврила Романович долго и с жаром разговаривал о чем-то с сенаторами, князем Салаговым и Резановым, заседающими в одном департаменте с хозяином дома, и потом, живо обратясь к сидевшему возле Вязмитинова обер-прокурору П\*\*<sup>18</sup>, вдруг спросил его: «Да за что ж, Гаврила Герасимович, вы

мучите человека? Вот я сейчас просил Дмитрия Ивановича и князя о скорейшем окончании дела этого несчастного Ананьевского: они ссылаются на вас, что вы предложили потребовать еще какие-то новые от палаты справки; но ведь справки были давно собраны все; если же нет, то зачем не потребовали их прежде и в свое время?» П\*\* извинялся, уверяя, что дело Ананьевского скоро кончено будет. «Кончено будет! — возразил Гаврила Романович. — Но покамест он и с детьми может умереть с голоду».

Мне стало понятно, отчего многие не любят Державина. <...>

Конечно, мне удалось и поужинать, и прочитать стихи свои «К деревне»:

Деревня милая, отчизна дорогая,  
Когда я возвращусь под кров счастливый твой? —

но зато и выслушать получасовое замечание некоторых, по-видимому, записных аристархов. <...>

А между тем я подслушал, как Гаврила Романович, который, видно, не большой охотник до грамматики и просто поэт, кому-то прошептал: «Так себе, переливают из пустого в порожнее!»

*20 февраля 1806, среда.*

Вечером с час просидел у Гаврила Романовича. Он был неразговорчив и что-то невесел, однако ж не жалуется на нездоровье. Просил меня прийти завтра утром взглянуть на четверку лошадей, которых прислал ему граф Кутайсов с тамбовского своего завода. Говорит, что обошлись недорого, только боится, чтоб не были очень бойки.

*21 февраля, четверг.*

Лошади, присланные графом Кутайсовым Державину, точно хороши: большого роста, одна в одну, рыжегалой, так

называемой розовой масти, и вдобавок выезжены. Старик любовался ими из окна своего кабинета, а завтра намерен выехать на них в первый раз. Они обошлись ему 1200 руб. с приводом — недорого: за такую цену нельзя было бы купить их и на лебедянской ярмарке. Кутайсов прислал также и князю Лопухину шесть лошадей, только другой масти.

Теперь я догадываюсь, отчего Гаврила Романович вчера был так невесел и задумчив. У него в голове письмо к государю о дозволении передать свою фамилию старшему из своих племянников, Леониду Львову. Он намерен был просить об этом на первой неделе великого поста, но его известили, что государь скоро отъезжает в армию и что теперь не время беспокоить его величество. «Боюсь, чтоб не ушло время, — сказал Гаврила Романович, — и чтоб не сбылось мое предсказание:

Забудется во мне последний род Багрима».

«Отсутствие государя, вероятно, продолжится недолго», — заметил я. — «Бог весть, братец, а смерть не за горами»<sup>19</sup>.

Эти слова, сказанные голосом слабым и печальным, навели на меня какое-то неизъяснимое уныние. Я оставил Державина в грустном расположении духа <...>.

*19 марта, вторник.*

Гаврила Романович написал на отъезд государя молитву<sup>20</sup>, которую московский мой знакомец Нейком, приехавший сюда на прошедшей неделе, намерен положить на музыку и исполнить ее или в своем концерте, или в концерте Филармонического общества. Боюсь вымолвить, но эти стихи нашего барда слабы и не похожи на прежние его сочинения, а кажется, был прекрасный случай к вдохновению.



Толковали о князе Платоне Александровиче Зубове, который, несмотря на свое пятилетнее отсутствие, до сих пор еще считается шефом Кадетского корпуса. В это звание возвел его император Павел Петрович, а членом Государственного совета пожалован он уже государем Александром Павловичем. Гаврила Романович уверяет, что Зубов имеет много природных способностей. «Во время моего статс-секретарства, — говорил старик, — часто случалось мне перед докладом императрице заходить к Зубову и объясняться с ним по разным делам, о которых я докладывать был должен императрице, и выслушивать его заключения: они были очень правильны».

К слову о статс-секретарстве Гаврила Романовича. Любопытно происшествие, случившееся с ним во время исполнения этой должности. Державин докладывал однажды императрице по какому-то очень важному делу и, по случаю сделанного ею возражения, до того забылся в горячности своего объяснения, что осмелился схватить ее за конец мантильи, как бы в споре с какою-нибудь обыкновенною знакомою дамою. Государыня тотчас позвонила. «Кто еще там есть?» — спросила она очень хладнокровно вошедшего на звук колокольчика камердинера своего Зотова. «Статс-секретарь Попов», — отвечал Зотов. — «Позови его сюда». Попов вошел. «Побудь здесь, Василий Степаныч, — сказала императрица ему с улыбкою, — а то вот этот господин много дает воли рукам своим». Державин опомнился и в отчаянии бросился государыне в ноги. «Ничего, — примолвила императрица, — продолжайте докладывать; я слушаю». Это происшествие, которое рассказывал Попов и в котором сознавался сам Державин, было, кажется, настоящею причиною перемещения его из статс-секретарей в сенаторы.

*25 апреля, четверг.*

Гаврила Романович удивлялся, что я с первого дня праздника у него не был. «Я думал, что в самом деле не занемог ли ты, а ты рыскаешь по театрам!» Я не выдержал и рассказал ему в с.е. «Только-то? — спросил он, усмехнувшись. — Ну, это еще не беда: вперед наука. Между тем изготовь-ка что-нибудь к хвостовской субботе, а завтра вечером предварительно мне прочитай». Я предложил ему на выбор «Бардов»<sup>21</sup> или новое стихотворение «Осень», только просил увольнения от завтрашнего вечера по случаю именин моих и потому что собираюсь в театр смотреть «Магомета». «Ну так в субботу приходи обедать, а там и поедем вместе к Хвостову».

*4 мая, суббота.*

<...> Сегодня очередной вечер Хвостова. Удивляюсь, как он опять по какому-нибудь случаю не отказан. Не знаю, какие стихи заставит меня читать Гаврила Романович: «Барды» или «Осень». Ему нравятся «Барды», но мне они вовсе не по душе, и, право, совестно читать их; а делать нечего: сам кругом виноват.

*5 мая, воскресенье.*

Вчерашний литературный вечер А. С. Хвостова был последним из литературных вечеров, и до осени их более не будет. Гаврила Романович уезжает в свою Званку, на берега Волхова, и хочет на досуге заняться стихотворным описанием сельской своей жизни. «Лира мне больше не по силам, — говорит он, — хочу приняться за цевницу». Но кажется, что он только так говорит, а думает иначе и при первом случае не утерпит, чтоб опять не приняться за оду: как бы человек в силах ни ослабел, он не может идти наперекор своему призванию. «Chassez le naturel, il revient au galop»<sup>22</sup>.

*С. П. Жихарев*

*10 мая, пятница.*

Гаврила Романович уезжает завтра и что-то очень невесел; впрочем, говорят, что он и всегда таков перед отъездом, потому что не любит суеты, неразлучной с сборами в дорогу. Мне жаль сердечно старика: прощанье с ним навело меня на грустные размышления об одиночестве, которое ожидает меня до будущей осени <...>.

### **Из «Воспоминаний старого театрала»**

Державину очень хотелось видеть на сцене трагедию свою «Евпраксия»; но князь Шаховской не любил подобных произведений, кому бы они ни принадлежали, и потому не принимал ее, под предлогом недостатка денег в кассе на обстановку пьесы, требовавшей великолепного спектакля. Державин, потеряв терпение, решился, наконец, отнять всякий предлог к отказу и поставить пьесу на свой счет, о чем и поручил мне объявить Шаховскому, потому что я жил тогда вместе с Шаховским. При этом объявлении Шаховской вспыхнул, как буря, и комически разразился на меня всеми швермерами<sup>23</sup> своего гнева. «Это все, братец, ваши затеи с К\*, а старику и в голову бы не пришло ставить трагедию; шематоны вы этакие!» Приятельница его Катерина Ивановна Ежова — женщина добрейшая (она до такой степени баловала меня, что даже неразлучного моего товарища, лягавую собаку Цыгана, кормила рябчиками, в предосуждение аппетита Шаховского), но одаренная таким могучим контральтом, что князь Шаховской трепетал перед нею, — живо приняла мою сторону. «Ну что ты в самом деле, князь, упрямишься? Только наживаешь себе неприятелей. Упадет трагедия, так пусть упадет — тебе какое дело! О костюмах заботиться нечего: русские взять из

„Русалки“, а татарские из „Невидимки“ да „Ильи Богатыря“». Князь Шаховской захохотал и, обратясь к сидевшему тут Дмитревскому, сказал: «Вот поди ты с ней! Ей вздумается, пожалуй, представить и „Гектора”<sup>24</sup>». «А что ж, ваше сиятельство, — возразил Дмитревский, — Катерина Ивановна рассудила умно: отказом вы только обратите на себя негодование Гаврилы Романовича, и я, право, думаю, что лучше согласиться». «И вы туда же, Иван Афанасьич! — завопил Шаховской. — А я полагал, что вы уважаете Державина и любите его славу». — «Ну, конечно, люблю, но люблю и ваше сиятельство, и потому-то думаю, что лучше согласиться, а там — что Бог даст!» Шаховской решился принять трагедию, но с тем, чтоб сделаны были в ней некоторые изменения и сокращения. На другой день я извещил о том Державина, который в восхищении тотчас же пригласил к себе Дмитревского. «Вот, Иван Афанасьич, „Евпраксию“ мою просят на театр, но с тем, чтоб сделать в ней кой-какие перемены. Пособи, пожалуй: тебе со стороны виднее». — «Знаю, знаю, и я уж читал вашу трагедию, раза два читал от первого до последнего стиха, и, признаюсь, ничего не нашел, что бы переменить было должно: все так превосходно, истинно-превосходно!». — «Однако ж нельзя не потешить Шаховского, надобно что-нибудь переделать, а иное и выкинуть». — «Ну, конечно, если уж непременно вам угодно, то мне кажется, что вместо убиения русскими князьями Батюга можно было бы пригвоздить его, как Прометея, к какой-нибудь скале, да и заставить проговорить тираду посильнее, стихов в двадцать пять: будет эффектно, очень эффектно! Только я должен вам откровенно доложить, что я полагал бы лучше вашу бесподобную трагедию представить у вас на домашнем театре: ведь издержки-то будут одни и те же, а между тем декорации и костюмы остались бы дома. Те-

атр у вас прекрасный, да и актеры-то, право, не уступят придворным, хоть бы, например, Петр Иванович<sup>25</sup>, Степан Петрович<sup>26</sup> и Вера Николаевна<sup>27</sup> с сестрицею и братцами: ведь представляли же вашу „Федру“ прекрасно; а то возиться и хлопотать, а пуще обрезать или переменять сцены у такого сокровища — д л я н е б л а г о д а р н ы х!» — «И вестимо так, — подумавши, сказал простосердечный поэт. — Спасибо, Иван Афанасьич, за совет. Сыграем ее дома, а ты уж, братец, одолжи меня, похлопochи за репетициями».

Князь Шаховской был очень рад, что дело обошлось без него, и при всяком свидании благодарил Дмитревского, что избавил его от возни и хлопот. «Не за что, не за что благодарить меня, ваше сиятельство, — говорил Дмитревский. — Это услуга не вам, а Гавриилу Романовичу».



М. А. ДМИТРИЕВ

## Мелочи из запаса моей памяти

<О Державине>

Первая супруга Державина была Екатерина Яковлевна Бастидонова. Отец ее был португалец Бастидон, камердинер Петра III, а мать — кормилица императора Павла. Вторая его супруга была Дарья Алексеевна Дьякова, родная сестра супруги Василия Васильевича Капниста, который, следовательно, был Державину свояк. Первую он воспевал под именем Пленеры, почему она и в стихах Ивана Ивановича Дмитриева на ее кончину названа Пленирою. Вторую он называл в стихах своих Миленою:

Нельзя смягчить судьбину,  
Ты сколько слез ни лей;  
Миленой половину  
Займи души твоей<sup>1</sup>.

Державин, любя нежно вторую жену свою, не мог забыть первой! Вскоре после второй его женитьбы обедал у него Иван Иванович Дмитриев. Он заметил, что Державин несколько уже минут сидит, нагнувшись над своей тарелкой и, водя по ней вилкой, чертит что-то остатком соуса. Он взглянул на него: глаза полны слез. Взглянул на тарелку

и видит, что он чертит вензель первой жены своей. Дмитриев шепнул ему, что, если заметит Дарья Алексеевна, ей будет это неприятно. Державин стер написанное и зарыл; так что Иван Иванович принужден был вывести его в другую комнату, под предлогом дурноты, чтобы не обнаружить причины слез молодой жене его.

---

Державин любил природу, как живописец, и никакая красота ее не только не ускользала от его взгляда, но оставалась навсегда в его памяти, и при первом же случае вызывалась наружу его воображением. Иван Иванович Дмитриев говорил, что память его была запасом картин и красок! Однажды видел он, что Державин стоит у окна и что-то шепчет. На вопрос об этом Державин отвечал: «Любуюсь на вечерние облака! Какие у них золотые края! Как бы хорошо было сказать в стихах: краезлатые!» И действительно, вскоре этот эпитет явился в стихах его!<sup>2</sup> В другой раз за столом долго смотрел он на щуку и сказал, обратясь к Дмитриеву: «Я думаю, что очень хорошо будет в стихах *и щука с голубым пером!*», и этот стих не пропал из его запаса!<sup>3</sup>

---

Дядя мой пришел однажды к Державину в то время, когда он сидел над окончанием «Видения Мурзы». Он остановился на двух стихах:

Как солнце, как луну поставлю  
На память будущим векам!

Выше луны и солнца лететь было некуда, и он стал в тупик. Дмитриев сказал ему, шутя: «Вот бы как кончить:

Превознесу тебя, прославлю,  
Тобой бессмертен буду сам!»

«Прекрасно!» — сказал Державин: написал эти два стиха и кончил. Действительно, нельзя было лучше придумать окончания, тем больше, что оно совершенно в роде Державина: гордо и благородно!

---

Когда Екатерина отправилась из Петергофа в Петербург для принятия короны, Державин был гвардии солдатом и стоял на часах. Думала ли Екатерина, проходя мимо этого солдата, что это будет певец Фелицы, поэт, который прославит ее царствование!

Державин был правдив и нетерпелив. Императрица поручила ему рассмотреть счета одного банкира<sup>4</sup>, который имел дело с Кабинетом и был близок к упадку. Прочитывая государыне его счета, он дошел до одного места, где сказано было, что одно высокое лицо<sup>5</sup>, не очень любимое государыней, должно ему такую-то сумму. «Вот как мотает! — заметила императрица: — И на что ему такая сумма!» Державин возразил, что кн. Потемкин занимал еще больше, и указал в счетах, какие именно суммы. «Продолжайте!» — сказала государыня. Дошло до другой статьи: опять заем того же лица. «Вот опять! — сказала императрица с досадой. — Мудрено ли после этого сделаться банкротом!» — «Кн. Зубов занял больше», — сказал Державин и указал на сумму. Екатерина вышла из терпения и позвонила. Входит камердинер. «Нет ли кого там, в секретарской комнате?» — «Василий Степанович Попов, ваше величество». — «Позови его сюда». Попов вошел. «Сядьте тут, Василий Степанович, да посидите во время доклада; этот господин, мне кажется, меня прибить хочет...»



При императоре Павле Державин, бывший уже сенатором, сделан был докладчиком. Звание было новое; но оно приближало к государю, следовательно, возвышало, давало ход. Это было несколько досадно прежним его товарищам. Лучшее средство уронить Державина было настроить его же. Они начали говорить, что это, конечно, возвышение; однако что ж это за звание? «Выше ли, ниже ли сенатора, стоять ли ему, сидеть ли ему?»

Этим так разгорячили его, что настроили просить у государя инструкции на новую должность. Державин попросил. Император отвечал очень кротко: «На что тебе инструкция, Гаврила Романович? Твоя инструкция — моя воля. Я велю тебе рассмотреть какое дело или какую просьбу; ты рассмотришь и мне доложишь: вот и все!» Державин не унялся, и в другой раз об инструкции. Император, удивленный этим, сказал ему уже с досадою: «Да на что тебе инструкция?» Державин не утерпел и повторил те самые слова, которыми его подзадорили: «Да что же, государь! Я не знаю: стоять ли мне, сидеть ли мне!» Павел вспыхнул и закричал: «Вон!» Испуганный докладчик побежал из кабинета; Павел за ним: и, встретив Ростопчина, громко сказал: «Написать его опять в Сенат!» и закричал вслед бегущему Державину: «А ты у меня там сиди смиреннько!»

Таким образом Державин возвратился опять к своим товарищам. Это рассказывал граф Ростопчин.

---

Обыкновенное общество Державина составляли: И. Ф. Богданович, Алексей Николаевич Оленин, Николай Александрович и Федор Петрович Львовы, П. Л. Вельяминов

и Василий Васильевич Капнист, когда он приезжал из Малороссии.

*А. Н. Оленин* известен своею изобретательностию и талантом в рисовании известен как знаток и любитель художеств.

*Н. А. Львов* — кроме ученых сочинений должен быть известен в нашей литературе, во-первых, началом богатырской повести «Добрыня», написанным в духе старинной русской поэзии и весьма оригинальным; во-вторых, переводом в стихах Анакреона с подстрочного русского перевода, который сделан был для него Евгением Булгаром, архиепископом Таврическим. Этот перевод был издан с греческим подлинником в С.-П.б. 1794 года и почитается знатоками весьма близким. Перевод Мартынова известен более<sup>6</sup>; но перевод Львова<sup>7</sup> глаже, мягче и читается свободнее, что составляет большое достоинство, особенно в переводе такого поэта, как Анакреон.

*П. Л. Вельяминов* известен был многими переводами; между прочим, народною песнею: «Ох, вы, славные русски кислы щи!» Вот конец ее:

Проскакал конек поле чистое,  
Доскакал конек до крутой горы,  
По горе коньку, знать, шажком идти!

Все это небольшое дружеское общество Державина отличалось просвещением, талантами, вкусом, любовью к художествам, к музыке и вообще к изящному. До 1782 года, то есть до отъезда своего в Смирну, к нему же принадлежал и Хемницер, который много обязан ему чистотою слога своих басен, особливо Оленину и Н. А. Львову. Они строго разбирали его погрешности, советовали и даже с его позволения поправляли слог его. Хемницер прошел чрез сильное чистилище.

Из письма Державина к первой своей супруге<sup>8</sup> известно, что государыня приказала было напечатать сочинения Державина, и что по этому случаю он поручил Капнисту и Ивану Ивановичу Дмитриеву пересмотреть их и выбрать лучшие для издания. Они для этого пересмотра собирались у него в доме. Но выбор их показался автору слишком строгим. Войдя в комнату, где они занимались этим разбором, и увидя малое число пьес, отобранных и отложенных в сторону, он взял и все перемешал, сказав им: «Что ж! вы хотите, чтобы я снова начал жить!» Тем разбор и кончился.

Державин решительно не мог поправлять своих сочинений: он мог их переделывать совсем, но не исправлять. Вероятно, немногие знают, в каком виде был напечатан его «Вельможа» в «Одах, писанных при горе Чаталагае»<sup>9</sup>, где эта ода названа «На знатность». Вероятно, не многим известно и первое издание его псалма: «К властителям и судиям», напечатанное в «С.-Петербургском вестнике» 1780 года под названием: «Ода, преложение 81 псалма». Вот оно:

Се бог богов восстал судити  
Земных богов во сонме их,  
Доколе, рек, неправду чтите,  
Доколе вам шадити злых?

Ваш долг законы сохраняти  
И не взирать на знатность лиц;  
От рук гонителей спасати  
Убогих, сирых и вдовиц.

Не внемлют! грабежи, коварства,  
Мучительства и бедных стон  
Смущают, потрясают царства  
И в гибель повергают трон!

Кто узнает в этих плохих стихах ту прекрасную оду, которую мы нынче читаем в сочинениях Державина под другим, всем известным названием «Властителям и судиям».

*Восстал* всевышний бог да судит  
*Земных богов во сонме их:*  
*Доколе, рек, доколь* вам будет  
Щадить неправедных и *злых?*

*Ваш долг* есть: сохранять законы,  
На лица сильных не взирать,  
Без помощи, без обороны  
Сирот и вдов не оставлять.

Ваш долг: спасти от бед невинных,  
Несчастливым подать покров;  
От сильных защищать бессильных,  
Исторгнуть бедных из оков!

Не внемлют! видят — и не знают!  
Покрыты мздою очеса:  
Злодейства землю потрясают,  
Неправда зыблет небеса!

Из прежнего остались *один стих и девять слов*, означенные косыми литерами, прочее все написано вновь, а третий куплет прибавлен весь новый. Остальные три, которых не выписываю, оставлены прежние. Так переделывал свои пьесы Державин.

---

Известно, что эти стихи возбудили негодование императрицы; но не всем, может быть, известно, что для них перепечатано было несколько страниц «Вестника» с тем, чтобы их выкинуть. Мне попался экземпляр, в который новый лист

вставлен, а старый переплетен тут же, только надодранный в типографии<sup>10</sup>. Это замечание для библиоманов, как я.

---

В оде Державина на восшествие на престол императора Александра Первого находятся два стиха, в которых упрекали Державина, находя в них изображение Павла:

Умолк рев Норда сиповатый,  
Закрылся грозный, страшный взгляд.

Изображение, действительно, верное, и в намерении поэта нет сомнения. Он любил такого рода намеки. Например, в стихах:

Гудок гудит на тон скрипицы,  
И вьется локоном хохол!

Кто из современников не знал, что это Гудович (Ив. Вас.) и Безбородко?

---

В этом же издании напечатана «Эпистола» к Ив. Ив. Шувалову, которую Державин не поместил уже в последующем полном издании (1806 года) в 4 томах<sup>11</sup>. Ее нет и в последних. Лучшим изданием и самым исправным я признаю это, напечатанное в типографии Шнора<sup>12</sup>, и другое, 1831 года, в типографии Александра Смирдина<sup>13</sup>. Худшее — 1847, в 2 томах<sup>14</sup>, Смирдина, как и все его дешевые издания русских авторов, наполненные пропусками и опечатками. К ним следовало бы издателю поставить эпитафией русскую поговорку: «Дешево, да гнило!»

Первое издание сочинений Державина, состоящее в одном, первом томе, было напечатано в Москве 1798 года. За-

мечу для библиоманов, что в этом издании, в «Изображении Фелицы», в строке 33 (на с. 107) пропущены два стиха, очень известные:

Самодержавья скиптр железный  
Моей щедротой позлащу!

Во всех последующих изданиях, с 1808 года, они уже помещались.

---

Во всех нынешних изданиях пропускаются два эпитафия Державина, чего очень жаль. Вот они:

К 1-му тому, который был посвящен Екатерине, эпитафия из Тацита:

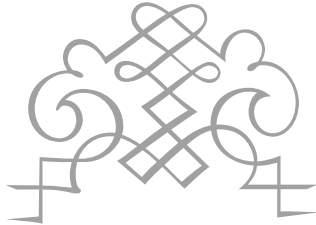
«О время благополучное и редкое, когда мыслить и говорить не воспрещалось; когда соединены были вещи несомкнутые — владычество и свобода; когда при самом легком правлении общественная безопасность состояла не из одной надежды и желания, но из достоверного получения прочным образом желаемого».

Во 2-м томе, который посвящен императору Александру Первому, был следующий эпитафия из Плиниева похвального слова императору Траяну:

«Мы не намерены ласкать ему нигде, яко существу высочайшему, или яко некоему божеству, ибо говорим не о тиране, но о гражданине, не о государе, но об отце Отечества, который почитает себя нам равным, но тем паче нас превышает, чем более равняет себя с нами».

Это замечание не лишнее для истории нашей цензуры, или, по крайней мере, для наблюдения различных ее фазов.

Мне кажется, сочинения Державина надобно издавать в том порядке, в каком они были издаваемы при его жизни. Новые издатели хотели привести их в некоторый систематический порядок; но при разнообразии его сочинений и смешанных родов, например оды с сатирой и прочее, систематическое расположение его творений почти невозможно. <...>





С. Т. АКСАКОВ

## Из очерка «Яков Емельянович Шушерин и современные ему знаменитости»

...Яковлев рассказал нам, что он знаком с Державиным и ходит к нему читать или декламировать его оды; что Державин, слушая их, приходит в восторг и делает разные жесты и что один раз, когда Яковлев, читая оду «Бог», произнес стих:

Кого мы называем Бог!! —

Державин схватил с головы колпак и так низко поклонился, что стукнулся лбом об стол, за которым сидел. Яковлев и Шушерин смеялись; но мне вовсе не казалось смешным такое горячее сочувствие знаменитого нашего лирика к своим высоким произведениям.





С. Т. АКСАКОВ

## Знакомство с Державиным

В половине декабря 1815 года приехал я в Петербург на короткое время, чтобы взглянуть на брата<sup>1</sup>, которого я в 1814 году определил подпрапорщиком в Измайловский полк. Брат жил у полковника Павла Петровича Мартынова, моего земляка и короткого приятеля, который, как и все офицеры, квартировал в известном Гарновском доме<sup>2</sup>; я поместился также у Мартынова. Гарновский дом, огромное здание без всякой архитектуры, как и все почти дома в Петербурге, — казармы Измайловского и Лейб-егерского полков, одолжен своей известностью стихам Державина ко «Второму соседу». История богача Гарновского, построившего свой огромный дом рядом с домом Державина выше законной меры и затемнившего свет своему соседу, — в свое время была известна всем. Державин жаловался полиции и написал стихи. Вот некоторые пророческие строфы из этого стихотворения:

Почто же, мой второй сосед,  
Столь зданьем пышным, столь отличным  
Мне солнца застения свет,  
Двором межуешь безграничным  
Ты дома моего забор?  
Ужель полей, прудов и речек,  
Тьмы скупленных тобой местечек  
Твой не насытят взор?

*Знакомство с Державиным*

Кто весть, что Рок готовит нам?  
Быть гложет, что сии чертоги,  
Назначенны тобой царям,  
Жестоки времена и строги  
Во стойлы конски обратят.  
За счастье поруки нету,  
И чтоб твой Феб светил век свету,  
Не бейся об заклад.

Так, так! Но примечай, как день,  
Увы! Ночь темна затмевает;  
Луну скрывает облак тень;  
Она растет иль убывает:  
С сумой не ссорься и тюрьмой, и проч.

Пышное здание обратилось в казармы, а богач-строитель, как говорят, умер в тюрьме.

Я приехал в Петербург вечером. Хозяина моего, Мартынова, не было дома, брата также; брат был у товарищей своих, измайловских же подпрапорщиков Капнистов<sup>3</sup>, родных племянников Державина, живших в доме у дяди и коротко познакомивших моего брата с гостеприимным хозяином. За братом послали. Между тем, узнав о моем приезде, пришли ко мне измайловские офицеры: Кавелин, Годеин, Лопухин и Квашнин-Самарин. Я был особенно дружен с Кавелиным, который в последнее время сделался очень коротким знакомым в доме Державина и бывал у него очень часто. После первых дружеских приветствий Кавелин спросил меня: знаю ли я, что Державин нетерпеливо меня ожидает? Что уже с неделю, как он всякий день спрашивает, не приехал ли я? — Такие слова сильно меня озадачили. Я был самым горячим, самым страстным поклонником Державина и знал наизусть все его лучшие стихи; я много раз видал его в публике, особенно до 1812 года, у А. С. Шишкова, но никогда не был ему представлен, не был с ним знаком. На двадцать четвертом году жизни, при моей

пылкой природе, слова: «Державин тебя нетерпеливо ожидает», — имели для меня такое волшебное значение, которое в теперешнее положительное время едва ли будет многими понято. Не успел я очнуться от изумления и радости, как прибежал мой брат, и первые слова его были: «Гаврила Романыч просит тебя прийти к нему сейчас...» Я совершенно обезумел. Наконец, опомнившись, спрашиваю: «Что же все это значит?» — и узнаю, что брат мой, бывший тогда восемнадцатилетним юношей, Кавелин и другие до того нахвалили Державину мое чтение, называемое тогда *декламацией*, что он, по своему горячему нраву, нетерпеливо желал меня послушать, или, как он сам впоследствии выразился, «послушать себя». Я не мог идти сейчас: я был красен с дороги, как вареный рак, и голос у меня *сел*, то есть не был чист, а я, разумеется, хотел показаться Державину *во всем блеске*. Кстати сказать здесь несколько слов о чтении, об искусстве читать, ибо умение и дарование чтения могут быть возведены на степень искусства. Чтение было моей страстью с самых детских лет; оно доставило мне много сердечных наслаждений в семье, в кругу друзей, в уединении, много доставило лестных самолюбию успехов в обществе и на сцене так называемых благородных театров. Не один раз давал я себе и другим обещание написать нечто вроде рассуждения об умении читать, рассуждения, которое могло бы служить не руководством, а некоторым объяснением этого дела для людей, имеющих охоту к чтению и талант, потому что без природного дарования нечего за это дело и браться. Не один раз принимался я за исполнение моего обещания, но всегда был совершенно недоволен написанным: так все казалось неудовлетворительно, непонятно, не выражало мысли, что я никогда не имел терпенья кончить и уничтожал черновые листы, а мне помнится, в них находилось кое-что удачно схваченное и хорошо выра-

женное. Чтение в обширном, высоком его значении — не только основание сценического искусства, но почти то же, что игра на театре. Надобно вполне почувствовать, вполне усвоить себе то, что читаешь; вполне овладеть своими средствами, как-то: чистотою произношения, управлением выработанного предварительно голоса и, что всего важнее, управлением собственными чувствами, мерою теплоты и одушевления... но я не хочу вдаваться в рассуждение об искусстве читать. Я хотел только определить его сущность и значение, что считаю нужным для моего рассказа о первом свидании и знакомстве с Державиным.

На другой день, в десять часов утра, явился за мной посланный от Гаврилы Романыча, и в одиннадцать часов я пошел к нему вместе с братом, несмотря на то, что еще не прошли на моем лице следы безобразия от русской зимней дороги. Сердце билось у меня сильно, и врожденная мне необыкновенная застенчивость, от которой я тогда еще не совсем освободился, вдруг овладела мною в высшей степени. Если б дорога не состояла только из нескольких десятков шагов, вероятно я воротился бы назад; но вошед в дом Державина и вступив в залу, я переродился. Робость моя улетела мгновенно, когда глазам моим представилась картина Тончи, изображающая Державина посреди снегов, сидящего у водопада в медвежьей шубе и бобровой шапке<sup>4</sup>.

Гений поэзии Державина овладел всеми способностями моей души, и в эту минуту уже ничто не могло привести меня в замешательство. — Со мною случилось точно то, что всегда случалось пред выходом на сцену в какой-нибудь хотя несколько значительной роли. Бывало, лишь только раздастся музыка увертюры, я начинаю дрожать, как в лихорадке, от внутреннего волнения; часто я приводил в страх моих товарищей-актеров, не знавших еще за мной этих проделок; но с пер-

вым шагом на сцену я был уже другой человек, помнил только представляемое мною лицо, и многочисленная публика для меня не существовала: я играл точно так, как репетировал роль накануне, запершись в своей комнате... Виноват, я увлекся в сторону и опять занялся исключительно собой; даю слово, что больше этого не будет. — Из залы налево была дверь в кабинет Державина; я благоговейно, но смело вошел в это святилище русской поэзии. Гаврила Романыч сидел на огромном диване, в котором находилось множество ящиков; перед ним на столе лежали бумаги, в руках у него была аспидная доска и грифель, привязанный ниткой к рамке доски; он быстро отбросил ее на диван, встал с живостью, протянул мне руку и сказал: «Добро пожаловать, я давно вас жду. — Я читал ваши прекрасные стихи<sup>5</sup> (Державин был плохой судья и чужих, и своих стихов), слышался, что вы мастерски декламируете, и нетерпеливо хотел с вами познакомиться». Державин был довольно высокого роста, довольно широкого, но сухощавого сложения; на нем был колпак, остатки седых волос небрежно из-под него висели; он был без галстука, в шелковом зеленом шлафроке, подпоясан такого же цвета шнурком с большими кистями, на ногах у него были туфли; портрет Тончи походил на оригинал как две капли воды. Я отвечал Державину искренно, что «считаю настоящую минуту счастливейшею минутою моей жизни, и если чтение мое ему понравится...» Он прервал меня, сказавши: «О, я уверен, что понравится; садитесь вот здесь, поближе ко мне», — и он посадил меня на кресло возле самого дивана. «Вы чем-то занимались, не помешал ли я вам?» — «О, нет, я всегда что-нибудь мараю, перебираю старое, чищу и глажу, а нового не пишу ничего. Мое время прошло. Теперь ваше время. Теперь многие пишут славные стихи, такие гладкие, что относительно версификации уже ничего не остается желать. Скоро явится

свету второй Державин: это Пушкин, который уже в лицее перещеголял всех писателей. Но позвольте: ведь мы с вами с одной стороны? Вы оренбурец и казанец, и я тоже; вы учились в казанской гимназии сначала и потом перешли в университет, и я тоже учился в казанской гимназии, а об университете тогда никто и не помышлял. Да мы с вами и соседи по оренбургским деревням; я обо всем расспросил братца вашего. Мое село, Державино, ведь не с большим сто верст от имения вашего батюшки (сто верст считалось тогда соседством в Оренбургской губернии)...» Гаврила Романыч подозвал к себе моего брата, приласкал его, потрепав по плечу, и сказал, что он прекрасный молодой человек, что очень рад его дружбе с своими Капнистами, и прибавил: «Да тебе не пора ли на учење? приятели твои, я видел, ушли». — «Пора, Гаврила Романыч, — отвечал мой брат, — и я сейчас пойду». — «Ступай с богом, а с братцем твоим мы уже познакомимся». И мы остались одни. Державин был так деликатен, что не заставил меня сейчас читать, хотя ему очень этого хотелось, как он впоследствии, смеясь, мне признавался. Он завел со мной довольно длинный разговор об Оренбургском крае, о тамошней природе, о Казани, о гимназии, университете, и на этот раз заставлял уже больше говорить меня, а сам внимательно слушал. Я говорил без запинки, с одушевлением, и несколько раз наводил разговор на стихи, и, наконец, как-то кстати, прочел несколько его стихов из стихотворения «Арфа», где он обращается к Казани:

О колыбель моих первоначальных дней,  
Невинности моей и юности обитель!  
Когда я освещусь опять твоей зарей  
И твой по-прежнему всегдашний буду житель?  
Когда наследственны стада я буду зреть,  
Вас, дубы камские, от времени почтенны,  
По Волге между сел на парусах лететь  
И гробы обнимать родителей священны?

Лицо Державина оживилось, глаза вспыхнули. «Вы хотите мне что-нибудь прочесть», — воскликнул он, и в глазах его засветился тот святой огонь, который внушил ему многие бессмертные строфы. «Всею душой хочу, — отвечал я, — только боюсь, чтобы счастье читать Державину его стихи не захватило у меня дыханья». Державин взглянул на меня и, видя, что это не комплимент, а чистая правда, схватил меня за руку и ласково промолвил: «Так успокойтесь». Наступило молчание. Державин встал и начал выдвигать ящики, которых находилось множество по бокам его большого дивана и как-то над спинкой дивана. На ящиках бронзовыми буквами были написаны названия месяцев, а на некоторых — года. Гаврила Романыч долго чего-то искал в них и, наконец, вытащил две огромные тетради, или книги, переплетенные в зеленый сафьянный корешок. «В одной книге мои мелочи, — сказал он, — а об другой поговорим после. Вы что хотите мне читать? верно, оды: Бога, Фелицу или Видение Мурзы?» «Нет, — отвечал я, — их читали вам многие, особенно актер Яковлев. Я желаю прочесть вам оду На смерть князя Мещерского и Водопад». — «А я хотел вам предложить прочесть мою трагедию». — «Сердечно рад, но позвольте мне начать этими двумя стихотворениями». — «Извольте». — «Я знаю наизусть почти все ваши стихи; но на всякий случай я желал бы иметь в руках ваши сочинения; верно, они есть у вас». — «Как не быть, — улыбнувшись, сказал Державин, — как сапожнику не иметь шильев» (сравнение довольно странное), — и он достал, также из ящика, свои стихотворения, богато переплетенные в красный сафьян с золотом. Я знал, что читать, сидя очень близко от человека, которому читаешь, неудобно и невыгодно, и потому пересел на кресло, стоявшее довольно далеко от Державина; он хотел удержать меня, говоря, что не так будет слышно, но я уверил его, что он услы-

шит все. Наружное мое волнение затихло и сосредоточилось в душе. Я прочел оду к Перфильеву на смерть князя Мещерского. С первыми стихами:

Глагол времен, металла звон,  
Твой страшный глас меня смущает,  
Зовет меня, зовет твой стон,  
Зовет — и к гробу приближает, —

Державин превратился в слух, лицо его сделалось лучезарным, руки пришли в движение. Когда я прочел:

Глядит на всех — и на царей,  
Кому в державу тесны миры;  
Глядит на пышных богачей,  
Что в злате и серебре кумиры;  
Глядит на прелесть и красоты,  
Глядит на разум возвышенный,  
Глядит на силы дерзновенны —  
И точит лезвие косы, —

Державин содрогнулся. Едва я произнес последние стихи:

Жизнь есть небес мгновенный дар,  
Устрой ее себе к покою,  
И с чистою твоей душою  
Благословляй судеб удар, —

Державин уже обнимал меня со слезами на глазах. Он не вдруг стал меня хвалить. Он молча сел опять на свое место, посадил и меня на прежнее кресло и, держа за руку, сказал тихим, растроганным голосом: «Я услышал себя в первый раз...» — и вдруг прибавил громко, с каким-то пошлым выражением (что меня очень неприятно поразило): «Мастер, первый мастер! Куда Яковлеву! вы его, батюшка, за пояс заткнете», и в то же время я заметил, что Державин вдруг сделался чем-то озабочен, что у него было что-то другое на уме. Он опять встал, вынул другую рукописную книгу; несколько раз



брал в руки то ту, то другую и, наконец, одну спрятал, а другую оставил на столе. Я видел ясно, что сильное впечатление, произведенное чтением оды к Перфильеву, у Державина быстро прошло и что ему ужасно хочется, чтоб я читал трагедию. Скрепя сердце я пожертвовал на этот раз «Водопадом» и хорошо сделал: Державин стал бы слушать меня рассеянно. Впоследствии я нашел минуту, когда он свободно мог устремить все свое внимание на это чудное стихотворение, дико составленное, но богатое первоклассными красотами: выражение этих красот было им тогда почувствовано вполне. — Итак, я обратился к Державину, державшему в руках большой том в зеленом корешке и рассеянно смотревшему в сторону: «Позвольте мне теперь прочесть вам трагедию». — «Знаете ли, о чем я думаю? — с живостью сказал он. — Вам трудно будет читать в первый раз рукописное сочинение». Я отвечал, что это правда, что даже печатную драматическую пиесу нельзя в первый раз прочесть хорошо, что надобно предварительно понять, вникнуть в характеры лиц, изучить ход сильных сцен; что я не читаю никогда никакой большой пиесы другим, не прочитав ее вслух предварительно самому себе. С живостью и удовольствием подал Державин мне обеими руками зеленый том и сказал: «Так возьмите, прочтите, изучите, и когда будете готовы, тогда прочтите мне. Но вот что: вы, верно, читали или слышали на театре „Ирода и Мариамну“<sup>6</sup>; прочтите мне из нее некоторые сцены», — и, не дождавшись ответа, он позвонил и приказал вошедшему человеку собрать экземпляр этой трагедии из печатных листов, лежавших большим тюком в нижнем ящике того же дивана. Разумеется, я сказал, что пиесу знаю и прочту с большим удовольствием, и это была правда. Я был в таком лирическом настроении, что рад был читать Державину что угодно, хоть по-арабски. В какие бы то ни было звуки хотела вылиться вскипевшая душа! В такие

минуты всякие стихи, всякие слова, пожалуй, неизвестного языка, — будут полны чувства и произведут сочувствие. Этим, по-моему, объясняется удивительный и нередкий факт, что на сцене истинные артисты приводили в восхищение слушателей, не знающих языка представляемой пьесы. — Между тем Гаврила Романыч послал за своей женой, племянницей (П. Н. Львовой) и племянником, служившим в статской службе, Капнистом<sup>7</sup>. Пришли первая и последний; племянница была еще не готова и явилась к концу чтения. Нетерпение Державина было очевидно: он едва познакомил меня с своей женой, а с Капнистом даже и не познакомил. Я начал читать и без всяких выпусков прочел трагедию до конца, отдыхая не более двух-трех минут между действиями. Меня уговаривали отдыхать побольше, но я не соглашался: трагедия была небольшая, и притом я чувствовал, что моя восторженность может охладеть, а тогда все бы погибло. Это чтение было единственным явлением в продолжение тридцатипятилетнего моего поприща в качестве чтеца, — явлением психологическим и весьма замечательным. Чтобы понять вполне мои слова, надобно взять «Ирода и Мариамну» и попробовать прочесть ее вслух. Я сам впоследствии, достигнув несравненно большего искусства в чтении, не один раз пробовал исполнить этот подвиг — и не находил возможности не только чем-нибудь воспламениться, но даже сносно прочесть и еще менее заставить других прослушать с участием хоть две страницы... а тогда я читал около полутора часа, и каждое слово было полно какого-то огня, какого-то чувства! Чтение было в то же время — мало сказать не верно, не сообразно с характерами и словами действующих лиц, но даже нелепо и бессмысленно. Я чувствовал это хотя не ясно, в самое то время, как читал. С полным сознанием и искренностью повторяю теперь, что чтение происходило на неизвестном мне

языке; но тем не менее и на других и на меня произвело оно магическое действие. Можно себе представить, что было с Державиным! Он решительно был похож на человека, одержимого корчами. Все мои сердечные ноты, каждый переход из тона в тон, каждый одушевленный звук перечувствовала его восприимчивая, страстная душа! Он не мог сидеть, часто вскакивал, руки его делали беспрестанные жесты, голова, все тело было в движении. Восхищениям, восторженным похвалам, объятьям — не было конца, а моему счастью — не было меры. Державин через несколько минут схватился за аспидную доску и стал писать грифелем. Все присутствовавшие, кроме меня, вышли. Разумеется, я догадался, что Державин пишет стихи на мое чтение, и не ошибся. Торопливо писала его дрожащая рука и беспрестанно стирала написанное. Мне показалось, что писание продолжалось с полчаса. Наконец, Гаврила Романыч взял читанную мною трагедию и на первом мягком листе, вверху названия трагедии, написал четыре стиха. Мне самому труднее, чем всякому другому, поверить, что я не помню этих стихов. Я тогда имел такую память, что с одного раза мог запомнить несколько куплетов, если только стихи мне нравились. Что книжка, подаренная Державиным, с его стихами, собственноручно написанными, у меня пропала — это не диковинка; я растерял в жизнь мою немалое число книг с надписями их авторов, иногда глубоко мною уважаемых, но не запомнить четырех стихов Державина, мне написанных, при моем благоговении к Державину, при моей памяти — это просто невероятно! Впрочем, дело объясняется несколько тем, что книга пропала у меня в первые два-три дня. Только и помню, что стихи, весьма негладкие, оканчивались словами: «Себя услышал в первый раз», словами, вырвавшимися у него после чтения оды на смерть Мещерского. Несказанно счастливый мыслию, что я мог при-

весть в восхищение величайшего из поэтов (так я думал тогда), опьяненный от восторга и удовлетворенного самолюбия, я поспешил уйти от Державина, чтоб поделиться моими чувствами с моими друзьями.

Само собою разумеется, что я сделался частым и любимым гостем «Певца Фелицы», как выражались тогда литераторы и дилетанты русской словесности. Хозяин готов был слушать с утра до вечера, а гость — читать и день и ночь. Чего не перечитал я Державину! И переведенную им «Федру» Расина и собственные его трагедии: «Св. Евпраксию»<sup>8</sup>, «Аталибу, или Покорение Перу»<sup>9</sup>, «Сумбеку (кажется, так), или Покорение Казани»<sup>10</sup> и проч., и сверх того два огромные тома в лист разных мелких его сочинений в стихах и прозе, состоявшие из басен, картин, нравственных изречений, всякого рода надписей, эпитафий, эпиграмм и мадригалов: все это перечитал я по нескольку раз. Я не говорю здесь о собственных записках Державина, имеющих большой интерес; я их видел, перелистывал, но не читал. При наших же стихотворных чтениях нередко с грустью думал я: умрет Державин, этот великий лирический талант, и все читаемое теперь мною, иногда при нескольких слушателях, восхищающихся из уважения к прежним произведениям писателя или из чувств родственных и дружеских, — все будет напечатано для удовлетворения праздного любопытства публики, между тем как не следует печатать ни одной строчки. Но благодарение разумной разборчивости его наследников: из рукописных сочинений, о которых я говорю, — именно не было напечатано ни одной строчки, сколько мне известно<sup>11</sup>.

Между тем, надобно сказать правду, кроме выгод чисто материальных можно было соблазниться исполнением желания горячих поклонников Державина: ибо в этой громаде стихов, лишенных иногда всякого достоинства, изредка встреча-

лись стихи очень сильные и блестящие лиризмом, впрочем по большей части не свойственные лицу, их произносившему. В мелких стихотворениях также изредка мелькал, может быть, не строго верный, но оригинальный взгляд, и если не цельный, то односторонне-живой и поэтический образ. Волкан потухал; но между грудами камней, угля и пепла мелькали иногда светлые искры прежнего огня. — Дарования драматического Державин решительно не имел; у него не было разговора — все была песнь; но, увы, он думал, что его имеет; часто он говорил мне с неуважением о своих одах и жалел, что в самом начале литературного своего поприща не посвятил себя исключительно трагедии и вообще драме. «Аталиба», трагедия в пяти действиях, с хорами и великолепным, не исполнимым на сцене, спектаклем, была любимым его произведением. В ней главный эффект основывался на солнечном затмении: Пизарро, захваченный в плен мексиканцами со всей свитой и в оковах ожидающий казни, предсказывает потемнение солнца как знамение гнева небесного; солнце в предписанную минуту помрачается (все это происходит на сцене), и победители упадают к ногам побежденных, освобождают их и признают своими повелителями. Помню я из этой трагедии один стих, который ценился Державиным выше всего. Аталиба, упрекая Пизарро в жадности к золоту, говорит длинный монолог, который оканчивается так:

Вы преплыли моря, расторгнув крови связь,  
Чтоб из-под наших ног увезть блестящу грязь.

Может быть, я что-нибудь и перепутал в первом стихе, но второй верен буквально. Из мелких своих сочинений Державин особенно любил одно осьмистишие, которым, по его мнению, вполне обрисовывались трое знаменитых наших баснописцев: Хемницер, Дмитриев и Крылов, из которых первого

он предпочитал остальным за простоту и естественность рассказа<sup>12</sup>. Стихов не помню, но содержание их состоит в том, что три поэта являются к Аполлону, который говорит Дмитриеву: ты ловок, образован и ввел басню в гостиную; Крылову — ты колок, народен и умен; а Хемницеру Аполлон протягивает руку, жмет ее, «и ни слова». Этими словами заключается стихотворение.

Почти всякий раз, как я бывал у Державина, я упрашивал его выслушать что-нибудь из его прежних стихов, на что он не всегда охотно соглашался. Я прибегал к разным хитростям: предлагал какое-нибудь сомнение, притворялся не понимающим некоторых намеков, лгал на себя или на других, будто бы считающих такие-то стихотворения самыми лучшими, или, напротив, самыми слабыми, иногда читал его стихи наизусть в подтверждение собственных мыслей, нравственных убеждений или сочувствия к красотам природы. Гаврила Романыч легко поддавался такому невинному обману и вступал иногда в горячий спор, но редко удавалось мне возбудить в нем такое сильное чувство чтением прежних его стихов, какое обнаружил он в первое наше свидание, слушая оду к Перфильеву. По большей части по окончании чтения он с улыбкой говаривал: «Ну да, это недурно, есть огонь, да ведь все пустяки; все это так, около себя, и важного значения для потомства не имеет; все это скоро забудут; но мои трагедии, но мои антологические пиесы будут оценены и будут жить». Безгранично предаваясь пылу молодого восторга при чтении его прежних «пустяков», я уже не мог воспламеняться до самозабвения, читая его новейшие сочинения, как это случилось со мной при чтении «Ирода и Мариамны». Державин это чувствовал, хотя я старался по возможности обмануть его поддельным жаром и громом пышной декламации; он досадовал и огорчался. «У вас все оды в голове, — говорил он, — вы способны толь-

ко чувствовать лирические порывы, а драматическую поэзию вы не всегда и не всю понимаете». Иногда, впрочем, он бывал доволен мною. — Державин любил также так называемую тогда *эротическую поэзию* и щеголял в ней мягкостью языка и исключением слов с буквою *р*. Он написал в этом роде много стихотворений, вероятно втрое более, чем их напечатано; все они, лишённые прежнего огня, заменённого иногда нескромностью картин, производили неприятное впечатление. Но Державин любил слушать их и любил, чтоб слушали другие, особенно дамы. В первый раз я очень смутился, когда он приказал мне прочесть, в присутствии молодых девиц, любимую свою пиесу «Аристиппова баня»<sup>13</sup>, которая была впоследствии напечатана, но с исключениями. Я остановился и сказал: «не угодно ли ему назначить что-нибудь другое?» — «Ничего, — возразил, смеясь, Гаврила Романыч, — у девушек уши золотом завешаны».

Так продолжалась моя жизнь около месяца; все время, свободное от необходимых дел и свиданий в Петербурге, проводил я в доме Державина, который в последние дни казался не так здоровым. Наконец, один раз пришел я к нему обедать, что бывало довольно часто. Швейцар встретил меня с обыкновенной ласковой улыбкой, но сказал мне, чтоб я вызвал камердинера Гаврилы Романыча, который имеет до меня какую-то надобность. Я несколько удивился и, взошел наверх, встретил этого самого камердинера; он сказал мне, что Дарья Алексевна (жена Державина) просит меня, не входя в кабинет к Гавриле Романычу, повидаться с ней и для того зайти наперед в гостиную; я удивился еще более и поспешил к разгадке. Дарья Алексевна<sup>14</sup>, несколько встревоженная, весьма учтиво и ласково сказала мне, что муж ее нездоров, что он провел дурно ночь, что у него сильное раздражение нерв и что доктор приписывает это тому волнению, с которым Гаврила

Романыч слушает мое чтение, что она просит, умоляет меня несколько времени не ходить к больному или ходить, но не читать под каким-нибудь предлогом; «а всего лучше скажитесь больным, — прибавила она, — если он вас увидит, то начнет так приставать, что трудно будет отказать ему». Я сейчас почувствовал, что все это совершенно справедливо. Я уже говорил, как Державин слушал мое чтение в первое наше свидание; точно то же продолжалось до сих пор, если не всегда при слушании прежних од, то всегда при слушании трагедий. Я вспомнил, какое изнеможение выражалось на лице Державина после наших, иногда долгих, дообеденных или вечерних чтений. Мне стало совестно, и я покраснел до ушей. Я сказал Дарье Алексевне, что мне больно, и грустно, и досадно на себя, для чего я сам давно этого не приметил. Она призналась мне, что уже с неделю всякий день собирается поговорить со мной об этом, что она боялась оскорбить меня и что боже сохрани, если узнает об этом Гаврила Романыч. Я поспешил ее успокоить и прибавил, что я сам болен, что доктор давно требует, чтоб я сидел дома, и что я выезжал единственно для Гаврилы Романыча. Все это была совершенная правда, только я был болен не от чтения, а от петербургского климата, от которого уже поотвык. Хозяйка благодарила меня искренно и упрашивала, чтоб я в доказательство, что не сержусь на нее, остался у них обедать. «Гаврила Романыч не выходит из кабинета и не узнает, что вы были здесь», — прибавила она очень приветливо. Я не остался под предлогом, что должен держать строгую диету; мне показалось как-то странно оставаться в доме контрабандой от хозяина. Я приехал, однако, вечером к Державину, сказал ему, что я давно нездоров, что должен лечиться и, может быть, недели две не выйду из комнаты. Гаврила Романыч чуть не заплакал и так огорчился, что я испугался вредных последствий. Он сам был, очевидно, не-



здоров. Глаза у него были мутные и пульс бился, как в лихорадочном жару, но сам он и слышать не хотел, что он болен, и жаловался мне, что с некоторого времени хотят уверить его, что он хворает, а он, напротив, давно не чувствовал себя так бодрым и крепким. Наконец, он отпустил меня в лазарет (как он выразился) и обнял на прощанье несколько раз, прибавив, что кстати исполнит просьбу жены и, хотя без надобности, сам полечится в это время.

Много было шуток и смеха в Гарновском доме, где я был хорошо знаком почти со всеми офицерами, а также и в близком, родственном кругу Державина. Говорили, что я *зачитал* старика и сам *зачитался* и что мы оба принуждены были не шутя лечиться. Молва подхватила это простое событие и распустила по городу — с обычными украшениями. Я сам после слышал, как рассказывал один господин, что «какой-то приезжий, сумасшедший декламатор и сочинитель, едва не уморил старика Державина чтением своих сочинений и что, наконец, принуждены были чрез полицию вывести этого чтеца-сочинителя из дома Державина и отдать на излечение частному лекарю».

Ровно через две недели явился я к Державину, хотя дни за два до срока Дарья Алексевна уже присылала звать меня. Гаврила Романыч очень мне обрадовался, но не так, как я ожидал. Может быть, ему успели внушить, что в обществе смеются над ним, будто бы с утра до вечера заставляющим читать себе свои сочинения; может быть, сказали, что мне это в тягость, что я скучаю и жалуясь на такое принуждение, а может быть, что всего вероятнее, успели его убедить, что такое равнодушное слушание точно ему вредно. Как бы то ни было, только Державин был со мною как-то принужденен и не сказал ни слова о своих стихах. На другой день то же, и я уже подумал, что мои отношения к Гавриле Романычу долж-

ны измениться, как вдруг последовало неожиданное возвращение к прежнему порядку вещей. Один из его племянников, А. Н. Львов, спросил меня при своем дяде: «Каково идет „Мизантроп“?» Эти слова обратили на себя внимание Державина, и я должен был рассказать ему, в чем состояло дело; оно состояло в следующем: Ф. Ф. Кокошкин перевел Мольерова «Мизантропа»; перевод его пользовался тогда большою славою; петербургская актриса М. И. Валберхова выпросила у Кокошкина эту пиесу, еще не игранную на петербургской сцене, себе в бенефис. Я отправлялся в самое то время из Москвы в Петербург; Кокошкин прислал со мною г-же Валберховой «Мизантропа» и взял с меня обещание, что я прочту сам его перевод всем актерам на «считке»<sup>15</sup> и даже посмотрю за репетициями, на что дал мне письменное полномочие. Я принялся было за это дело с обычною мне горячностью, но скоро увидел, что играю тут смешную роль: никто из актеров не хотел меня слушать и не обращал внимания на мои права, потому что заведовавший тогда репертуарною частью кн. А. А. Шаховской, с которым я был впоследствии очень дружен, не благоволил к Кокошкину и оскорбился, что такой молодой человек, как я, имел право ставить на петербургскую сцену такую знаменитую пиесу, как «Мизантроп» Мольера. Считку, разумеется, произвели без меня, и только по необходимости, очень сухо приглашен я был на репетиции. Я, увидя явное от всех нерасположение, отстранился и был только из приличия раза два на репетициях. Родные Державина знали эту забавную историю, и Львов (с которым мы были потом друзьями) сделал этот вопрос с намерением надо мной посмеяться. Я рассказал откровенно все. Державин по добродушию принял живейшее участие в моем неприятном положении; он знал только отрывки из перевода Кокошкина, когда-то прочтенные мастерски (по общему мнению) самим

Кокошкиным в «Беседе русского слова». Гавриле Романычу очень захотелось послушать, как я читаю комедию, и он стал меня убедительно просить, чтобы я прочел ему всего «Мизантропа». У меня был особый экземпляр, окончательно исправленный переводчиком, и на другой день вечером, при довольно многочисленной публике, я прочел «Мизантропа», Гаврила Романыч был совершенно доволен. Опять расшевелилось горячее сердце Державина, и с следующего дня начались опять наши чтения по-прежнему, хотя не так уже часто<sup>16</sup>.

Кроме собственных сочинений Державин охотно слушал чтение и других стихотворцев: И. И. Дмитриева, Батюшкова, Гнедича и проч. Крылова я не читал никогда, потому что Гаврила Романыч был недоволен мною при чтении собственных его басен, и это было совершенно справедливо. Басни навсегда остались для меня камнем преткновения; я много напряженно работал над чтением их, но никогда не был доволен собою, потому что слышал, как читает, или, лучше, рассказывает басни свои Крылов: это неподражаемая простота и естественность. Помню также, что я два раза читал при многих слушателях какое-то большое дидактическое стихотворение А. П. Буниной, которое принималось всеми с большим одобрением; но, кажется, кроме гладких, для того времени, стихов и цветистости языка, не имело оно других достоинств.

Благородный и прямой характер Державина был так открыт, так определен, так известен, что в нем никто не ошибался; все, кто писали о нем, — писал очень верно. Можно себе представить, что в молодости его горячность и вспыльчивость были еще сильнее и что живость увлекала его часто в опрометчивые речи и неосторожные поступки. Сколько я мог заметить, он не научился еще, несмотря на семидесяти-трехлетнюю опытность, владеть своими чувствами и скрывать от других сердечное волнение. Нетерпеливость, как мне

кажется, была главным свойством его нрава; и я думаю, что она много наделала ему неприятных хлопот в житейском быту и даже мешала вырабатывать гладкость и правильность языка в стихах. Как скоро его оставляло вдохновение — он приходил в нетерпение и управлялся уже с языком без всякого уважения: гнул на колени синтаксис, словоударение и самое словоупотребление. Он показывал мне, как исправил негладкие, шероховатые выражения в прежних своих сочинениях, приготовляемых им для будущего издания. Положительно могу сказать, что исправляемое было несравненно хуже исправленного, а неправильности заменялись еще большими неправильностями. Я приписываю такую неудачу в поправках единственно нетерпеливому нраву Державина. Я осмелился слегка сказать ему мое мнение, и он весьма благодушно согласился. Впрочем, такое сознание ни к чему не вело, и я вскоре увидел довольно красноречивый опыт нетерпения, вспыльчивости и неумения владеть собою престарелого поэта. Однажды Карамзин уведомил его запиской, что в такой-то день, в семь часов вечера, придет и прочтет отрывок из «Истории Российского государства»<sup>17</sup>.

Державин пригласил многих знакомых, большею частью людей почтенных уже по одним своим летам; не знаю почему, меня прислал он звать не более как за полчаса до условленного начала чтения. Я был дома и поспешил явиться: интерес мой особенно возбуждался тем, что дни за три Н. М. Карамзин сказал мне<sup>18</sup>, что обещал Державину прочесть что-нибудь из «Истории» и прочтет такое место, которым он сам доволен, но сомневается, чтоб оно понравилось другим. Я нашел у Державина: А. С. Шишкова, известного стихотворца гр. Д. И. Хвостова, также А. С. Хвостова, известного едкостью критических замечаний и в общественных беседах, и в рукописных стихах, Ф. П. Львова, П. А. Кикина, Н. И. Гнедича

и многих других. Бьет семь часов — Карамзина нет; в Державине сейчас обнаружилось нетерпенье, которое возрастало крещендо с каждой минутой. Проходит полчаса, и нетерпенье его перешло в беспокойство и волнение: он не мог сидеть на одном месте и беспрестанно ходил взад и вперед по своему длинному кабинету между сидящими по обеим сторонам гостями. Несколько раз хотел он послать к Карамзину и спросить: будет он или нет; но Дарья Алексевна его удерживала. Наконец, бьет восемь часов, и Державин в досаде садится писать записку; я стоял недалеко от него и видел, как он перемарывал слова, вычеркивал целые строки, рвал бумагу и начинал писать снова. К счастью, в самое это время принесли письмо от Карамзина. Он извинялся, что его задержали, писал, что он все надеялся как-нибудь приехать, и потому промешкал, и что просит Гаврилу Романыча назначить день и час для чтения, когда ему угодно, хоть послезавтра. Очень жалею, что я не списал этой записки или не оставил ее у себя. Державин, показав ее многим из гостей, отдал потом мне; я прочел, положил в карман и забыл; я возвратил ее через несколько дней. В семи или восьми строчках этой записки Карамзина дышала такая простота, такое кроткое спокойствие, такое искреннее сожаление, что он не мог исполнить своего обещания! Казалось, не было возможности, прочтя эти строки, сохранить какое-нибудь неудовольствие в сердце; но не то было с Державиным: он никак не мог так скоро совладеть с своей досадой, ни с кем не говорил, беспрестанно ходил, и все гости в несколько минут нашлись принужденными разъехаться. Тут Дарья Алексевна уже сама пожелала и попросила меня, чтоб я прочел что-нибудь. Надобно сказать, что в последнее время она постоянно показывала мне какую-то холодность, и я не вдруг согласился исполнить ее желание и предложить чтение. Гаврилу Романыч также не вдруг при-

нял мое предложение, наконец сказал: «Пожалуй, прочтите что-нибудь», и я начал читать. Державин долго слушал без участия, то есть без всяких движений в руках и лице; но мало-помалу пришел в свое обыкновенное положение и даже развеселился. В этот раз я просидел у него целым часом долее положенного срока, уже не читал, а слушал его рассказы о прошедшем, невозвратно прошедшем.

Между тем приближалось время одного из заседаний, или собраний, «Беседы русского слова», которая состояла из нескольких отделений, кажется из четырех, и каждое имело своего председателя. В одном отделении был председателем Ал. Сем. Хвостов, и я слышал от многих членов ропот против такого незаслуженного председательства; особенно обижался граф Хвостов, который не имел отделения, на что, как старейший и многоплоднейший писатель, имел он, по его убеждению, неотъемлемое право. Вообще находили странным, что А. С. Хвостов, человек почти ничего не напечатавший, известный только остроумно-шутливыми посланиями и эпиграммами, председательствует между заслуженными литераторами. Шишков, уважавший и любивший А. С. Хвостова, был причиною назначения его в председатели еще при первоначальном основании «Беседы». Особенно было забавно недовольствие членов Хвостовского отделения (как его называли), над которым другие подтрунивали и в числе которых быть никому не хотелось. Крылов и Гнедич, для успокоения оскорбленных авторских самолюбий, добровольно вызвались быть членами отделения под председательством А. С. Хвостова; их примеру последовали другие, и спокойствие водворилось в великом семействе жрецов Аполлона. Это обстоятельство случилось, впрочем, уже давно, и я рассказываю слышанное мною. Предстоящее собрание долженствовало происходить под председательством самого Державина, и он

последнее время был сильно тем озабочен. Ему хотелось, чтобы я прочел что-нибудь в «Беседе». Чтение пьес посторонними лицами допускалось иногда в виде исключений: так, например, Кокошкин читал свой перевод. Для Державина, разумеется, все согласилось, чтобы я прочел его пьесу. Он назначил мне рассказ в несколько страниц из «Аталибы» и стихотворение «Развалины Греции» Аркадия Родзянки, молодого человека, дальнего родственника Державина, служившего тогда подпрапорщиком в лейб-егерском полку. Стихи Родзянки признавались написанными превосходно, сильными, гладкими, звучными. Я очень радовался, что по крайней мере в них могу показать свое умение читать. Стихи же Державина приводили меня в ужас. Я выучил наизусть обе пьесы и приготовился к чтению... Но судьба устроила иначе: в день предварительного, или пригласительного, собрания «Беседы» и за три дня до настоящего собрания — я скакал уже с Кавелиным в Москву. Гаврила Романыч весьма огорчился, узнав о моем внезапном намерении уехать; сначала не верил, а потом досадовал, что я не хочу остаться трех дней, чтобы продекламировать его пьесу, успех которой он основывал отчасти на моем чтении. Мне самому это было очень больно; но особенные обстоятельства не позволили мне остаться, тем более, что зимний путь разрушался (тогда о шоссе еще не было и помину). Мы с Кавелиным уехали из Петербурга 18 марта, накануне славного дня взятия Парижа. После пример-парада множество офицеров шумно проводили нас, напутствуя добрыми желаниями и хором: «Веди меня, о PROVIDЕНЬЕ!»<sup>19</sup>

В начале июля Державина уже не было на свете.

Сколько простосердечия, теплоты, живости и благодушия сохранялось еще в этом семидесятитрехлетнем старце, в этом гениальном таланте! Вечер накануне моего отъезда, как на-

рочно, мы провели вдвоем. Много добрых желаний и советов сказал он мне на прощанье, искренно благодарил за удовольствие, доставленное моим чтением; много предсказывал мне в будущем и даже благословил меня на литературные стихотворные труды. Он ошибался во мне, и потому предсказания не исполнились и благословение не пошло впрок. Самый последний совет состоял в следующем: «Не переводите, а пишите свое, что в голову войдет; в молодости переводить вредно: сейчас заразишься подражательностью; в старости переводите, сколько угодно».

С глубоко растроганным сердцем вышел я из кабинета Державина, благодаря Бога, что он послал мне такое неожиданное счастье — приблизиться к великому поэту, узнать его так коротко и получить право любить его как знакомого человека! Каким-то волшебным сном казалось мне все это быстро промелькнувшее время! Державин знает, любит меня; он восхищался моим чтением, он так много говорил со мной, так много занимался мною; он считает, что я имею дарование, он говорил это всем, он сохранит воспоминание обо мне... Радостно билось мое сердце, и самолюбие плавало в упоении невыразимого восторга.

В исходе июля, собираясь уехать на десять лет из Москвы в Оренбургскую губернию, я узнал о смерти Державина. Еще живее почувствовал я цену моего с ним очень кратковременного, но полного, искреннего, свободного, кабинетного знакомства. Итак, скромный путь моей жизни озарился последними лучами заходящего светила, последними днями великого поэта! Тридцать пять лет<sup>20</sup> прошло с тех пор, но воспоминание об этих светлых минутах моей молодости постоянно, даже и теперь, разливает какое-то отрадное, успокоительное, необъяснимое словами чувство на все духовное существо мое. И чему я обязан за все это? — единственно моему чтению. Да



будет же благословенно искусство, которое звуками даже чужих слов, проникнутых собственным чувством человека, может так могуче переливать их в сердце другого!

Вскоре прочел я в «Благонамеренном»<sup>21</sup> большое стихотворение того самого господина Родзянки, которого пиесу назначено мне было читать в «Беседе»; оно называлось: «Державин». Это были пламенные, замечательные стихи особенно потому, что в составе их слышались иногда смелые, размашистые приемы, а в выражениях недостатки и даже красоты большею частью внешние, поистине державинские. Вот одна строфа этого стихотворения:

Прочь ход плачевный похорон,  
В прах смерти мрачны одеянья,  
Плач, слезы — слейтесь в восклицанья,  
В глас трубный — погребальный звон!  
Рассыпья лавром ельник скорбный,  
Встань жертвенником мрамор гробный!



В. И. ПАНАЕВ

## О Державине

Из моих воспоминаний

Прежде всего, с некоторою, думаю, позволительною, гордостью, должен я сказать, что Гавриил Романович причитался мне, по матери моей, урожденной Страховой, внучатым дедом<sup>1</sup>. Родной брат ее, а мой дядя, следственно племянник Державина, Александр Васильевич Страхов, живший в последние годы царствования императрицы Екатерины и в первые императора Павла в Петербурге, был почти ежедневным посетителем знаменитого поэта, пользовался особенным его расположением, делил с ним и радостные, и горькие его минуты; а последних, как видно из записок Гавриила Романовича<sup>2</sup>, было в ту пору у него немало. Поселясь впоследствии в казанском своем имении, дядя мой любил, бывало, особливо за ужином, завести речь о Державине, о высоком его таланте, благородных качествах, стойкости за правду, смелости при докладах по делам государственным. Хотя ужины эти по большей части продолжались далеко за полночь, но дядя мой говорил о любимом своем предмете с таким одушевлением, что я, несмотря на детский мой возраст, не только не дремал, но слушал его с жадностью и мало-помалу усвоил себе поня-

тие о Державине, об его личности, даже об его доме и некоторых, более оригинальных, в нем комнатах. Хотя дядя мой вообще не занимался литературою, но любил читать вслух стихотворения Державина, помещенные в первой части его сочинений, изданной в 1798 году, экземпляр которой подарил ему автор, с следующей собственноручной надписью: «*Любезному племяннику Александру Васильевичу Страхову, в знак дружбы. Гаврила Державин*»<sup>3</sup>. Старшие братья мои, а вслед за ними и я, не только читали их и перечитывали, но и выучивали наизусть. Кстати рассказать здесь об одном случае, доказывающем, как чтилось дядею нашим имя Державина. Мы сидели за обедом. Это было уже в городе, перед поступлением моим в гимназию. Докладывают, что почтальон привез с почты какую-то посылку. Приказано позвать его в столовую. Почтальон подает письмо и небольшую посылку в форме книги. Дядя распечатывает письмо и с восторгом вскрикивает: *от Гаврила Романовича!* Державин уведомлял его о назначении своем в министры юстиции<sup>4</sup>, звал в Петербург, надеясь быть ему полезным в тяжёбных делах его, а в заключение препровождал к нему Хемницеровы басни, издание которых года за четыре перед тем приняли на себя Державин и Оленин<sup>5</sup> и на которые дядя мой подписался тогда у Державина. Не одна радость, а какое-то счастье разливалось по благородному лицу дяди, когда он читал письмо; но все присутствующее были поражены, когда он изумленному почтальону подал... как бы вы думали? беленькую пятидесятирублевую ассигнацию! Пятьдесят рублей в то время, в 1802 году, за письмо! Видно, что оно было драгоценно.

Независимо от объясненной выше родственной связи семейства нашего с Державиным, отец мой, принадлежа к образованнейшим людям своего времени и бывший в коротких отношениях с тогдашними литераторами, еще до женитьбы на

моей матери пользовался знакомством и добрым расположением Державина. Доказательством тому, между прочим, служит нижеследующее письмо отца моего, которым поздравлял он Державина с получением ордена Св. Владимира 2-й степени<sup>6</sup>.

*«Милостивый государь  
Гаврила Романович!*

*По искреннейшей преданности и привязанности к вам моей сердечной, судите о той радости, какую я чувствовал, получа известие о последовавшем к вам во второй день сентября монаршем высочайшем благоволении. Моя радость была одна из тех, которых источник в самой душе находится. Больше я не могу изъяснить. Примите мое поздравление с новыми почестями, на вас возложенными. Бог, любящий добродетель и правоту сердца, да умножит награды и благополучие ваше — к удовольствию добрых и честных людей. С сим чистосердечным желанием и совершенным высокопочтанием пребуду навсегда,*

*милостивый государь,  
вашего превосходительства  
всепокорнейший слуга  
Иван Панаев.*

*Октября 11 дня  
1793 года.*

*Пермь».*

Отец мой не мог лично передать мне никаких подробностей об отношениях своих к Державину, потому что скончался, когда мне не было и четырех лет; напротив, мать моя нередко о нем рассказывала слышанное от покойного своего супруга,

сама же видала его только в детстве, в доме матери своей, в Казани, где находился он по случаю пугачевского бунта, состоя в свите генералов, сначала Александра Ильича Бибикова, и потом графа Петра Ивановича Панина, командовавших войсками, назначенными против самозванца. Она нередко вспоминала об этом времени, о родственных ласках к ней Державина и между прочим рассказывала, как однажды приехал он к ним для перевязки легкой раны, шпагою в палец, полученной им на какой-то дуэли, прося об этом не разглашать<sup>7</sup>. Будучи уже вдовою, она постоянно, пред наступлением Нового года, писала к Гавриилу Романовичу поздравительные письма и получала ответные поздравления.

Таким образом, сперва семейные предания о Державине, а потом его творения, достоинство которых, по мере возраста моего и образования, становилось для меня яснее и выше, произвели то, что он сделался каким-то для меня кумиром, которому я в душе моей поклонялся, и часто говорил сам себе: «Неужели я никогда не буду иметь счастья видеть этого великого поэта, этого смелого и правдивого государственного мужа<sup>8</sup>?» Университетские товарищи мои, посвятившие себя словесности, тоже бредили Державиным и в свободное от классов время читали наперебой звучные, сочные стихи его. Во всех углах, бывало, раздаются, то ода «Бог», то «На смерть Мещерского», «На взятие Измаила», «На рождение Порфирородного отрока», то «К Фелице», «К богатому соседу», «Вельможа», «Водопад» и пр. Мы были признательнее настоящего поколения.

Приступаю к главному рассказу. В 1814 году, когда я, будучи уже кандидатом, оставался еще при университете, получил я однажды от брата моего Александра, служившего в гвардии, письмо, в котором он сообщал мне, что обедал на днях у Державина и что Гавриил Романович между прочим

спросил его: «Не знаешь ли, кто это такой у вас в Казани молодой человек, Панаев же, который занимается словесностью и пишет стихи, именно идиллии?» «Другой фамилии Панаевых, — отвечал брат, — кроме нашей, в Казани нет; это, вероятно, меньшей брат мой, Владимир, который с ребячества оказывал склонность к поэзии». «Так, пожалуйста, напиши к нему, чтобы прислал мне, что у него есть».

Можете представить себе мое удивление и мою радость: Державин интересуется мною, моими стихами!

Тогда было у меня написано пять идиллий. Я озабочился чистенько переписать их и, при почтительном письме, отправил к Гавриилу Романовичу, прося сказать мне, от кого узнал он об упражнениях моих в поэзии. Но радость моя не имела пределов, когда вскоре получил я благосклонный ответ его. Целую зимнюю ночь не мог я сомкнуть глаз от приятного волнения. Самый университет принял в том участие: профессоры, товарищи, все меня поздравляли. Так ценили тогда великих писателей, людей государственных! Вот этот ответ, доселе мною сохраняемый:

*«Милостивый государь мой  
Владимир Иванович!*

*Письмо ваше от 26 октября и при нем сочинения вашего идиллии с удовольствием получил и прочел. Мне не остается ничего другого, как одобрить прекрасный талант ваш, но советуя дружески не торопиться, вычищать хорошенько слог, тем паче, когда он в свободных стихах заключается. В сем роде у нас мало писано. Возьмите образцы с древних, ежели вы знаете греческий и латинский языки, а ежели в них неискусны, то немецкие Геснера могут вам послужить достаточным примером в описании природы и невинности нравов. Хотя климат*

*В. И. Панаев*

*наш суров, но и в нем можно найти красоты и в физике, и в морали, которые могут тронуть сердце; без них же все будет сухо и пусторечие. Прилагаю при сем и русской образчик, который заслуживает внимание наилучших знатоков. Матушке вашей свидетельствую мое почтение. Братец ваш живет почти все в Стрельне, его здесь никогда не видно.*

*Впрочем, пребываю с почтением*

*ваш,  
милостивого государя моего  
покорный слуга,  
Гаврила Державин.*

*Р. С. Мне первый сказал о ваших идиллиях г. Бередников, который у вас теперь в Казани<sup>9</sup>.*

*Прилагаю здесь и присланные стихи; они действительно очень хороши, но не идиллия.*

### **Жатва**

Заплети волнисту косу,  
Платье легкое надень;  
Серп возьми, а мне дай косу:  
Даша! в поле встретим день.

Спорит свет еще со тьмою;  
Но заря уже зошла.  
Взглянь, как огненной струею  
Весь восток она зажгла.

Все воскресло, оживилось;  
Всходит царь веселых дней.  
Море золота открылось  
С зрелой жатвою полей.

*О Державине*

Все, что глаз наш ни окинет,  
Мы легко с тобой пожнем;  
Лель на миг нас не покинет:  
Не устанем мы втроем.

Хлеб себе трудом достанем,  
Лишек с бедными разделим  
И чужим довольством станем  
Веселиться, как своим.

Копит пусть скупой доходы,  
Пусть в засеках рожь гноит,  
Сам себя лиша свободы,  
Над казной своей не спит;

Недостаток и забота  
С роскошью от нас ушли:  
Ключ златой нам даст работа  
Общей житницы — земли.

Так на что же плавить слитки,  
Злато в яме хоронить?  
Жизни не прибавишь нитки,  
Как ее ни золотить.

Кто сохой свой хлеб находит,  
Роясь век в земле сырой,  
Тот без страха в гроб нисходит:  
Он давно знаком с землей.

Скуки, праздности не знает;  
Для него болезней нет:  
Он на ветке увядает,  
Как плоды принесший цвет.



Пусть богач одет парчами,  
Пьет вино из чаш золотых,  
Пусть гордится теремами:  
Не найдет покоя в них.

Взглянь на стебли возвышенны:  
Что в их колосе пустом?  
Те, что скромно наклоненны,  
Те обильнее зерном.

Будем же судьбе покорны;  
Низкость нам от бури щит:  
Ветр ломает дуб нагорный, —  
По лозам он лишь скользит.

Страшно в ров тому свалиться.  
Кто юлит все на скале;  
Как паденья нам страшиться? —  
Близко мы живем к земле.

Но уж полдень наступает;  
Прячется под лесом тень;  
Нас дуброва призывает  
Под свою прохладну сень.

Уберем снопы золотые;  
Щи горячие нас ждут:  
Сдобрят кушанья простые,  
При здоровье, легкий труд.

Пообедав, в нашей воле  
Лечь под липовым кустом;  
Утро мы трудились в поле,  
Сладко час, другой уснем.

*О Державине*

Изголовье нам душисто  
Из цветов положит Лель  
И под тенью ивы мшистой  
Приготовил уж постель.

Лель! наш бог и друг сердечный!  
Счастьем нас благослови:  
Век наш был бы скукой вечной  
Без подруги и любви.

О, любовь! останься с нами,  
Как минет и юность дней;  
Вместо роз, над сединами  
Ландышны венки нам свей.

В старости любить утешно:  
Смерть хотя б пришла в те дни,  
Мимо нас пройдет поспешно —  
Скажет: молоды они.

Бакунин<sup>10</sup>».

В благодарственном ответном письме<sup>11</sup>, я, по студенческой совести, никак не мог воздержаться, чтобы не сказать откровенного своего мнения о стихах Бакунина; помню даже выражения. «Если, — писал я, — литература есть своего рода республика, где и последний из граждан имеет свой голос, то позвольте сказать, что прекрасное стихотворение г. Бакунина едва ли может назваться идиллею; оно, напротив, отзывается и увлекает любезною философиею ваших горацянских од».

Признаться, я долго колебался, оставить или исключить из письма моего эту педантическую выходку; но школьное

убеждение превозмогло, и письмо было отправлено. Впоследствии, будучи уже в Петербурге, с удовольствием узнал я от одного из ученых посетителей Державина, что он остался доволен письмом моим, читал его гостям своим, собиравшимся у него по воскресеньям, и хвалил мою смелость.

Наконец, в 1815 году выпал мой жребий ехать в Петербург для вступления в гражданскую службу, вместо военной, в которую рвался я с самого вторжения Наполеона в Россию, но встретил неодолимые препятствия, как со стороны университетского начальства, которое желало сделать из меня педагога, так и в сопротивлении моего дяди, который был полновластным главою нашего семейства. Мечтая дорогою о прибытии в столицу, всего нетерпеливее желалось мне видеть двух человек: императора Александра, вознесшего Россию на такую высокую степень славы, и Державина. Но император не возвращался еще с венского конгресса, а Державин — это было в августе — находился в новгородской своей деревне, Званке. Петербург ликовал тогда славою недавних побед нашей армии, славою своего Государя вторичным низвержением Наполеона. На всех лицах сияло какое-то веселье, в домах пели еще:

Хвала, хвала тебе, герой,  
Что град Петров спасен тобой<sup>12</sup>.

Заглохшая в продолжение нескольких лет торговля в полном развитии. Погода, как нарочно, стояла прекрасная. Я спешил воспользоваться ею, чтобы осмотреть достопамятности столицы. Вскоре последовала выставка Академии Художеств, начинавшаяся тогда 1 сентября. Отправляюсь туда; к особенному удовольствию, нахожу там портрет Державина, писанный художником Васильевским и, как говорили мне, очень схожий. Знаменитый старец был изображен в ма-

линовом бархатном тулупе, опушенном соболями, в палевой фуфайке, в белом платке на шее и в белом же колпаке. Дряхлость и упадок сил выражались на морщиноватом лице его. Я долго всматривался. Невольная грусть мною овладела: ну, ежели, думал я, видимая слабость не позволит ему возвратиться на зиму в Петербург? ну, ежели я никогда его не увижу?...»<sup>13</sup> На мое счастье в декабре месяце Державин возвратился. Спустя несколько дней еду к нему.

Он жил, как известно, в собственном доме, построенном в особенном вкусе, по его поэтической идее, и состоявшем из главного в глубине двора здания, обращенного лицом в сад, и двух флигелей, идущих от него до черты улицы, в виде двух полукругов. Будучи продан по смерти вдовы Державина, дом этот принадлежит теперь римско-католическому духовенству, несколько изменен, украшен в фасаде; но главный чертеж остается прежним. Смотря на него, невольно приводишь себе на память чьи-то старинные стихи:

Дом Ломоносова, великого пииты,  
Жилищем сделался Демидова Никиты.

У подъезда встретил меня очень уже пожилой, небольшого роста, швейцар, и когда я сказал ему, кто я, он вскричал, с добродушным на лице выражением: «Да вы, батюшка, казанские, вы наши родные!» Швейцар этот, как я после узнал, был из числа тех трех Кондратьев, которых Державин вывел на сцену в одной шуточной своей комедии<sup>14</sup>. Он принадлежал к родовому имени своего господина и потому-то встретил меня так приветливо. «Пожалуйте за мною на верх, продолжал он: я сейчас доложу».

С благоговением вступил я в кабинет великого поэта. Он стоял посреди комнаты, как на портрете, только вместо бархатного тулупав сереньком серебристом бухарском халате,

и медленно, шарча ногами, шел ко мне на встречу. От овладевшего мною замешательства, не помню хорошенько, в каких словах я ему отрекомендовался, помню только, что он два раза меня поцеловал, а когда я хотел поцеловать его руку, он не дал и, поцеловав меня еще в лоб, сказал: «Ах, как похож ты на своего дедушку!» «На которого?» — спросил я и тотчас же почувствовал, что вопрос мой был не кстати, потому что Гавриил Романович не мог знать деда моего с отцовской стороны, не выезжавшего никогда из Тобольской губернии. «На Василия Михайловича (Страхова), с которым ходили мы под Пугачева», — отвечал Державин. — «Ну, садись, — продолжал он, — верно, приехал сюда на службу?» Точно так, и прошу не отказать мне в вашем, по этому случаю, покровительстве. «Вот то-то и беда, что не могу быть тебе полезным. Иное дело, если бы это было лет за двенадцать назад: тогда бы я тебе пригодился; тогда я служил, а теперь от всего в стороне». Слова эти меня поразили. «Как! — вскричал я, — с вашим громким именем, с вашею славою, вы не можете быть мне полезным?» «Не горячись, — возразил он с добродушною улыбкою, — поживешь, так узнаешь. Впрочем, если где наметишь, скажи мне: я попробую, попрошу». За сим он стал расспрашивать меня о родных, о Казани, о тамошнем университете, о моих занятиях, советуя и на службе не покидать упражнений в словесности; прощаясь же, просил посещать его почаще. Раскланявшись, я не вдруг догадался, как мне выйти из кабинета, потому что он весь, не исключая и самой двери, состоял из сплошных шкапов с книгами.

Дней через пять, часов в десять утра, я опять отправился к Державину, и в этот раз не для одного наслаждения видеть его, говорить с ним, а для исполнения возложенного на меня казанским обществом любителей отечественной словесно-

сти, которого был я членом, поручения исходатайствовать копию с его портрета и экземпляр нового издания его сочинений. «Копию? Да ведь это стоить денег!» — сказал Державин, улыбаясь. Не ожидая такого возражения, я несколько остановился, но вскоре продолжал: зато, с какою благодарностью примет общество изображение великого поэта, своего почетного члена, своего знаменитого согражданина. Да и где приличнее как не там; стоять вашему портрету? «Ну, хорошо. Но с которого же списать копию? с Тончиева, что у меня внизу? да он очень велик, поколенный». «А с того, что был на нынешней академической выставке?» — подхватил я, и опять некстати. «Как это можно, помилуй! — возразил он — там написан я в колпаке и в тулупе. Нет, лучше с того, который находится в Российской Академии, писанный отличным художником Боровиковским. Там изображен я в сенаторском мундире и в ленте. Когда будет готов, я пришлю его к тебе для отправления; а сочинения, можешь, пожалуй, взять и теперь. Их вышло четыре тома; пятый отпечатается летом: его пошлем тогда особо». Я забыл сказать, что в этот раз нашел я Гавриила Романовича за маленьким у окна столиком, с аспидною доскою, на которой он исправлял или переделывал прежние стихи свои и с маленькою собачкою за пазухой. Так большею частию заставлял я его и в последующие утренние мои посещения. В продолжение же нашего разговора о портрете и книгах мы уже сидели на диване. Этот диван был особого устройства — гораздо шире и выше обыкновенных, со ступенькою от пола и с двумя по бокам шкафчиками, верхние доски которых заменяли собою столики. Державин кликнул человека, велел принести четыре тома своих сочинений и вручил их мне. Принимая, я позволил себе сказать: «Не будете ли так милостивы, не означите ли на первом томе вашей рукою, что дарите их обществу? С этою надписью они будут

еще драгоценнее». — «Хорошо; так, потрудись, подай мне перышко». Он положил книгу на колени и спросил: — «Что же писать-то?» Что вы посылаете их в знак вашего внимания к обществу». Он не отвечал: но вместо *внимания* написал: в *знак уважения*. С книгами этими и портретом случилась впоследствии беда. Портрет был изготовлен и отправлен вместе с книгами не ранее марта месяца (1816 г.). Дорогою захватила их преждевременная растополь: посылка попала где-то в зажору и привезена в Казань подмоченною: Что касается до портрета, то университетский живописец Крюков успешно очистил его от плесени и хорошо реставрировал; книги же, разумеется, очень пострадали, так что секретарь общества, по поручению одного, умолял меня выпросить у Державина другой экземпляр. Не легко мне было сообщить об этой беде Гавриилу Романовичу, и не без сожаления он меня выслушал, но успокоился, когда я объяснил ему, что портрет не потерпел никакого существенного повреждения; книги же обещал он доставить, когда выйдет последняя, пятая часть, но не успел этого исполнить, и в библиотеке общества остался, вероятно, хранится еще и теперь, подмоченный экземпляр.

Описанное второе свидание мое с Державиным случилось дней за пять до праздника Рождества Христова. Прощаясь, он потребовал, чтобы 25 числа я непременно у него обедал. «Такие дни, — примолвил он, — должно проводить с родными. Я познакомлю тебя с женою. Да привези с собою и брата. Он, кажется, нас не любит».

Здесь надобно сделать некоторое отступление. Когда я отъезжал в Петербург, дядя мой выразил мне полную надежду, что Гавриил Романович примет меня благосклонно; родственно, и — большое сомнение в том со стороны супруги его, Дарьи Алексеевны. По его словам, она старалась откло-

нить старика от казанских родных его и окружала своими родственниками. То же подтвердил мне брат мой; то же заметил и я, когда явился к обеду в день Рождества Христова. Она приняла меня очень сухо.

В этот раз я почти не узнал Державина — в коричневом фраке, с двумя звездами, в черном исподнем платье, в хорошо причесанном парике. Гостей было человек тридцать, большею частию людей пожилых. Один из них, с необыкновенным даром слова, заставивший всех себя слушать, обратил на себя особенное мое внимание. «Кто это?» — спросил я кого-то, сидевшего подле меня. Тот отвечал: «Лабзин». Тогда внимание мое удвоилось: я вспомнил, что в бумагах покойного отца моего нашлось множество писем Лабзина, под псевдонимом Безьеров, — вероятно, потому, что, он, нигде «еров»<sup>15</sup> не ставил. В письмах этих, замечательных по прекрасному изложению, он постоянно сообщал отцу моему о современном ходе французской революции. Впоследствии я познакомился с Лабзиным, и это знакомство составляет любопытный эпизод в истории моей петербургской жизни.

В продолжение праздников я два раза, по приглашению Державина, был на его балах по воскресеньям, но от застенчивости посреди чуждого мне общества и от невнимания хозяйки скучал на них, не принимал участия в танцах, хотя, танцуя хорошо, мог бы отличиться. В эти два вечера занимали меня только два предмета: нужное обращение хозяина с тогдашнею красавицею, г. Колтовскою, женщиной лет тридцати пяти, бойкою, умною. Гавриил Романович почти не отходил от нее и казался бодрее обыкновенного. Второй предмет — это очаровательная грациозность в танцах меньшей племянницы Дарьи Алексеевны, П. Н. Львовой, впоследствии супруги упомянутого выше сенатора Бороздина. Она порхала, как сальфида, особливо в мазурке.



Холодность хозяйки сделала то, что я старался избегать ее гостиной и положил бывать у Гавриила Романовича только по утрам, в его кабинете, где он всегда принимал меня ласково. Расскажу несколько более замечательных случаев из этих посещений.

В начале 1816 года явился в Петербург Карамзин, с восемью томами своей истории. Это произвело огромное впечатление на мыслящую часть петербургской публики. Все желали видеть его, если можно, послушать что-нибудь из его истории. Двор также был заинтересован прибытием историографа: положено было назначить ему день, для прочтения нескольких лучших мест из его истории, во дворце, в присутствии их императорских величеств.

«Виделись ли вы с Карамзиным?» — спросил я однажды Гавриила Романовича. «Как же: он у меня был, и по просьбе моей обещал прочесть что-нибудь из своей истории, не прежде, однако ж, как прочтет у Двора; но как я не хочу один насладиться этим удовольствием, то просил у него позволения пригласить нескольких моих приятелей. На днях поеду к нему и покажу список, кого пригласить намерен; тебя я также включил. Но меня вот что затрудняет: Александр Семенович Шишков — мой давний приятель и главный сотоварищ по «Беседе»<sup>16</sup>: не пригласить его нельзя, а, между тем это может быть неприятно Николаю Михайловичу, которого, ты знаешь, он жестоко преследовал в книге своей «О старом и новом слоге». Через несколько дней Гавриил Романович рассказал мне, что он был у Карамзина, показывал ему список и объяснил затруднение свое относительно Шишкова; но Карамзин отозвался, что ему будет весьма лестно видеть в числе слушателей своих такого человека, как Александр Семенович, и что он не только не сердит на него за бывшие нападки, но, напротив; очень ему благодарен, поелику вос-

пользовался многими его замечаниями. «Я уверен, примолвил Державин с одушевлением, что история будет хороша: кто так мыслит и чувствует, тот не может писать дурно»<sup>17</sup>. Предположенное чтение, однако ж, не состоялось, потому что во весь великий пост не могло состояться и у Двора; оно было отложено до переезда императорской фамилии в Царское Село, а вскоре после Пасхи Державин, как увидим ниже, уехал на Званку.

Возвратившийся с конгресса император Александр Павлович уже два месяца оживлял столицу своим присутствием. Он ежедневно прогуливался пешком по Невской набережной и по Фонтанке; сани его, с брошенной на них шинелью, тихо ехали позади. Всякий, кто только мог, кому позволяло время, спешил встретиться с ним, взглянуть на него. Живши тогда у Семионовского моста, я каждый день, во втором часу, торопился выйти на Фонтанку, чтобы насладиться счастьем видеть обожаемого государя; а он — редкое соединение красоты и величия — казался мне не человеком, а чем-то свыше, каким-то неземным существом. Это время было, конечно, лучшим временем его жизни: великодушный победитель, восстановитель падших царств, успокоитель потрясенной, облитой кровию Европы, предмет любви и удивления целого света, он, казалось, сознавал в душе своей, что вполне совершил великий подвиг, на который призван был провидением. Это внутреннее довольство скромно выражалось на прекрасном лице его; а блестящие супружества двух сестер, великой княгини Екатерины Павловны и великой княжны Анны Павловны, им же устроенные, довершали тогдашнее его счастье. Увеселения Двора отражались в увеселениях города. Вскоре благочестивый государь пожелал явить столице торжество веры. День победы под Фершампенуазом и в особенности день вступления российских войск

в Париж почтил он молебствием и великолепным парадом на площади Зимнего дворца. Петербург был в восторге от давно невиданного зрелища, от славных воспоминаний: Державин написал стихи. Новость эта быстро разнеслась по городу. Я отправился к Гавриилу Романовичу. Это было в воскресенье, после обедни. Он сидел за большим письменным столом своим, а от него, полукругом, пятеро гостей, в том числе Федор Петрович Львов и Гаврила Герасимович Политковский, критиковавших какое-то стихотворение Жуковского. Как скоро они умолкли, я попросил позволения прочитать вновь написанные стихи. Державин мне их подал. А когда обратился я к нему с новою просьбою — позволить мне взять их с собою и списать, он отвечал: «У меня только и есть один экземпляр, между тем, приезжают, спрашивают. Лучше сядь сюда к столу и спиши здесь...» Я сел. Державин оторвал от какой-то писанной бумаги чистые пол-листа, подал мне и придвинул чернильницу. Выписываю эти стихи. Они, конечно, не прежние державинские; но грех было бы и взыскивать. Довольно того, что всякое событие, к славе отечества относящееся, находило отзыв в теплой душе его и, несмотря на преклонность лет, воспламеняло в ней искру поэзии.

### Сонет

*на торжество, бывшее в Петербурге  
19 марта 1816 года, на память взятия Парижа*

Воспоминание парижского плененья  
Представя Александр на невских берегах,  
Неизреченный дух влил в россах восхищенья,  
Что дал им торжество незримо зреть в полках.  
Казалось, неба свод, полк ангелов склонились,  
Чтоб зреть царей, цариц, лик пастырей, войск строй;  
Но паче красоте души того дивились,  
Кто в благочестье сем был истинный герой.

### *О Державине*

За зло не воздал злом, не мстил страдальца кровью,  
Но, прах его почтя, платил врагам любовью.  
Се образ доблестей, который, как гора,  
Век будет славой рость, как звезды не увянет.  
Ничто так радовать тебя, Монарх, не станет,  
Как память сладкая содеяна добра.

Стихи эти, писанные мною в кабинете Державина, его пером, на его бумаге, и теперь хранятся у меня в том же виде.

Великий пост 1816 года замечателен двумя торжественными собраниями «Беседы любителей русского слова», происходившими, как и прежде, в доме Гавриила Романовича. Они в полном смысле могли назваться блестящими. Многочисленная публика наполняла обширную, великолепно освещенную залу. В числе посетителей находились почти все государственные сановники и первенствующее генералы. Тут в первый раз видел я графа Витгенштейна, графа Сакена, графа Платова, которого маститый хозяин встретил с каким-то особенным радушием. На последнюю беседу ждали государя императора. Но когда все заняли свои места, вошел в залу с.-петербургский главнокомандующий, граф Вязмитинов, и объявил Державину, что государь, занятый полученными из-за границы важными депешами, к сожалению, приехать не может. Тогда началось чтение, и все вскоре догадались об истинной причине отсутствия государя. Член «беседы», Политковский, произнес ему похвальное слово! Не говоря уже о том, что оно было плохим подражанием Плинеева Траяну, возможно ли было ожидать, чтобы тот, кто постоянно уклонялся от похвал целого света, согласился выслушать их, лицом к лицу, от доморощенного оратора, говорившего битый час?

Наступала страстная неделя. Гавриил Романович предложил мне говеть с ним, для чего я должен был каждый день

приезжать обедать и оставаться до вечера, чтобы слушать все-нощную. Но я воспользовался этим предложением один только раз — в понедельник. Холодность хозяйки поставляла меня в неприятное, затруднительное положение: я отговорился большим расстоянием моей квартиры от их дома и тогдашней распутицей.

В Светлое воскресенье я, однако ж, приехал обедать и потом не был целую неделю. Прихожу во вторник на Фоминой. Гавриил Романович был один в своем кабинете. Некоторые из шкапов стояли отворенные; на стульях, на диване, на столе лежали кипы бумаг. Спрашиваю о причине. «Во вторник на следующей неделе я уезжаю в Званку. Не знаю, приведет ли Бог возвратиться, так хочу привести в порядок мои бумаги. Ты очень кстати пожаловал: пособи мне». С искренней радостью принялся я за работу. Беру с дивана большую пачку, вижу надпись: «мои проекты». «Проекты? Вы так много написали проектов, и по каким разнообразным предметам!» — сказал я с некоторым удивлением, заглянув в оглавление. «А ты разве думал, что я писал одни стихи? Нет, я довольно потрудился и по этой части, да чуть ли не напрасно: многие из полезных представлений моих остались без исполнения. Но вот что более всего меня утешает (он указал на другую пачку): я окончил миром слишком двадцать важных, запуганных тяжб; мое посредство прекратило не одну многолетнюю вражду между родственниками». Я взглянул на лежащий сверху реестр примиренных: это по большей части были лица знатнейших в государстве фамилий. Подхожу к столу, на котором лежали две кучки бумаг, одна побольше, другая поменьше — Трагедии? оперы? спрашиваю я, тоже с некоторым, по неожиданности, удивлением: я и не знал, что вы так много упражнялись в драматической поэзии; я думал, что вы написали одну только трагедию: Ирод и Марианна. «Целых пять, да три

оперы, — отвечал он. — Играли ли их на театре?» «Куда тебе! теперь играют только сочинения князя Шаховского, потому что он всем там распоряжает. Не хочешь ли прочитать которую-нибудь? Очень хорошо». «Так возьми хоть „Василия Темного“, что лежит сверху. Тут выведен предок мой Баграм. Да кстати возьми уж одну и из опер но с тем, чтобы по прочтении пришел к нам в субботу обедать и сказал бы мне откровенно свое мнение». Слова эти удивили меня по неожиданному лестному доверию к моему мнению и в то же время смутили при мысли, что произведения эти, судя по трагедии «Ирод и Мариамна», вероятно, найду я недостойными таланта великого поэта, что род драматический не его призвание. Но нечего было делать: я взял и «Василия Темного», и оперу «Эсфирь», которая тоже лежала сверху.

Возвратившись домой, принялся я читать. Ни та, ни другая мне не понравились, может быть, по предубеждению; по привычке к строгим классическим правилам, тем более, что трагедия имела форму почти романтическую, начиналась сценою в крестьянской хижине. Может быть, прочитав ее теперь, я судил бы о ней иначе, был бы справедливее, снисходительнее. Чем ближе подходила суббота, тем сильнее возрастало мое смущение. Мог ли я нагло солгать пред человеком, столь глубоко мною чтимым: похвалить, его произведение, когда убежден был в противном? С другой стороны, как достало бы у меня духа сказать ему правду? Я не знал, что мне делать, как выйти из трудного моего положения? Думал, думал и решился не ехать обедать. В этой решимости подкрепляла меня мысль, что, может быть, по старости лет, по сборам в дорогу, Гавриил Романович как-нибудь забудет, что дал мне эти пьесы, что звал меня обедать. Вышло, однако ж, напротив. В субботу, в седьмом часу вечера, докладывают мне, что пришел швейцар Державина, известный Кондратий.

Я тотчас надел халат, подвязал щеку платком, лег на кровать и велел позвать посланного. «Гаврила Романович, сказал Кондратий: приказали вам сказать, что они сегодня дожидались вас кушать и очень сожалели, что вы не пожаловали, да приказали взять у вас какие-то ихние бумаги». — «Ты видишь, — отвечал я, — что я нездоров: у меня сильно разболелись зубы». Я-таки перемогался; но кончилось тем, что не в силах был приехать, а дать знать о том было уже поздно; бумаги же хотел отослать завтра утром. Теперь возьми их с собою да, пожалуйста, извини меня пред Гавриилом Романовичем».

Мне и теперь еще кажется, что я поступил хорошо, уклонившись, хотя, правда, неделикатно и с примесью лжи, от обязанности высказать Гавриилу Романовичу откровенное мнение мое о его трагедии и опере. Но — увы! — эта студенческая честность стоила мне дорого, я лишился удовольствия с ним проститься, взглянуть на него в последний раз. Гавриил Романович, действительно, уехал в наступавший вторник, и через два месяца 8 июля, в день Казанской Божией Матери; скончался в сельском своем уединении, пропев эту лебединую песнь, достойную лучшего времени его поэзии:

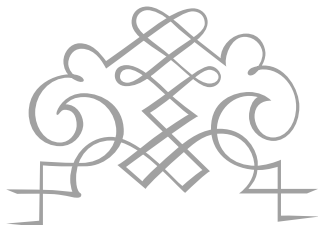
Река времен в своем теченье  
Уносит все дела людей  
И топит в пропасти забвенья  
Народы, царства и царей;  
А если что и остается  
Чрез звуки лиры и трубы,  
То вечности жерлом пожрется  
И общей не уйдет судьбы.

Прах великого поэта покоится в Хутынском монастыре, в нескольких верстах от Новгорода. Для чего не в Казани, на

*О Державине*

родине? Там, кажется, было бы ему теплее. Туда любил он переноситься душою. Посмотрите, с каким чувством, с какою любовью взывал он к местам, где протекли детские и юношеские его годы:

О, колыбель моих первоначальных дней,  
Невинности моей и юности обитель!  
Когда я освещусь опять твоей зарей  
И твой по прежнему всегдашний буду житель?  
Когда наследственны поля<sup>18</sup> я буду зреть,  
Вас, дубы камские, от времени почтенны,  
По Волге, между сел, на парусах лететь  
И гробы обнимать родителей священи?<sup>19</sup>







М. Ф. РОСТОВСКАЯ

## Воспоминание о Гаврииле Романовиче и Дарье Алексеевне Державиных

То зеркало лишь хорошо, которое верно отражает.

С невольною робостью берусь я за перо после заглавия, которое сама же и написала в начале этой страницы.

Имя Державина стоит так высоко, так тесно связано с громкою, заслуженной славою, что, может быть, не моему слабому дарованию писать о человеке, который своими бессмертными поэзиями всегда будет говорить красноречивее за себя самого, чем все мои рассказы. Но дело в том, что Державин как поэт заслуживает, чтобы с ним познакомились ближе как с человеком. Как крестнице Гавриила Романовича, как внучке его второй жены Дарьи Алексеевны, рожденной Дьяковой, мне отрадно было бы из собранных мною подробностей составить небольшую статью, посвященную их памяти, и поделиться с моими читателями теми глубокими чувствами любви и уважения, которые должны родиться при ближайшем знакомстве с честною и прекрасною их жизнью. Пройдет еще десять, двадцать лет, не станет уже и теперь очень немногих людей, которые их близко знали, горячо и искренно любили, некому будет об них рассказывать — и столь-

ко интересных подробностей исчезнет навсегда и пропадет безвозвратно! Разве этого не жаль? С воспоминанием об Дарье Алексеевне воскресают передо мною и мои счастливые, веселые дни блаженного младенчества и беззаботной молодости; по этой причине и мне самой отраднo возвратиться к этому давно минувшему счастливому времени.

Гавриила Романовича я совсем не знала. Он скончался вскоре после моего рождения; но Дарья Алексеевна была самая почтенная, самая милая и добрая бабушка, какую можно только себе вообразить. Не имея родных внуков (у Дарьи Алексеевны никогда детей не было), она любила нас, детей ее племянниц Львовых, с необыкновенным снисхождением и нежностью.

Родная ее сестра Мария Алексеевна Дьякова была замужем за Николаем Александровичем Львовым, моим дедом. Оба они скончались в молодых еще годах, оставив пятерых детей на попечении Дарьи Алексеевны и Гавриила Романовича, который до их совершеннолетия был их опекуном. Дарья Алексеевна вполне им заменила мать родную, выдала всех трех племянниц замуж и поэтому самому, особенно любила их детей, в числе которых и на мою долю выпала такая любовь, которую, конечно, я никогда не забуду; в ней одно из самых отраднoх моих воспоминаний. С этой любовью бабушка не скучала моим детским обществом; по целым часам и дням я находилась при ней, а когда я выросла постарше, то она много рассказывала про блестящее ее прошедшее, про обожаемого ею Гавриила Романовича, про его высокое, гениальное дарование, про все удачи и испытания, которыми так была богата его длинная жизнь.

Дарья Алексеевна была из рода Дьяковых. Как она, так и все четыре ее сестры славились красотой, что о сию пору можно видеть по оставшимся превосходным их портретам,

написанным Боровиковским. Они езжали ко двору императрицы Екатерины и замечательны были не только по красоте своей, но и по редкому тогда воспитанию и образованию. Они были из числа весьма немногих девиц, умеющих читать и писать по-русски и говорить на нескольких иностранных языках. Поэтому уже они были ближе знакомы с европейскою литературой; и, что было в то время замечательно, — они умели танцевать в такт; вследствие чего их избирали для кадрили великого князя Павла Петровича и часто приглашали во дворец на маленькие вечера, где им случалось приятно разговаривать с иностранными послами и другими высокопоставленными и образованными лицами. В эту эпоху девушки едва начинали входить в наше русское общество как действующие члены. Дьяковы были из первых, хотя и скромных, но уже разговаривающих девиц.

Бабушка мне рассказывала следующий анекдот, случившийся в ее присутствии с меньшою ее сестрою, а моею родной бабушкой Марией Алексеевной.

Граф Сегюр, французский посланник при нашем дворе, разговаривая с Марьей Павловной Нарышкиной, сидящей в кругу с другими дамами и девицами, рассказывал что-то о северном сиянии, называя его, как и следует по-французски, *aurore boréale*, все присутствующие дамы поглядывали друг на друга в недоумении, не понимая, о чем идет речь; тогда Мария Алексеевна, которая сидела возле графа с левой стороны, скромно вмешалась в разговор и поддержала его с достоинством на удивление присутствующих.

Дарья Алексеевна была так хороша собой, что государыня, проходя мимо нее в зале, где на представлении ее величеству было очень много народу, подошла к ней сама, взяла ласково за подбородок и спросила с заметным восторгом и удивлением: «*Qui es-tu, ma belle enfant?*»<sup>1</sup> Портрет Дарьи Алексеевны

и теперь составляет одно из лучших украшений нашей семейной галереи.

Ни Марья Алексеевны, ни всех ее сестер, кроме бабушки Дарьи Алексеевны, я никогда не знала и не видывала, да кажется даже, что я родилась, когда их не было уже в живых. Одна Дарья Алексеевна близка моему сердцу и памяти: я как теперь вижу ее благородную, прекрасную наружность и, конечно, невозможно себе представить старушки-красавицы, более олицетворявшей важный и немножко чопорный век императрицы Екатерины.

Бабушка была с утра гладко и красиво причесана; из-под чистого, накрахмаленного чепца, особого и ей одной принадлежащего покроя или фасона, русые ее булки из накладных волос красиво окаймляли ее прекрасное лицо, которое осталось прекрасным даже с утратою молодости и свежести.

Сверх шелкового платья, обыкновенно темного цвета, она по будням надевала шелковый же черный передник, а по воскресеньям заменяла его зеленым и еще чем-то, вроде распашного капота, или шинельки, с коротенькою пелеринкою. Гладко сложенная кисейная белая фреза окружала ее шею и заменяла нынешний необходимый воротничок.

Моды бабушки имели ей одной принадлежащий характер, которому она никогда не изменяла. Я ее помню с самых ранних детских лет, и всегда ее платья, чепцы и фрезы были одного и того же покроя. Она переменяла только цвета материй и любила вообще быть хорошо одетой.

Меня, как молоденькую девочку, восхищала ее замечательная аккуратность и порядок в туалете. Никто не слышал, чтобы бабушка кого-нибудь не могла принять оттого, что не была одета. Несмотря на ее замечательную красоту, Дарья Алексеевна при первом взгляде казалась холодной и недоступной; но как умела она показать свое внимание при всяком

случае, когда оно было нужно гораздо более на деле, чем на одних словах. Многие помнят о сию пору, с какою готовностью она спешила помочь, успокоить и утешить людей, огорченных и озабоченных житейскими невзгодами. В ней была теплота душевная, которая очень немногим дана в удел.

Для меня собственно, кроме связывающего нас родства, бабушка была олицетворенная эпоха екатерининского века, который казался мне, только что подростшей девочке, чем-то давно прошедшим, но таким блестящим, нарядным, великим. Царствование императора Павла и двадцать лет царствования императора Александра с великою отечественною войною отодвинули или, так сказать, затмили на время век Екатерины, затмили более великими событиями, чем годами; но для меня, по живому и впечатлительному моему характеру, с самых детских лет этот замечательный век чрезвычайно был интересен, и я слушала бабушку с неописанным удовольствием и любопытством. Я всегда любила страстно поэзию и меня восхищала эта великая государыня, которую воспевали в стихах и во имя которой было совершено столько великого дела.

Оставшись вдовою, Дарья Алексеевна совершенно отказалась от двора и высшего общества, жила очень скромно и уединенно в своем доме у Измайловского моста на Фонтанке, принадлежащего теперь Римско-католической Духовной коллегии. Дни ее проходили однообразно и тихо в семейном кругу; поэтому все воспоминания, все прекрасное, веселое, счастливое, все, чем так была полна ее жизнь при Гаврииле Романовиче принадлежало царствованию императрицы Екатерины. Могла ли она не любить своего прошедшего и не вспоминать об нем с удовольствием?

Дом бабушки казался мне каким-то великолепным дворцом или сказочным замком, с его каменными лестницами и темными переходами. Сколько моих детских воспоминаний

неразлучны с этим большим домом, который хотя и переделан и перестроен, но самое воспоминание неизгладимо врезалось в мою память; даже странно, — а я больше всего помню, каким он был, когда мне самой было пять или шесть лет. Впоследствии Дарья Алексеевна сама несколько раз заново отделявала и устраивала нижний этаж, который, впрочем, почти всегда стоял пустой, и только в некоторых важных и необыкновенных случаях бабушка принимала в нем митрополитов, архиереев и других почетных гостей.

Детьми нас вниз никогда не пускали, и только из залы верхнего этажа, в котором жила бабушка, три окна выходили на большую нижнюю залу, и из них-то нам удавалось полюбоваться на эту огромную комнату как на обетованное царство. По углам ее стояли колоссальные бронзовые черные фигуры, держащие жирандоли о множестве свеч, везде были развешаны зеркала, три большущие люстры висели от потолка на длинных железных прутьях, и бесчисленное множество маленьких пунцовых диванчиков, расставленных по стенам, казались нам сверху детскими игрушками.

Комнаты верхнего этажа были невысоки и очень просто убраны. Между ними особенно мил был *диванчик*: так звали маленькую гостиную бабушки, в которой она всегда сидела и всех нас принимала.

Эта комната заслуживает, чтобы я ее подробно описала. В ней следует видеть необходимую обстановку бабушки; когда я вспоминаю о Дарье Алексеевне, то она невольно является передо мною в этом самом диванчике, на заветном и любимом ее месте. Он составляет как будто раму к ее незабвенному для меня портрету.

Вот как был устроен этот диванчик. В самой комнате о двух окнах, к противоположной от них стене, был приделан род четвероугольного храма, весь из белой кисеи, драпирован-

ной на розовой подкладке. Драпировка подымалась к потолку сводом, в центре которого над самыми головами вставлено было небольшое зеркало. Храмик был сплошной, выключая стороны, обращенной к окнам. Тут поддерживали его колонны; вообще он был похож на красивую розовую ложу, вокруг которой был по стенам сплошной розовый же диван, замкнутый с концов деревянными точеными балясинками, возле которых лежали маленькие подушки. Вход в диванчик по двум ступеням и весь пол устлан был парадным ковром. В углублении этой ложи висело большое зеркало, ровно против него, на стене между окон, такое же другое. Перед зеркалами стояли столы. Храмик этот был уже комнаты и потому кругом его был род небольшого коридора, который всегда на меня навел страх, потому что в нем было постоянно темно. И я маленькой девочкой точно так же любила диванчик, как терпеть не могла окружающего его коридора.

Стол перед диванчиком, в глубине ложи, был красного дерева, круглый, со сфинксами и жертвенниками *incrustés* в виде борта на верхней доске, обтянутой гладко в середине черным сафьяном.

Сколько отрадных, веселых воспоминаний являются в моей памяти, лишь только переносюсь я мысленно к этому милому, всегда теплomu, всегда светлomu уголку.

Бабушка собственно ко мне так исключительно была милостива и ласкова, что и я вечною памятью готова и теперь воздать ей за это доброе расположение. Как часто она приказывала мне сесть против нее на диване, называя меня *гусями*, и слушала с добрейшим снисхождением мою детскую болтовню.

Мне не судьба была знать родную бабушку Марью Алексеевну, а так естественно, так отратно любить горячо и с благодарностью ту, которая нам даровала мать родную; мое же

сердце перенесло на Дарью Алексеевну все, что было в нем нежного, за маменьку, которая со своей стороны имела к Дарье Алексеевне высокое и глубокое чувство любви и благодарности.

В этом же диванчике на столе между двух окон стояла игрушка, которая меня приводила в восторг, хотя теперь я не могу даже себе отдать отчета, что это была за вещь и к чему предназначена. Под большим стеклянным колпаком, из тонкой серебряной филиграновой работы была сделана какая-то скала, вершков в десять или двенадцать вышины, а на ней сидела птичка, с воробья величиной, сделанная из серебра, с золотыми лапками, рубиновыми глазами и голубыми, как бирюза, крыльями. На скале в разных местах росли будто цветы, в роде гиацинтов и колокольчиков и еще какие-то странные костяные грибы, раскрашенные пестро и оригинально. Эти грибы меня особенно занимали. Как теперь помню, что сижу я у стола, гляжу на эту скалу и чувствую непреодолимое искушение поднять колпак и тронуть хотя бы пальцем эти странные грибы, чтобы удостовериться, из чего они сделаны.

Теперь я сожалею, что откровенно тогда не призналась в моем искушении бабушке, потому что вполне сама себе сознаюсь в невинности моих намерений. Странно, в самом деле, что к такой тонкой, изящной серебряной работе приткнуты были неуклюжие и глупые грибы. По теперешним моим соображениям, предполагаю, что эта вещь была китайской работы.

Еще интересная вещь висела у бабушки в ее гостиной, рядом с диванчиком, вместо люстры. Это была золотая клетка. Под ней устроен был циферблат с часами. Бегая по гостиной, мы часто останавливались под часами, чтобы, глядя на циферблат, выждать боя, когда сидящая в клетке канарейка начинала махать крылышками и петь. В мое время часы были



уже испорчены, птичка не пела, а только подпрыгивала и трепетала радостно, что нам доставляло такое удовольствие, что о сию пору я его забыть не могу. Из гостиной дверь вела на большой крытый полукруглый балкон. Он выдавался в сад, и часто весною бабушка потчевала нас в нем апельсинами или кидала их нам сверху, когда мы в этом большом и прекрасном саду бегали и играли.

В этой же гостиной, в простенках между окон, стояли столы в роде комодов или этажерок в два ящика, с ножками сап-пелès, выкрашенные в белую масляную краску, и на них большие стеклянные ящики с зеркалами вместо полок и задней стенки, с фарфоровыми куклами и разной чайной саксонской и севрской посудой. Я хотя была и дитя, но очень чувствовала, что все это были сокровища, которые уже и тогда, как вещи старинные, имели большую цену.

Налево из диванчика была столовая бабушки. Ее украшали прелестно нарисованные гирлянды цветов и плодов, по стенам и на потолке, а еще более два больших портрета Гавриила Романовича и Дарьи Алексеевны во весь рост. Портрет бабушки написан Боровиковским, знаменитым живописцем времен императрицы Екатерины. Бабушка изображена стоя в саду, с маленькою белой болонкой на руках. Собачку звали *Тайка*. Даже на портрете у нее так и светятся черные прелестные глаза. Она была любимица Гавриила Романовича и самой Дарьи Алексеевны.

Портрет Гавриила Романовича писал Тончи, также известный художник, заслуживший себе громкую славу своими замечательными произведениями. Наш гениальный поэт представлен им в шубе, в меховой шапке, сидящим на скале, покрытой снегом. От всей картины так и веет севером. Меня, как ребенка, занимали чрезвычайно следы шагов по снегу, написанные верно и отчетливо, и розовая полоса света на горизонте. Мы, бывало,

детьми соберемся около портрета и говорим, что «завтра, верно, опять будет ясная погода, и дедушка опять пойдет гулять».

Оба эти портрета принадлежат теперь двоюродному моему брату Николаю Александровичу Львову по завещанию Дарьи Алексеевны.

Кроме этих комнат был кабинет и спальня Гавриила Романовича; они внушали мне с самых детских лет необыкновенное благоговение. Из диванчика коридором можно было пройти в эти заветные комнаты.

Первая, то есть бывшая спальня Гавриила Романовича, была странная горница со столбами, с круглой лестницей вверх, с двумя или тремя дверями и одним окном. В мое время, то есть как только я стала себя помнить, тут стояли токарные станки, большие старинные шкафы, а на колонке серебряный умывальник бабушкин, который теперь принадлежит мне со многими другими интересными вещами.

Отсюда дверь ведет в маленькую уборную, которую я так живо себе воображаю с ее столом и овальным зеркалом, в деревянной раме, с маленькими стульчиками и полинялой желтой штофной обивкой. Потом передо мной открыли осторожно зеленой тафтой затянутую дверь и показали кабинет Гавриила Романовича, в котором несколько лет сряду ничего не изменялось. Вольтеровское его кресло, бюро, диваны, подсвечники — все было на своем месте. Перо, которым он писал, берегалось из уважения к его памяти... Все, все было в том порядке, как он оставил. Тогда, может быть, мне самой было года четыре или пять, а как я это живо помню, с каким-то невольным трепетом смотрела я на все эти предметы, на письменный его стол, на его чернильницу, на то перо, которое последний раз было у него в руках.

Я уверена, что и мои впечатления от того так были сильны, что бабушка, маменька, все мои тети и дяди с такою любовью,

с таким глубоким почтением всегда говорили при мне о Гаврииле Романовиче и столько лет после его кончины искренно сожалели, что с ним разлучены, что у них не стало такого верного, надежного друга, который во всех обстоятельствах, семейных и важных, умел дать благие советы, свойственные только благородному характеру и чистой совести. Я уверена, что только люди истинно достойные оставляют после себя такого рода память. Кто будет хвалить и любить давно умершего человека, если его дела не живы в сердцах тех, кто о нем вспоминает?

Венецианское окно из кабинета Гавриила Романовича выходит на двор, и теперь еще оно с улицы видно, когда проезжаешь мимо этого барского дома, стоящего за красивой чугунной решеткой. Окно осталось в прежнем виде, несмотря на все перестройки и перемены. Говорят, что католическое духовенство, которому принадлежит дом, над дверями кабинета сделало надпись:

К а б и н е т п о э т а Д е р ж а в и н а <sup>2</sup>.

Можно сказать спасибо, что Державину отдали должное и почтили его память, даже неприродные русские. Вокруг всей этой комнаты стояли шкафы, затянутые зеленой тафтой, с книгами, а на них гипсовые бюсты, из которых я особенно живо помню Сократа и Жан-Жака Руссо.

Около окна вдоль всей комнаты, по стене, стояли два больших сундука, покрытые суконными подушками, в виде дивана. В них сохранялось все серебро Гавриила Романовича. У стены стоял настоящий диван с подушками по концам.

Его бюро и вольтеровское кресло отданы были впоследствии в библиотеку Казанского университета, по распоряжению дяди моего, сенатора Константина Матвеевича Бороздина, душеприказчика бабушки Дарьи Алексеевны. Предполагаю, что мои читатели знают, что Державин родился в Казани в 1743 году 3 июля.

Нижний этаж был почти так же расположен, как и верхний, кроме флигелей; в них помещалась огромная зала в два света, театр и много других больших комнат. Внизу спальня, расписанная *боскетом*, как тогда выражались, особенно мне нравилась. Она представляла сад с деревьями и цветами, прекрасно нарисованными по стенам и частью на потолке. Ее освещали *луною* в облаках, как мне казалось тогда, отлично сделанною в виде *transparent*, за которым ставили лампу. Свет луны был такой мягкий, приятный, что вполне довершал в моем детском воображении сад в летнюю ночь.

Помню, что одна из гостиных была *соломенная*, что эти обои были что-то такое необычное, что мебели в ней были позолоченные, потом другая еще голубая штофная и проч., и проч.

Бабушка из кабинета Гавриила Романовича сделала свой собственный, и мы впоследствии целые дни проводили с нею, сидя с работою в руках на этих самых сундуках у венецианского окна. Много она рассказывала разных разностей, и я сожалею, что тогда же не записывала всех интересных подробностей, которые теперь легко могут ускользнуть из моей памяти. Желая свято сохранить правду, я рада, что имею еще свидетелей, которые добросовестно могут помочь мне в моих трудах и пополнять то, что я сама могла бы забыть или пересказать неточно.

Бабушка была замужем за Гавриилом Романовичем около двадцати лет и всегда мне говорила, что была счастливейшею из женщин. Она его любила чрезвычайно сильно и нежно; несмотря на хладнокровную и важную ее наружность, сердце бабушки было исполнено чувств самых теплых. Она всегда называла Гавриила Романовича *мамичкой* и сохранила ему это нежное имя еще двадцать пять лет после его кончины, то есть до самой своей смерти.

Дарья Алексеевна сама мне призналась, что ее любовь к мужу так была сильна, что она не могла видеть его больным или страдающим, что она чувствовала, будто в его болезнях разрывалась ее собственная жизнь. Точно так же Дарья Алексеевна горячо разделяла все его житейские и служебные заботы и неудачи. Она ближе, чем кто-либо, видела и понимала, что горячему нраву Гавриила Романовича основная и главная причина была его правдивая, чистая душа, которая возмущалась противу всякой неправды и несправедливости.

Лишившись отца еще ребенком, Державин воспитывался в Казанской гимназии, поэтому почти без надзора; какова могла быть гимназия в 1750-х годах? Но и впоследствии, будучи юношей и молодым человеком, он жил под руководством одних своих убеждений, любил страстно Россию, желал ей добра, горячо желал принести пользу родимому краю собственною службой и трудами, был предприимчив и смел и себе одному был обязан своею блестящею карьерой.

Что же могло его заставить обратиться к исправлению своего, может быть, немного и строптивого на службе нрава? Вот почему, в богатой удачами его жизни, он не научился той дипломатической уступчивости, той угодливости, которая в людях бездушных и бездарных бывает часто единственным достоинством. Самые его дарования были причиной, что у него были завистники и враги. Люди вообще так неохотно отдают справедливость какому-нибудь превосходству. Стоит заметить, как им трудно искренно и чистосердечно похвалить другого! Что делать, уж свет таков был, таков есть, таков и будет!

Гавриил Романович был горяч, это правда, но, несмотря на это, он во всю жизнь свою не сделал ни одного дурного или нечестного дела, и своею горячностью вредил только себе собственно: в домашнем быту он был необыкновенно кроток

и добр, все его окружающие любили его с каким-то обожанием, если смею так выразиться. Можно быть уверенным, что такого рода любовь внушается природами исключительно одаренными: обыкновенного человека никогда так любить не будут, тогда как память о Гаврииле Романовиче, неизгладимая в сердцах людей, его знавших, перешла даже живую и искреннюю в другое поколение. Мы все, его внуки, его не видали и не знали, а смотрим на его портреты с глубоким чувством, как на человека, достойного во всех отношениях нашей восторженной симпатии.

Может быть, если бы вместе со всем этим он не был великим поэтом, то горячая к нему любовь не вышла бы из среды его знавших; но громкая слава его имени раздается по всем краям нашего обширного отечества, а на нас, его близких, лежит прямая обязанность познакомиться, по возможности, ближе всех русских людей с личностью такую прекрасною и благородною.

Он был вспыльчив, потому что его душа была какой-то огонь к добру, к высокому и великому. С огнем нелегко справиться! Зато никто горячее его не сочувствовал всякому таланту и дарованию. С его чистой набожностью в нем не было ни малейшего ханжества и суеверия. И мог ли он написать оду «Бог», если бы не был вполне религиозен? А нашлись же люди, которые, не зная его лично, осмелились говорить об его *обращении*. Находятся еще и теперь такие, которые на него клеветают, благо мертвый не встанет, чтобы обличить их во лжи! Обвиняют в низких наклонностях этого благодушного человека, и злая молва людская повторяет и разносит все эти небывлицы.

Гавриил Романович не имел обширных познаний, но любил читать древних классиков и изучал их произведения с большим вниманием. В его сочинениях и по влиянию, которое они на меня производят, я всегда чувствовала что-то

крупное, грандиозное; мне казалось, что его творческий дух вместо пера владел резцом. Он в своих одах смело и ловко, как греческие ваятели, трудился над колоссальными идеями, и оставил по себе несокрушимый памятник.

Несмотря на то что русский язык во время Державина был почти во младенчестве, о сию пору есть строфы такие картинные, чистые, как будто вчера только они вылились целиком, со всею прелестью силы, правды и гармонии. В его лучших одах и мысли, и чувства, и изложения крупны, как бурмицкие зерна, и также неоцененны, как они.

Я не беру на себя смелость критиковать или разбирать поэтическое дарование Державина, но полагаю, что каждому дозволено говорить о своих впечатлениях, которые каждый мой читатель может проверить на самом себе, и поэтому согласиться со мной или нет. А едва ли он найдет во всей русской литературе что-нибудь выше некоторых из его од, которые потрясают душу невольным восторгом. Не зная его лично, его поэзия и была причиной, что я с такой жадностью слушала всевозможные подробности об его частной жизни, и мне кажется даже, что передать по возможности все, что я собрала сведений о личном характере этого человека, — святая обязанность, чтобы правда взяла свое и выставила его в точном свете.

В нем было такое странное соединение кротости и огня, добродушия и смелости; по словам бабушки, в доме он был воплощенное снисхождение, никогда никого не бранил, не умел сердиться, хотя ему и случалось иногда вспылить и минутно погорячиться; он не знал вовсе цены деньгам, жил вне мира материального, не входя ни в какие подробности житейских нужд и расчетов.

Перечитывая Записки Державина, изданные «Русскою беседою»<sup>3</sup>, я не могу не сознаться, что они во многом проти-

воречат некоторым из этих подробностей; но не следует забывать, что Дарья Алексеевна вышла за Державина замуж, когда он был уже стариком, а что Записки его писаны еще около двадцати лет позже, поэтому все воспоминания его молодости были уже давно одними воспоминаниями. Многое могло в таком длинном промежутке времени вовсе измениться в самом Гаврииле Романовиче, утратиться и забыться. Разве мы не замечаем в самих себе, что время многое у нас отнимает, что с годами мы переменяемся и часто сами себе не верим, что думали, что чувствовали тому десять лет назад?

Если Гавриил Романович был беспечен, то Дарья Алексеевна ровно наоборот, была женщина чрезвычайно расчетливая, хозяйство всего дома было у нее на руках, она любила порядок до самых безделиц, во все входила сама и деятельностью своею и разумным управлением могла служить живым примером даже для женщин высшего круга. Ее богатое состояние, ее блестящее положение при дворе императрицы Екатерины не мешало ей быть дельной хозяйкой во главе своего дома, который она и по кончине своей оставила в совершенном порядке.

Когда она вышла замуж за Гавриила Романовича, то денежные его дела были очень запутаны, много было долгов, о которых Гавриил Романович вовсе не заботился. Она, как истинный его друг и помощница, не больше как в несколько лет поправила совершенно его состояние, которое, впрочем, заключалось в богатых и больших имениях, пожалованных ему за его службу императрицей.

Бабушка, рассказывая, как мало он знал цену деньгам, приводила следующие примеры.

Крестьяне из его оренбургских деревень привезли ему в гостинец в Петербург огромного осетра, белую рыбу и стерлядей. Дело было зимой, иначе и рыба до Петербурга не мог-



ла бы доехать. Гавриил Романович очень ласково их принял, благодарил и, как всегда бывало, когда его что-нибудь радовало, ходил по комнате скорым шагом, закинув руки за спину.

— Что же, мамичка, — сказала бабушка, — им надо что-нибудь подарить?

— Дай, дай им пять копеек, — отвечал Гавриил Романович.

— Как пять копеек? — с удивлением спросила Дарья Алексеевна.

— Что ж? Мало, что ли? Ну, дай, как знаешь, я не знаю...

В других случаях, напротив, он, не имея у себя собственно в кармане никогда денег, мог удивить всякого своей расточительностью; например, один раз он вошел в диванчик очень поспешно и сказал:

— Дашенька, дай мне, пожалуйста, поскорей сто рублей.

— Тебе зачем, мамичка? — спросила бабушка.

— Там мой бедный сапожник; он совсем прогорел... все... все... пропало...

— Да не много ли сто рублей? — заметила Дарья Алексеевна (в то время деньги имели двойную цену).

— Нет, нет, что обещано, то обещано, дай поскорей...

И бабушка тотчас же исполнила его приказание.

В другой раз дело было об каком-то очень бедном семействе; Гавриил Романович подошел к бабушке, которая сидела у своего письменного стола и что-то писала.

— Вынь-ка деньги, — сказал он ласково и озабоченным голосом.

Дарья Алексеевна поспешила его послушаться, открыла стол и достала свой бумажник. Не успела она его открыть, как Гавриил Романович сказал:

— Отдай все, отдай, Дашенька! Уж бедного-то человека грешно и обсчитывать...

— Ну да если все наши деньги тут?

— Нужды нет, пожалуй, еще и лучше.

Эти забавные примеры не ясно ли представляют, какая была доброта у этого человека?

Вообще в нем была совершенно особенная природа, которую едва ли мне возможно будет верно представить и изобразить, главное, по дальнем отсутствии оригинала. Легко ли написать портрет на память? Я же пишу единственно по памяти сердца, если могу так выразиться. Вот уже двадцать лет, что и любимой бабушки не стало, и другие друзья и родные Гавриила Романовича редуют с каждым годом в рядах живых свидетелей его частной жизни.

Но надо, впрочем, заметить, что память людей достойных долго живет после их полезной деятельности, благих трудов и чистых дел; забываются скоро лишь те люди, которые по себе ничего *своего* не оставили. Когда же, собравшись вместе с немногими родными Державиных, мы беседуем о прошедшем, все, что рассказывается, что припоминается, что читаем мы в семейных письмах и бумагах, как будто выводит на сцену самую их жизнь, она воскресает живо и верно. Ни одного слова лишнего противу правды никто прибавить не смеет, из уважения к их памяти, потому что все равно их любили, всем равно дорого то добро и польза, которую они принесли на земле и которые не требуют прикрас. Гавриил Романович кроме высокого своего дарования как поэт посвятил всю жизнь свою любви к отечеству в самом обширном значении этого слова. Он служил до старости, трудился до последнего дня жизни, всегда и всякому был готов помочь своим умением, состоянием и высоким значением в свете.

Начав карьеру свою простым солдатом, он дослужился до высших чинов в государстве, и когда вышел в отставку, в деревне своей Званке<sup>4</sup> не переставал делать добро кому только

мог. Занятия его в рождающейся тогда нашей словесности упрочили ему навсегда одну из почетных страниц в истории русской поэзии, которая всегда с признательностью оценит эти труды и воздаст ему должную благодарность.

Дарья Алексеевна может служить редким примером добродетельной женщины. В ней были высоконравственные достоинства. Ее удивительный такт и справедливость изумляли меня, даже когда я была совсем молодой девочкой. Она была правдива и пряма как в чувствах своих, так и в словах. Любила Бога и церковь нашу так искренно, так просто, что эта набожность производила на всех нас, ее внучат, самое приятное впечатление. Любила, вместе с тем, чтобы мы около нее веселились, шумели, смеялись, разделяла, так сказать, наши детские и юношеские удовольствия и нежными своими ласками привязывала нас к себе с каждым годом все более и более. Она ездила очень часто в церковь, находя высокое наслаждение в молитве, соблюдала все посты, но нам, внучкам, не позволяла постничать, боясь, чтобы это не повредило нашему здоровью. Она говаривала с горячею ее любовью: «Я за тебя постничаю, Машенька, а ты кушай себе на здоровье бульон».

Несмотря на уединенную и тихую ее жизнь, мы любили ездить к ней по воскресеньям обедать и проводили весь день с большим удовольствием.

В последние годы ее жизни она почти никуда не выезжала, кроме близких родных и графини Анны Алексеевны Орловой-Чесменской, с которой была очень дружна до самой смерти.

Многие знают, как графиня Анна Алексеевна высоко чтит архимандрита Юрьева монастыря отца Фотия. По рассказам, Фотий был очень умный и ученый человек по делам церкви и богословию. Будучи еще простым монахом, он обратил на себя внимание многих влиятельных лиц того времени.

Дарья Алексеевна, в числе других петербургских дам, приняла его у себя, езжала к нему в Юрьев монастырь, любила его искренно, но никогда не была ослеплена на его счет. Она видела в нем умного человека, но также видела и недостатки его, хотя и сознавалась, что ей лично он сделал большую нравственную пользу. Она с искреннею благодарностью говорила, что он, во-первых, научил ее с большим снисхождением и милостию обращаться с ее прислугой, напоминая и убеждая твердым словом, что все люди — дети одного Бога; а во-вторых, что он исправил ее от большой приверженности к интересу. Бабушка рассказывала, что благодаря его наставлениям она дошла до того, что перерабатывая в самой себе наклонность к расчетливости, она совершенно равнодушно читала отчеты своих управляющих о доходах и с большим хладнокровием и спокойствием духа переносила все денежные утраты и потери.

По этому случаю она рассказывала, что как-то на одной неделе она получила сперва письмо, в котором ее извещали, что хлеба у нее в запасе на несколько тысяч, а потом, что он весь сгорел, и что она сама удивлялась, с каким равнодушием оба известия были ею приняты. Она была уверена, что человеку стоит заметить свою слабую сторону, стоит пожелать искренно исправиться от своих недостатков, и дело самоусовершенствования всегда в его руках.

Я ее никогда не знала ни скупой, ни строптивой или сердитой с ее окружающими людьми, и если бы она сама мне не рассказывала, что я описала выше, то мне трудно было бы этому поверить. Никто не делал более добра, как она, и не помогал с такою горячностью всякий раз, что представлялся для того случай.

Мне чрезвычайно хотелось видеть отца Фотия, но она никогда не хотела на это согласиться. Она боялась за мою впечатлительную и живую природу.

Люблю я вспоминать про милую, ласковую бабушку! Никто в мире ее мне уже не заменит. Она такая была ко мне добрая. Ей все казалось, что меня мало берегут, мало лелеют. Я это чувствовала и понимала с самых детских лет и всегда бежала к ней с распростертыми объятьями. Ее так забавляли мои шутки и юношеские выходки. Никто ими не потешался более ее, хотя часто на ее месте другая могла и рассердиться.

Приведу тому живой пример. У меня была горничная Аннушка. Надо, впрочем, сказать, что я тогда училась петь, голос у меня был довольно большой, громкий, но крикливый и неприятный, и я по целым часам выработывала высокие ноты, чтобы их смягчить. Для этого я придумала звать Аннушку по-итальянски — *Anet-ta*, и *ta* брала высоким *sol* и часто повторяла эту фантазию, сидя одна у себя в комнате.

Как-то один раз в воскресенье мы были у бабушки и все работали вокруг стола. В этот вечер мы куда-то были званы и должны были одеваться у Дарьи Алексеевны. Аннушка явилась с платьем в назначенный час, вошла в гостиную, подала мне какую-то записку и вышла; мне захотелось ее воротить; не предупредив бабушки, не подумав, что никто в свете свою горничную так не зовет, я вдруг крикнула — *Anet-ta*, и *ta* вышло такое звонкое, что Дарья Алексеевна вздрогнула всем телом.

Аннушка бегом явилась на знакомый зов, бабушка же и все присутствующие громко расхохотались.

— Ну-ка, Машенька, еще, — говорила бабушка, покатываясь со смеху, — ну-ка, еще, позови, позови...

— *Anet-ta*, — повторила я звонче прежнего, видя, что это смешило мою добрейшую баловницу бабушку.

В характере Дарьи Алексеевны была высокая и благородная черта, которая заслуживает внимания. Она всегда засту-

палась за отсутствующих; придерживаясь пословице: «les absents ont toujours tort»<sup>5</sup>, она умела за них говорить со свойственным ей тактом и справедливостью.

Дарья Алексеевна очень любила графиню Анну Алексеевну Орлову, признавая в ней невероятную силу воли в том самом, что светская, умнейшая, богатая и высокопоставленная женщина так твердо отказалась от мирских удовольствий и отдалась добровольно под самое строгое отречение от самой себя. Графиня была первая камер-фрейлина при дворе государя Николая Павловича и пользовалась особой милостью и вниманием нашего августейшего дома. Я несколько раз видела графиню у бабушки и всегда на нее глядела с особенным вниманием; они с бабушкой называли друг друга *сестрами* и отношения их были самые искренние и неизменные.

Бабушка говорила, что Анна Алексеевна была женщина самой строгой и аскетической жизни, хотя иногда и ездила на великолепных рысаках, одевалась в богатые шелковые материи и носила бурмицкие зерны и драгоценные камни.

Помню очень, что меня поразило, как обе эти замечательные женщины приняли смерть отца Фотия. Бабушка была очень огорчена, она плакала и сокрушалась, она была неутешна, что смерть разлучила ее с человеком, в котором она видела строгого, но справедливого наставника. Графиня, напротив, как будто не чувствовала ни малейшего горя, она как бы радовалась, что он выбился из волн житейского моря и отдыхает у тихого пристанища. Ее возвышенная душа, в светлом и духовном настроении, жила уже и здесь, на земле, жизнью загробною в тесном соединении с Богом, как с единым и вечным источником любви и добра.

Графиня была удивительная женщина и часто я жалею, что по молодости моей не могла иметь с ней ничего общего.

Она так была умна и вместе с тем твердостью и стойкостью своего характера приводила меня в невольное удивление. Помню очень, в прекрасном ее доме на Царицыном лугу меня восхищали великолепные цветы, которые всегда украшали портрет Фотия, написанный Доу во весь рост.

Графиня, несмотря на монашеское свое призвание, на строгость жизни и постоянное послушание, была милая, веселая и сама любезная светская женщина, какую только можно встретить. Когда она приезжала к бабушке, то разговор шел необыкновенно живо и часы проходили незаметно. Она умела заставлять весело смеяться все бабушкино маленькое общество и оживляла шумно мирный диванчик Дарьи Алексеевны.

Отдавая должную дань уважения графине Орловой, ее уму, образованию и самому характеру, я не могу не удивляться тому огромному влиянию, которое имел на нее Фотий. Впрочем, по всему тому, что я об нем слышала от самой Дарьи Алексеевны, нельзя не заключить также, что вместе с этим он умел затронуть сердца, когда говорил о Боге, иначе могли ли бы его слушать десятки людей с таким искренним восторгом, и сама бабушка, которая была такого твердого и благоразумного характера, не привязалась бы к нему чувствами самыми искренними и благодарными.

Отец Фотий о сию пору личность неразгаданная и вопрос нерешенный. Может быть, со временем, когда разберут оставшиеся после него бумаги и письма, а также когда бумаги и других лиц, имевших с ним близкие и частые сношения, будут в руках людей, добросовестно ищущих истины, то этот необыкновенный человек в более ясном свете явится перед публикой, которая, о сию пору, большей частью знает только, что из простого бедного и неизвестного монаха он сделался настоятелем одного из богатейших монастырей в России, что

в его монастырь лились деньги сотнями тысяч и что лично его самого окружали всевозможные почести.

Слышно, что отец Фотий был самым сильным и ревностным противником мистицизма и масонства. Эту заслугу история нашей церкви оценит как должно, и, конечно, воздаст ему за нее вечной памятью. Если же я коснулась такого важного вопроса, то единственно потому, что как отец Фотий, так и графиня Анна Алексеевна были очень близки Дарье Алексеевне и вошли, так сказать, в число очень редких посторонних лиц, принадлежащих к обстановке уединенной и частной жизни бабушки. В этой жизни все было так тихо, так единообразно, что дни и месяцы проходили незаметно, не приводя с собою ни малейших перемен. Я и теперь с удовольствием вспоминаю и стараюсь разъяснить: что, бывало, для нас, маленьких девочек, считалось в ней событием? Что оживляло эти воскресенья, в которые мы постоянно отправлялись к бабушке обедать и проводить весь день?

Смешно сказать: это то, что Дарья Алексеевна призовет своих престарелых горничных Анисью Сидоровну и Дуняшу и прикажет достать из сундуков ее старинные платья роброны — т. е. robes rondes, времен императрицы Екатерины, и мы, бывало, с восторгом рассматриваем эти непонятные для нас наряды, с которыми нас разделяли полвека и целое поколение.

Надо сознаться, что в наших современных модах, даже в современных тканях и материях ничего нет подобного. Венецианский алый бархат вышел совсем из употребления: шелковые вышитые платья разноцветными шелками, золотом, серебром, разными цветными, зеркальными, маленькими параллелограммами и блестками, другие платья из тончайшего батиста lipon, шитые золотом и белой бумагой, как-то так рельефно, что рисунок выходил совершенно выпу-



клый, — все это носило на себе особый отпечаток, отпечаток роскошного и богатого века. Все золото было тогда настоящее; великолепные рисунки поражали нас своим изящным вкусом, и нельзя не сознаться, что если промышленность сделала огромный шаг для распространения дешевого щегольства во всех классах народа, то одеваться так, как одевались наши бабушки, никто теперь и думать не может. Таких платьев не сделают более.

Стоит ли об этом сожалеть? Не знаю — знаю только, что изящности такой в нарядах более ни на ком не увидишь. Самое искусство вышивать шелками и золотом по шелковым материям или выводить какие-то волшебные паутинки по кисее и батисту пропало навсегда. Кружево *point d'Alençon*, богатством рисунков и великолепным их исполнением ни с каким другим сравнить невозможно, и в сундуках бабушки были такие прелести в этом роде, что я и теперь вспоминаю о них с восхищением как о совершенстве, до которого могут прийти пальцы искусных швеек и кружевниц.

Интересны были корсеты бабушки, без малейшей косточки или стальной планшетки. Они шнуровались спереди — были сшиты из толстой белой шелковой ткани, взятой вдвое, между которой, сплошь одна возле другой, прострочена была щетина, что давало корсету такую приятную, ловкую упругость, что он обхватывал стан плотно, но совершенно ровно; такой корсет едва был чувствителен.

Еще интереснее были башмачки Дарьи Алексеевны: черные на красных высоких каблучках — или белые атласные, но также на каблучках. Бабушка находила, что наши моды были какие-то *мизерные*, как она выражалась. Надо припомнить, что во второй половине тридцатых годов носили платья далеко не широкие, без кринолина и вообще без замысловатых уборок.

Любя нас, внучек своих, с замечательною нежностью, Дарья Алексеевна иногда брала на себя труд сама учить нас грациозно кланяться и приседать и даже показывала несколько па из менуэта, уверяя, что никакой танец лучше не развивает грациозности девочки.

Когда мы подросли, бабушка вздумала нам дать бал, в нижних ее комнатах, и этот праздник был первым моим знакомством со светом и обществом. Праздник был великолепный, со всевозможными затеями, театром, кадрилиями и маскарадом, в которых мы, ее внучки, были главные участницы.

По желанию Дарьи Алексеевны хозяйками на бале были три ее племянницы, маменька Елизавета Николаевна Львова и тетки мои Прасковья Николаевна Бороздина и Вера Николаевна Воейкова; а бабушка, сама сидя под окном наверху в своей зале, глядела в нижнюю большую залу с неописанным удовольствием, видя, в каком мы были восторге от ее праздника. Долго после этого бала во всем Петербурге только и было разговоров, что о великолепных кадрилиях и других разных сюрпризах, которыми так наполнен был весь вечер с начала до конца. Долго наши молоденькие головки не приходили в нормальное свое положение и кружились при одном воспоминании, как мы весело порхали по прелестной и большой зале из конца в конец, как, не имея силы сделать более одного круга вальса, прорывались между толпами самых разнородных костюмов и великолепно одетых гостей.

Именно с приготовления к этому блестящему празднику, для которого каждому из нас понадобилось по несколько изящных костюмов, сундуки бабушкины были открыты, и мы из них повиытаскали что только могли для своих нарядов, и никто с большим удовольствием не разделял нашу юношескую радость, как сама добрейшая Дарья Алексеевна.

Мой костюм перуанки, или дочери солнца, пунцовый с золотом и широкой обшивкой на платье из белых марабу, с такими же перьями вокруг плеч и на ногах, меня само приводил в восторг — головной убор в виде золотой диадемы, с разноцветными камнями и также с перьями, действительно, был замечательно красив и изящен, и мог с ума свести и посолиднее голову, чем была моя в счастливые годы первой молодости.

Долго я не могла его забыть и долго еще после, при рассказах и воспоминаниях, глаза мои блестели, яркий румянец разгорался на лице, так что старшие братья и сестры подсмеивались над моим малодушием и тем только отучали меня приходить в забавный восторг каждый раз, что речь касалась бабушкиного маскарада. Много лет с тех пор прошло, но я, верно, никогда не забуду, что благодаря Дарье Алексеевна я в ее доме видела первый великолепный праздник, в котором приняла сама такое деятельное участие.

Я пишу не биографию, не разбор жизни бабушки, я пишу одни воспоминания и стараюсь припомнить все, что она доставила мне веселого и отрадного; я бы желала, чтобы каждая черта моего пера дышала той благодарностью, которою и о сию пору исполнено к ней мое сердце; и тогда только моя статья, с живыми словами правды и любви, прочтется без скуки даже теми, кто и не знал Дарью Алексеевны.

Она чрезвычайно любила, чтобы я ей читала вслух, часто мои собственные сочинения. Я уже и тогда любила страстно писать, писала много и стихов, и прозы, и всегда она слушала меня чрезвычайно снисходительно. Иногда даже слезы навертывались на ее глазах, и она нежно меня целовала, приговаривая:

— Ты, моя миленькая, только себя не мучь, а то ты и без того такая худенькая; я боюсь, чтобы ты с этими стихами еще не похудела.

Бабушку удивляло, что с моим живым, как огонь, характером, веселым и беззаботным до резвости, мои стихи все были мечтательны и грустны; она, бывало, скажет шутя:

— Что это значит, Машенька, уж не влюблена ли ты в кого-нибудь... что так хорошо написала эти стихи? Откуда у тебя это берется?

Я и сама не понимала, да и теперь часто задаю себе этот вопрос: откуда берутся стихи, когда бывает иногда так, что сядешь, возьмешь перо в руки и польются десять, двенадцать стихов сряду без остановки, не стесняясь даже рифмами, которые дружно и складно ложатся друг за другом?

Я точно то же отвечала и бабушке; она лучше, чем кто-либо, знала, что о любви я и думать не думала. Моя жизнь была такая веселая, счастливая, блаженная; не говоря уже о семейных отношениях, но все, что науки и искусства могут к ним прибавить истинных и высоких наслаждений с детских ранних лет, как будто наперерыв развивало все мои способности ума и сердца. Я предполагаю, что в этом была главная тайна моих поэтических склонностей. Мне всегда было дома весело и отрадно, а кому весело — тот поет, сам не зная, почему ему поется.

Дарья Алексеевна вообще любила литературу и по своему образованию была несравненно выше большей части женщин своего века. Я предполагаю даже, что это и была одна из причин ее добрых и близких отношений к Екатерине Романовне Дашковой, бывшей президентом нашей Академии наук во время царствования императрицы Екатерины. Бабушка всегда говорила о ней с заметным уважением, и, приводя в доказательство, что и Екатерина Романовна ее искренне любила, она один раз принесла из своего кабинета крошечный миниатюрный портрет императрицы Екатерины, подаренный ей и сделанный тушью *точками* (*pointillé*) самую Екатерину Романовну.

Интересный этот портрет бабушка подарила мне с не менее замечательной надписью, сделанной ее собственной рукой на нем, на обороте: «Сей портрет сочинен такую высокою и благородною персоной, которая при сочинении имела от роду 64 года. 1774. Ноября 2-го дня. С. Петербург».

Еще подарила мне бабушка круглый миниатюрный портрет Гавриила Романовича, написанный Боровиковским, который она сама носила в виде медальона на груди, будучи его невестой.

Портрет интересен, во-первых, потому, что Гавриил Романович на нем изображен молодым человеком; во-вторых, как редкое произведение Боровиковского. Я не видывала другого подобного, написанного масляными красками в таком миниатюрном размере: в нем всего полтора вершка в диаметре.

Летом бабушка жила на Званке<sup>6</sup>, в имении ее на Волхове, в Новгородской губернии. Мы часто езжали к ней погостить или даже провести целое лето.

Званка была создана Гавриилом Романовичем и Дарьей Алексеевной. На почти голой горе они выстроили дом, прекрасную церковь, все необходимые хозяйственные строения, оранжерею, развели фруктовый и другие сады, по скату горы к самой реке, засадили своими руками деревья и кусты, разбили и расчистили дорожки, и все это я уже видела в полной красе. Все это было устроено с большим вкусом и знанием дела. Большие тополи, дубы и липы, с раскидистою уже тенью, красиво росли и высоко поднимались; как хороши были сиреневые кусты, покрытые цветами по обеим сторонам гранитной лестницы, спускавшейся от крыльца дома ровными ступенями и площадками к большой дороге, которая лежала на самом берегу Волхова. Тут была купальня, и вместе с ней сколько веселых воспоминаний.

Кроме наружной красоты в Званке были хозяйственные удобства, которые в то время редко еще где вводились у нас

в России. Воду на гору подымала паровая машина. У Дарьи Алексеевны были молотилки и веялки; в пол-горе, на средней площадке, играл фонтан. Везде было множество цветов, целые кусты роз и воздушного жасмина. Все это не было великолепно, потому что сама гора была небольшая, но на меня производило самое отрадное впечатление. Как любила я Волхов, тихий, иногда гладкий, как скатерть... а по нем идут большие барки под большими парусами; надувая могучую грудь, они точно лебеди медленно подвигались вперед. Иногда пробежит пароход и шумом колес возмутит на несколько минут безмолвную тишину мирных окрестностей Званки. Белый дымок чуть-чуть вьется ему вслед и, легкими облачками упавая книзу, застилает зеленый лесок на противоположном берегу. С каким восторгом выбегала я, бывало, из дому чуть ли не на заре и, пользуясь деревенскою свободой, ожидала восхода солнца. Как мне было весело, что мне никто не мешал, что я была одна с природой. Мне казалась, что все, меня окружающее, разговаривало со мною — тысячами неразгаданных голосов. Как было тихо, а сколько жизни!.. Бывало, смотрю, река струится, как серебро, ветерок колышет листьями и цветами, а по небу, точно розовая дымка раскинула легкие облачка с золотыми краями... гляжу и не налюбуюсь.

Как я помню, что в поэтическом моем настроении, мне иногда случалось наткнуться на такую прозу, что при рассказе происшествия бабушке, она сама и все другие помирали со смеху, меня слушая.

Я как-то уселась очень рано утром на лавочке, возле самой дороги — устремив глаза на реку; в это время пастух погнал из дому крестьянское стадо. Я испугалась коров и убежала за подстриженную живую изгороду. Мне хотелось видеть пастуха, я воображала, что он, верно, такой же хорошенький, как на картинках Ватто. Надо знать, что я была постоянная жи-

тельница Петербурга и его окрестностей, а о деревне понятия не имела. К моему огорчению, пастух оказался кривой, грязный и оборванный. Он шел тенью возле самой изгороди. Я подумала: «А может быть он добрый, хороший человек», и поспешила сказать:

— Здравствуй, пастух.

Не ожидая моего приветствия, тем более, что из-за изгороди меня было едва видно, он с удивлением снял измятую шляпу и, не сказав ни слова, поклонился.

— Это все твои коровы? — спросила я.

— Крестьянские, — отвечал он, как-то дико на меня озираясь.

— А ты их любишь?

— Чего любить-то? такие ст... проклятые, все разбегаются...

Я так испугалась его крупного мужицкого слова, что красная, как мак, во весь дух пустилась в гору домой, и когда за кофеем стала рассказывать эту забавную историю, то можно вообразить, что тут было смеху... и долго еще и после бабушка подтрунивала над моею сентиментальностью.

По положительному своему характеру бабушка не любила никаких экзальтаций, совершенно справедливо называя их вздором и пустяками. На Званке бабушка одевалась точно так же, как и в городе, носила ту же белую фрезу, такой же гладко выглаженный чепчик, только платье ее было обыкновенно белое коленкоровое, а распашная шинелька из легкой шелковой материи. Я как теперь вижу ее стройную, высокую фигуру в саду, в соломенной мужской шляпе, надетой сверх чепчика, с палочкой в руках, гуляя по дорожкам между кустами и деревьями или похаживая по хозяйству то на гумне, то во фруктовом саду, до которого мы всегда добирались с таким нетерпением, потому что ключ был у бабушки и она сама им распоряжалась.

Доход Званки был исключительно в поемных лугах, с которых скашивалось несколько десятков тысяч пудов сена, отправляемого ежегодно на барках в Петербург.

По духовному завещанию Дарьи Алексеевны Званка с принадлежащими ей лугами, и поэтому и доходами, и сверх того с очень большим капиталом, чуть ли не в 360 000 асс. наличных денег, была ею назначена на устройство женского монастыря с училищем для девиц духовного звания; все приписанные к Званке крестьяне были выпущены на волю. Нельзя не сказать, что цель бабушки была высокая и христианская; но исполнилась ли она? Вот двадцать лет, что Званкой не весть бог кто владеет. То дело, о котором она так мечтала, надеясь оставить по себе несокрушимый памятник добра и пользы, как будто разрушилось навсегда; везде в Званке запустение и беспорядок; грустно и тяжело подумать, что огромный капитал бабушки лежит мертвецом где-то в сохранном местевместо того, чтобы перейти в то живое дело христианской любви, которого она так горячо желала и, по преклонности лет, сама не решалась предпринять.

Не живой ли это урок для всех и каждого, чтобы мы сами при жизни трудились над тем добром, которое желаем сделать на земле, не вверяя его исполнение кому-нибудь другому.

Бабушкины душеприказчики так скоро умерли после нее, что ни один не мог содействовать исполнению ее духовного завещания, и покинутая Званка о сию пору вот уже двадцать лет ожидает, чтобы кто-нибудь добрый человек ее оживил для того добра, которое как будто умерло вместе с ее владелицей, несмотря на оставленные Дарьей Алексеевной большие деньги, 100 000 руб. сер., которые теперь утроились. Все это ясно доказывает, что во всех делах наших не деньги главное, а главное та нравственная сила, которая одна творит благие дела, одна преодолагает все препятствия и трудится



с постоянством из любви к делу. Грустно подумать, что Званка, где каждое деревцо, каждый куст был посажен руками Гавриила Романовича и Дарьи Алексеевны, теперь заброшена, забыта и что ничто полезное в ней не водворится и не вознаградит вечной памятью ее истинно добродетельных бывших владельцев.

Летом в 1842 г. в июне месяце мы жили на даче бывшей Мятлева, принадлежащей великому князю Михаилу Николаевичу, когда прилетело письмо с эстафетой из Званки, с известием о трудной болезни бабушки и о непрременном ее желании видеть маменьку Елизавету Николаевну.

Мы в тот же день собрались и ускакали в Новгородскую губернию на Званку, которая от Петербурга в 130 верстах.

Никогда не забуду, что я почувствовала, когда вошла в спальню бабушки! Она была тяжело больна желудочною горячкой, лежала на постели и, хотя в полной памяти, но страдала страшной тоской, не находя места для минутного хотя успокоения.

Седые ее, как серебро, волосы в беспорядке окружали голову, страдальческое лицо почти узнать было нельзя. Судорожно сбрасывая с груди одеяло и простыню, она взглянула на меня так выразительно, так нежно и слабым голосом сказала:

— Молись, Машенька, молись, чтоб поскорей... тяжело мне...

Я никогда ее не видывала прежде ни больной, ни раздетой, — со свойственным легкомыслием молодости я вошла к ней в комнату, не воображая, что представится моим глазам такое страдальческое, слабое, умирающее существо, и от испуга я зашаталась, не помню даже, как меня вывели.

Я сама себе не верила, что это была моя обожаемая бабушка, та стройная, здоровая, прекрасная Дарья Алексеевна, которая, казалось, должна была еще двадцать лет жить.

Я увидела ее и поняла, что настала неизбежная горькая разлука, и заливалась горькими слезами!

Она и тут, на смертном своем одре, заботилась о нас, приказывала, чтобы для маменьки было постное кушанье, чтобы наловили для нас рыбы и проч., и в предсмертных страданиях нас горячо еще любила.

Прошло два дня, болезнь усиливалась, и незабвенная бабушка приближалась к смерти как истинная христианка, без малейшего страха и трепета: видя наши горячие слезы, она говорила с удивительной кротостью:

— Не плачьте, мои друзья, — пора, пора и мне домой, мои все там давно... право, смерть не страшна.

Она с такой верой молилась, приняла в полной памяти святое причастие и так была покойна, что произвела на меня никогда неизгладимое впечатление.

Мне кажется, что ничто в свете сильнее смерти истинного христианина не должно действовать на всякого человека, которого Бог приведет присутствовать при великом этом моменте.

Так было ясно, что жизнь в бабушке угасала, что страдания телесные ей ни минуты покоя не давали; а не менее того, она говорила так убедительно, она так пламенно стремилась куда-то далеко, — так непоколебимо верила в милосердие Творца Небесного, что и нами всеми овладело какое-то чудное спокойствие. Мы, расставаясь с нею, плакали о себе собственнно, а ее нам точно не было и жаль, точно мы боялись нарушить это непостижимое ее душевное настроение, которое действительно было непостижимо при тяжелой и мучительной такой болезни. Так ясно было, что одно бедное ее тело изнывало от болей и тоски, а душа как будто тверже и сильнее, чем когда-либо, держалась за свои убеждения и ими даже утешала и успокаивала нас.

В тот же день вечером она потеряла память и на другой день скончалась.

Трудно было бы мне выразить, что я чувствовала! Званка, казалось, вдруг опустела. Я ходила по саду, и одна мысль, что бабушки не стало — что она не откликнется, с каким бы отчаянием я ее ни звала, — душила меня слезами; никто в свете не любил меня, как она! Во всю мою жизнь я не видывала ни одного ее строгого взгляда, она мне все прощала — всегда была добра и снисходительна, как ангел: как же мне было и не плакать? Но не я одна, все плакали, все горевали около ее гроба. Чудно, право, как в эти тяжелые минуты нашей земной жизни осиротелая любовь к тому, кого не стало, рвется куда-то вдаль, за любимым человеком, как ей тесно на земле... Она какой-то непреодолимою волею, каким-то неизменным чутьем не верит, что все кончено, что связь, соединяющая любящего с любимым, навеки порвана. Чувства и мысли так и роились у меня в уме и сердце, но так смутно, точно в живой ключик воды упал тяжелый камень и поднял с самого дна то, что невидимо там глубоко лежало, и все это как-то передо мною путалось. Ничто сильнее смерти не задает вопроса о жизни; я это живо испытала на самой себе в эту самую минуту.

Дарья Алексеевна желала, чтобы ее похоронили рядом с Гавриилом Романовичем в Хутынском монастыре, за Новгородом; монастырь стоит на самом Волхове, на нагорном его берегу, от Званки верстах в семидесяти; чтобы поспеть туда к обедне, следовало выехать из Званки ночью. И какая это была чудная ночь!

Тело бабушки стояло в церкви, где, по установленному порядку, служили по два раза в день панихиды, и съехавшееся из многих монастырей духовенство, со званскими священником и дьяконом, производили это служение со свойственною ему торжественностью.

Я так люблю все службы нашей православной родной Церкви. В человеке часто бывает такое ожесточение, окаменение после потери близких и любимых людей; а при стройном пении наших заупокойных молитв, при глубоком их смысле невольно пробьются слезы и вырвется то невольное рыдание, которыми бывает переполнено сердце. Выплакаться всегда облегчает.

Церковь с утра до ночи была полна народом из всех окрестных деревень. Дарью Алексеевну крестьяне любили и уважали и без всякого постороннего понуждения толпами приходили с ней проститься и поцеловать ее руку.

В самую ночь выноса погода была восхитительная, — соловьи так и заливались, розы в полном цвете вокруг всего балкона, и липы, облитые белыми и душистыми их цветочками, наполняли воздух чудным ароматом. Полная луна, точно матовая лампада, грустно озаряла осиротелую Званку, хотя наша северная ночь и была во всей своей красоте. Отражаясь в Волхове золотистыми искрами, луна как будто усыпала светлыми звездами тот путь, по которому мою незабвенную бабушку мы должны были проводить в ее последнюю обитель!

Под самой горой ждал пароход, и прикрепленную к нему большую лодку приготовили для самого гроба. Когда в два часа ночи мы отправились в церковь, то я увидела, что не только сама церковь, но и весь большой двор и часть сада были полны народом, сбежавшимся проводить Дарью Алексеевну. Когда ее вынесли из церкви и на руках понесли далее по саду к реке, тихо спускаясь по лестнице, все, даже крестьяне, шли со свечами, и ни малейший ветерок не колыхал их пламени; громкое пение всего духовенства и архиерейских певчих далеко и явственно разливалось в невозмутимой тишине, нас окружающей. Мне кажется, что эту ночь еще и теперь я вижу перед глазами, так крепко врезалась

она в моей памяти. Если бы я умела рисовать, я бы ее представила до малейшей подробности, хотя двадцать лет с тех пор прошло.

Гроб поставили на лодку; мы все, впрочем, не более восьми человек, перешли на пароход, машина и колеса зашумели. Волхов заструился, пароход побежал. Крестьяне со свечами шли еще несколько времени по берегу, потом стали кланяться и креститься, напутствуя в вечную обитель свою добрую госпожу, — огоньки гасли один после другого, и Званка скоро совсем пропала из вида...

С тех пор я Званки не видала, оно и лучше: последнее впечатление, хотя было и грустное, но такое глубокое, прекрасное. В эту чудную ночь Званка была во всей своей красе... Какое было бы мне увидеть ее разоренною, почти опустелою?..

Мы плыли всю ночь. На заре туман, как газовое покрывало, неподвижно дремал над рекою, пока первые лучи солнца, просвечивая насквозь, его не разогнали. Вытягиваясь длинною полосой, он полз по отлогому берегу и ложился все плотнее на воду.

Утро было великолепное — теплое, светлое, золотое, предвещаая чудный летний день. Около восьми часов утра издали показался Хутынский монастырь, и звон его колоколов долетал до нас, несмотря на шум парохода. Все духовенство в облачении ожидало нас под горою, и нам ясно было видно, как и тут толпа народа встречала бранные останки Дарьи Алексеевны, отдавая ей должную дань уважения. После заупокойной обедни и отпевания мы тут же в церкви опустили в землю гроб бабушки рядом с гробом Гавриила Романовича, и тот же плитный камень покрыл их обоих.

Дарья Алексеевна всегда любила наши церковные службы и постановления и потому устроила, положив капитал, чтобы церковь молилась за упокой ее мужа и близких родственни-

ков вековечно. Даже для большой прочности поминальные доски были бронзовые, с вырезанными на них именами усопших. Ее собственное имя было заклеено бумажкой, и в день похорон легко было эту бумажку счистить.

Меня так удивила эта предусмотрительность. Бабушка и на Званке сделала такое же распоряжение, а Званская церковь, говорят, заперта. Горько подумать, что там именно, где бабушка отдала часть своего достояния, где отпустила своих крестьян на волю добровольно, где построила сама церковь и учредила на свой счет приход, — что и тут за нее не молятся!..

Пишу все это, надеясь, что моя живая правда, может быть, попадет на глаза лица влиятельного, которого чувство правосудия, задетое за живое, заговорит громко, чтобы важному этому делу дали, наконец, необходимый должный толчок и разбудили беспечность тех людей, в чьих руках оно спит мертвым сном<sup>7</sup>. Разве не ужасно выговорить, что в двадцать лет ничего не сделано и что надежды нет, чтобы имели намерения за что-нибудь приняться, что оставленная сумма Дарьей Алексеевной на благо общественное, которая теперь должна превзойти почтенную цифру 300 000 руб. сер., гложет где-то без пользы и добра.

Собрав в виде анекдотов все, что я сама слышала о Гаврииле Романовиче Державине от самой бабушки, я передаю слышанное, со всею возможною верностью и точностью; но и тут вижу, как человеку трудно вполне быть правдивым. Мы все смотрим на предметы немного сквозь себя, если я могу так выразиться. Часто три свидетеля одного и то же факта не согласны в своих показаниях, потому что поняли его каждый по-своему, самое время унесло с собой несколько неуловимых подробностей; наконец, даже и память может иногда изменить...

Сама Дарья Алексеевна, по нежной, неизменной ее любви к мужу, могла быть пристрастной; но имею ли я передавать слышанное иначе, нежели оно мне было рассказано? И потому, как я его помню, как многое было тогда же записано в моих тетрадах и разных семейных бумагах, так добросовестно оно сюда и переписывается.

1.

Вспоминая всегда с восхищением о доброте Гавриила Романовича, Дарья Алексеевна рассказывала следующий случай, которого все три ее племянницы были свидетельницами.

Не помню хорошенько, но какое-то пирожное Гавриил Романович любил особенно. Это пирожное было заказано к обеду. Дедушка не очень хорошо себя чувствовал, и Дарья Алексеевна пирожное отменила. Приказание ее, не знаю почему, не было исполнено, и пирожное подали к столу.

— Ах, как несносно! — сказала Дарья Алексеевна с нетерпением. — Ведь я говорила, чтобы этого пирожного не делали.

— Ну, уж извини, мой друг, — заметил Гавриил Романович, приближая к себе блюдо, и с поспешностью положил себе на тарелку довольно большую порцию.

— Нет, мамичка, как хочешь, сердись ты на меня или нет, а я тебе не дам, — продолжала Дарья Алексеевна, отнимая у него тарелку. — Ты так дурно себя чувствовал.

И несмотря на его сопротивление, она тарелку у него отняла и отдала человеку. Гавриил Романович вскочил со стула, бросил салфетку на стол, плюнул в сторону и ушел из столовой скорыми шагами.

Сидящие за столом молоденькие его племянницы даже притихли, так перепугались, воображая, что это семейная сцена и что будет какая-нибудь беда; они со страхом друг на

друга поглядывали, одна бабушка преспокойно продолжала кушать свое пирожное, как будто ничего не случилось. Когда вышли все из-за стола, то увидели, что в гостиной, за круглым столом, Гавриил Романович раскладывал в карты пасьянс. Бабушка подошла к нему, ласково взяла за руку и поцеловав ее с нежностью сказала:

— Что, мамичка, рассердился ты на меня?

— За что? За что? — спросил он с удивлением и совершенно добродушно.

— А за пирожное-то, — отвечала, смеясь, бабушка.

— Я и забыл, — сказал Гавриил Романович, беззаботно махнул рукой и продолжал раскладывать свой пасьянс.

## 2.

У Гавриила Романовича был секретарем Астафий Михайлович Абрамов<sup>8</sup> слишком тридцать лет. Он был честный и хороший человек, писал прекрасно, но под старость стал любить выпить лишнее и являлся к общему обеденному столу немного навеселе, что крайне оскорбляло бабушку Дарью Алексеевну, для которой приличия всегда были очень важным вопросом во всех подробностях даже домашней жизни. Она находила это непростительным и особенно совестилась чужих и гостей, бывших за одним с ним столом.

— Хоть бы ты, мамичка, ему сказал, — говорила она Гавриилу Романовичу.

— Ну, Бог с ним, — отвечал дедушка, — а ты делай, Дашенька, будто не замечаешь...

— Ты только посоветуй ему в этом виде обедать у себя наверху, а не приходите сюда вниз... ты его усовести...

— Ничего, право ничего, ну какая тут в прочем такая беда или грех?.. по-моему, право, ничего...



3.

Гавриил Романович крестил у Елизаветы Николаевны Львовой сына ее Леонида, и когда после церемонии принес новокрещенного малютку к матери и передал его на ее руки, то сказал эти слова с глубоким чувством:

— Дай Бог, друг мой Лиза, чтобы ты мне его представила и в царствии небесном таким же непорочным.

4.

Никто более Гавриила Романовича не любил и не ценил Суворова. Он очень понимал притворную его оригинальность, под которой великий наш полководец скрывал с намерением свой высокий гениальный ум и необыкновенные способности. Суворов, впрочем, сам ему как-то раз признался, что притворяется для того, чтобы, смеясь над ним, ему менее завидовали. Суворов был искренно набожен и твердо убежден, что один Бог управляет удачами и счастьем людей. Гавриил Романович в высшей степени уважал это благочестие в человеке, которому столько великого в жизни удавалось.

Когда Суворов уже лежал в предсмертной своей болезни, то приказал послать за Державиным, который тотчас же к нему приехал. Он застал Суворова слабым и страждущим; несмотря на это, Суворов посадил его у себя на постели и начал расспрашивать и рассуждать о делах государственных с необыкновенно свежими мыслями, говорил так горячо, так увлекательно, что у Державина навертывались на глазах слезы.

— Кто поверит, что ты умеешь так говорить, Александр Васильевич, — сказал Державин, — ты всех их так дурачишь, когда поешь петухом!

В эту самую минуту кто-то посторонний вошел в комнату. Князь, вместо ответа, взял Державина за руку и, посмеиваясь, спросил наивно:

— Ну, какую же ты надо мной напишешь эпитафию?

— По-моему, — отвечал Державин, — слов много не нужно: «Тут лежит Суворов...»

Князь взглянул на Державина восторженно, крепко пожал ему руку, и хотя уже слабым голосом, но почти закричал:

— Помилуй Бог, как хорошо!

Несколько дней после этого Суворова уже хоронили. За гробом шел весь Петербург. Но никто грустнее не был Державина, никто не понимал лучше его всю цену человека, которого лишилась Россия, его скорбь была глубокая и истинная.

Народу было множество, войск тоже. — Не доходя до каменных ворот Невского монастыря, шествие остановилось; были в недоумении — пройдет ли высокий балдахин под ворота.

У Державина был всегда очень верный взгляд, он нагнулся, посмотрел пристально и крикнул:

— Пройдет-пройдет, — и, обратившись к его окружающим, сказал вполголоса: — Везде прошел!

— Везде прошел, — повторило несколько человек, кому по душе показались слова Державина.

— Везде прошел, — грянули дружно солдаты, подхватив с восторгом то, что и на деле им было известно более, чем кому либо.

Надгробная надпись над Суворовым и теперь видна: по слову Державина она гласит: «Здесь лежит Суворов».

## 5.

Некто, господин, кажется, Якоби, был под судом<sup>9</sup>. Дело его рассматривалось в Сенате. Державин, который несколько раз у себя на дому внимательно и добросовестно его читал

и разбирал, был убежден в невинности этого человека и потому защищал его горячо противу тех, кто не разделял его мнений.

Враги Якоби воспользовались болезнью Гавриила Романовича, чтобы в его отсутствии решить дело Якоби. Они его, то есть Якоби, окончательно осудили и представили свой приговор на подписание государыни, что и было немедленно исполнено.

Когда Державин узнал об этом, то пришел в совершенное отчаяние, ходил в раздумье по комнатам скорыми шагами, брал себя за голову, мучился правдивою душою и страдал невыразимо. Наконец, сел к своему письменному столу, написал наскоро по всему делу докладную записку, потом приказал заложить карету, оделся и поехал во дворец.

Императрица его приняла; лишь он вошел к ней в кабинет, то сказал твердым голосом:

— Ваше Величество, Якоби невинен.

— Как невинен? — спросила гневно государыня.

— Он невинен, — повторил Гавриил Романович. — Клянусь вам совестью и честью...

— Это неправда, — продолжала все более и более разгневанная Екатерина, — Вздор... это быть не может...

— Сошлите меня в Сибирь, — отвечал твердо Державин, — и оттуда я буду громко кричать, что он невинно осужден. Вот записка, которую я составил по совести, по этому делу...

Державин стал на колени и, как челобитную, положил записку на голову. Государыня не дала ему договорить, почти вырвала записку из его рук и, зглянув ей одной свойственным орлиным взглядом, сказала повелительно:

— Подите вон...

Державин, встал, поклонился и уехал.

Когда он вошел в свою гостиную, лицо его выражало совершенное спокойствие, он даже кротко улыбался, и когда бабушка с беспокойством выбежала к нему навстречу, он сказала ей:

— А императрица меня выгнала...

— Как выгнала? — спросила озабоченная Дарья Алексеевна.

— Так, просто, велела выйти вон... Ну, что делать? Я исполнил свой долг и теперь спокоен.

Прошел весь день. На другое утро государыня в девятом часу утра прислала своего камердинера звать Гавриила Романовича немедленно к себе. Он поехал. Лишь только он вошел в ее кабинет, она встала и поклонилась ему медленно, опуская правую руку до земли.

— Ты прав, — сказала она, — Якоби невинен; вчера после твоего отъезда я прочла докладную твою записку, потом вытребовала все дело к себе... всю ночь его читала... и вижу, что ты прав... Якоби точно невинен.

Она долго разговаривала с Гавриилом Романовичем об этом важном деле, в котором невинный человек едва не пострадал как преступник, и только благодаря правоте Державина впоследствии Якоби был совершенно оправдан.

Если Державин своим честным поступком заслуживает уважение самого потомства, то как не сказать, что и императрица Екатерина была женщина великой души?

Можно ли удивляться, что Державин готов был ей отдать жизнь? Он без тени лести мог хвалить ее и слишком искренно был ей предан, чтобы кто-нибудь мог усомниться в чистосердечии его чувств, когда из-под его пера вылились эти прекрасные стихи:

Как Солнце, как луну поставлю  
Твой образ будущим векам,  
Превознесу тебя, прославлю,  
Тобой бессмертен буду сам<sup>10</sup>.

6.

В Сенате рассматривалось какое-то важное дело, которое Гавриил Романович один отстаивал против многих значительных лиц, сильных по связям своим при дворе.

Он занемог простудой, а между тем подходил день общего собрания. Накануне этого дня человека три его искренних друзей проводили у него вечер.

Он был озабочен и беспрестанно повторял, что непременно должен поехать на другой день в Сенат, чтобы присутствовать при общем собрании.

— Ты нездоров, — говорили ему друзья, — побереги себя — лучше не выезжай...

— Надо, братцы, надо, — повторял Гавриил Романович, — то-то будет шуму, крику.

— Право, гораздо было бы благоразумнее не ехать, — заметил один из гостей, — на тебе и без того лица нет.

Разговор завязался живой — и так как Державин очень горячился, да к тому же и действительно был нездоров, то его, наконец, уговорили, упростили, и он обещал, что останется дома и в Сенат не поедет.

На другой день он чувствовал себя еще хуже; к тому же его очень волновала мысль, что он не поехал в общее собрание, что дело обсуживается окончательно без него и может быть без должного правосудия.

Он похаживал по комнатам в своем синем шелковом халате, опушенном мерлушкой, заложив руки за спину, и на лице его заметно было, что мысли и чувства наперерыв его тревожили и покою не давали.

Он обратился к двоюродной сестре Дарьи Алексеевны Прасковье Михайловне Бакуниной, впоследствии Ниловой, и сказал:

— Почитай мне что-нибудь Параша...

Она взяла со стола первый том его сочинений, открыла на 209-й странице оду «Вельможа» и начала читать.

Гавриил Романович, сидя в креслах против нее, слушал с глубоким размышлением. Когда дошло до следующих стихов:

Блажен народ, где Царь главой,  
Вельможи — здоровы члены тела,  
Прилежно долг все правят свой,  
Чужого не касаясь дела.  
Глава не ждет от ног ума  
И сил от рук не отнимает,  
Ей взор, иль ухо предлагает,  
Повелевает же — сама.

Державин приподнял голову, улыбался и с заметным удовольствием слушал собственные стихи, которые Прасковья Михайловна превосходно читала; она продолжала:

Узлом сим твердым естества  
Коль царство может быть счастливым!  
Вельможи! Славы, торжества  
Иных вам нет, как быть правдивым.

Блюсти народ, Царя любить,  
Об благе общем их стараться,  
Змеей пред троном не сгибаться,  
Стоять — и правду говорить.

При последних стихах Гавриил Романович в неизъяснимом волнении вскочил со стула, схватил себя за голову и громко закричал:

— Кто это писал? Кто? Я мерзавец, я подлец, я сам... а сегодня в Сенат не поехал...

— Помилуй, брат, — сказала Прасковья Михайловна, — как можешь ты себя упрекать? Ведь ты больнешенек...

— Нет, сестра, нет, честному человеку следовало поехать, — продолжал Державин с каким-то отчаянием; он хо-

дил по комнате и, страдая нравственно, забывал почти, что болен телесно.

За столом он ничего не мог обедать, и к вечеру сильный жар принудил его лечь в постель.

Всю ночь с ним был бред, в котором он себя беспощадно упрекал, что не исполнил своего долга.

Нельзя не оценить высокого его сознания в таком поступке, который для стольких служащих людей прошел бы незаметно. Не пламенная ли любовь к добру и правде так сильно взволновала добрейшего и честнейшего этого человека?

## 7.

Когда в 1815 году государь Александр Павлович возвратился в Петербург во всей славе победителя и примирителя Европы, Гавриил Романович, хотя уже и в отставке, просил позволения ему представиться, чтобы принести искреннее поздравление с невероятными успехами юного государя.

— Да, Гавриил Романович, — сказал ему государь. — Господь помог мне устроить внешние дела России, теперь примусь за внутренние — но людей нет...

— Они есть, ваше величество, — отвечал Державин, — но их не видать — они в глуши, их искать надо. Без умных и добрых людей и свет Божий бы не стоял.

## 8.

В одном из своих сочинений под названием «Приношение императрице», Державин назвал себя последним из рода *Багрима*, потому что предок его был *Багрим*, выехавший из золотой Орды на службу к великому князю Василью Васильевичу Темному. У Багрима дети были: Нарбек, Кегл, Акинф и Держава. От них произошли роды Нарбековы, Кегловы, Акинфовы и Державины. В дворянской книге

с родословными, в грамоте на дворянство Гавриила Романовича Державина это и теперь можно видеть.

По преданиям, полагают даже, будто Багрим прозван был по-русски *Басенок*, известный в истории — но это за верное утверждать нельзя.

## 9.

Императрица Екатерина сочинила сказку под заглавием: «Царевич Хлор»<sup>11</sup>. В сказке было рассказано, как Фелица, то есть богиня блаженства, сопровождала юного царевича на ту высокую гору, где роза без шипов растет.

Державин по этому случаю написал оду *Мурза к Фелице*; Фелицу же назвал киргизскою царевной, потому что киргизская Орда числилась в подданстве российской императрицы и была в соседстве деревни, принадлежащей Державину в Оренбургской, или теперь Самарской, губернии<sup>12</sup>.

В этой оде, без всякого, впрочем, злого умысла или намерения, он очень верно и метко описал некоторые слабости людей, приближенных ко двору, и высказал на счет самой императрицы свое искреннее убеждение и восторженную преданность. Несмотря на это, он не решался оду напечатать, боясь, чтобы государыня не сочла ее лестью, а ее приближенные — злой насмешкой. И пригласив к себе своих друзей Николая Александровича Львова и Василья Васильевича Капниста, прочитал им свое новое произведение и просил настоятельно откровенно сказать, как они его находят и как думают. Оба друга решили, что оду печатать не следует, чтобы не нажить врагов и мстителей. Державин взял свою Фелицу и сам спрятал ее под ключ в бюро.

Прошел целый год; никто не знал о существовании этих прекрасных стихов. Гавриилу Романовичу понадобилась какая-то бумага. Он рылся в ящиках, а в это время возле него сидел Козодавлев, который жил в его доме и считался своим



человеком. Вынимая из бюро кипы бумаг одни за другими, Державин выложил, между прочим, и «Фелицу». Козодавлев, бросив на первые ее строки нечаянный взгляд, попросил позволения прочесть и остальное и пришел в восторг. Он умолил Гавриила Романовича дозволить ему прочесть эти стихи тетке его Пушкиной, которая страстно любила стихи, и в особенности стихи Державина. Гавриил Романович долго отговаривался, но Козодавлев пристал к нему так неотступно, что Державин уступил, под клятвой, что Козодавлев, кроме Пушкиной, их не покажет ни единому человеку. Через час или два стихи были возвращены Гавриилу Романовичу назад.

Прошло несколько дней; Иван Иванович Шувалов, у которого Державин был под начальством еще во время учения своего в Казанской гимназии и который продолжал лично ему покровительствовать, вдруг присылает за ним нарочного и просит немедленно к нему приехать.

Державин находит его крайне озабоченным.

— Как мне быть, — спросил Шувалов у Державина. — Князь Потемкин требует у меня твоих стихов, а как я ему могу послать их, подумай сам?..

Надо сказать, что Потемкин был именно задет в «Фелице», потому что действительно был баловнем судьбы и жил, окруженный всеми прелестями почестей, славы, богатства и роскоши.

— Каких стихов? — спросил в свою очередь изумленный Державин.

— Мурза к Фелице.

— Да как вы их знаете? Как они к вам попали?

— Не сердись, братец, — продолжал Шувалов, — по нескромности Козодавлева. Стихи прелестные, но боюсь, как бы они не раздражили его сиятельства? Не выкинуть ли из них кой-какие строфы?

— Ни за что! — отвечал решительно Державин. — Если показывать, так показывать их, как они есть. Злого умысла у меня не было, а то стану вычеркивать, подумают не весть Бог что...

Так и решили. Стихи были отправлены, но Потемкин и виду не показывал, что их читал, хотя в высшем петербургском обществе и поговаривали втихомолку, что они дерзки и насмешливы; но до императрицы никто их довести не хотел, хотя наверно все понимали и чувствовали, что государыню Державин изобразил восторженно и верно.

Прошло еще несколько месяцев; летом в 1783 г. княгиня Екатерина Романовна Дашкова была сделана директором Академии наук и Козодавлев при ней советником. Она была женщина высокого образования, любила страстно литературу и словесность и потому учредила издание нового журнала, который назывался «Собеседник»<sup>13</sup>. Не сказав никому ни единого слова, она приказала на первых же страницах «Собеседника» напечатать оду «Мурза к Фелице»<sup>14</sup>.

Екатерина Романовна каждое воскресенье ездила к государыне со своими докладами по делам Академии. Едва «Собеседник» вышел из печати, в первое же воскресенье она отвезла его к императрице. На другой день рано утром государыня прислала ее звать немедленно к себе. Екатерина Романовна застала государыню всю в слезах; она держала в руках новый журнал.

— Скажи, пожалуйста, откуда взялись эти стихи? Кто их написал? — спросила она, лишь только увидела вошедшую Екатерину Романовну.

— Не опасайся, — продолжала императрица, ободряя ее самую приветливою улыбкой. — Я только у тебя спрашиваю, кто меня так похвалил? Кто мог знать меня так близко? Так коротко? Ты видишь, я плачу, как дура...

Тогда княгиня сказала имя автора, и Державин с того самого времени стал известен государыне как поэт.

Прошло несколько дней, Гавриил Романович обедал у начальника своего князя Вяземского. Вдруг ему подают за столом что-то завернутое и запечатанное в бумаге с надписью: «Из Оренбурга от Киргизской царевны мурзе». Он догадывается — в невольном волнении распечатывает и видит богатую золотую табакерку, осыпанную крупными брильянтами и в ней 500 червонцев. Тогда обращается он к князю и спрашивает его: прикажет ли он принять такой богатейший подарок?

— Возьми, братец, когда жалуют, — отвечал князь, но, несмотря на эти слова, он никогда не мог простить Державину, что он помимо его попал в милость к императрице. Впоследствии он много ему делал неприятностей и даже притеснял его по делам служебным.

Между тем княгиня Дашкова уведомила Державина, что его сочинение было поднесено императрице, и принято в высшей степени благосклонно, вследствие чего ему приказано было немедленно представиться Ее Величеству.

Державин в первое же воскресенье, обыкновенный день приема у государыни, отправился в Зимний Дворец и ждал между прочими в Кавалергардской зале. Государыня подошла к нему и окинула его таким быстрым орлиным взглядом с ног до головы, что он этого взгляда не мог забыть даже по прошествии нескольких десятков лет; потом подала ему руку, и Державин с искреннею признательностью поцеловал ее.

С этого же времени государыня до конца своей жизни сохранила к Гавриилу Романовичу неизменное доброе расположение, которому он обязан его высокому дарованию как поэта. Оно открыло перед ним ту блестящую карьеру, которая впоследствии дала ему возможность с пользою служить

отечеству. Быть во всех случаях его бескорыстной служебной деятельности горячим защитником права, говорить самой государыне правду и не бояться заслужить ее гнев или даже немилость живыми словами совести, чистой и неподкупной.

Душа Державина, которая ясно видна в его сочинениях, осталась чистой и во всех удачах его исключительно счастливой жизни. Ни почести, ни богатство, ни милости царские его не избаловали, и память об его личном характере должна сохраниться в потомстве в том прекрасном виде, в котором о сию пору она еще жива в людях, знавших его близко.

На высших ступенях счастья и удач земных — государственным сановником он был тот же кроткий, бесребренный, готовый на добро человек, которого в семейной жизни все окружающие считали каким-то выродком — редким и едва ли не единственным человеком между всеми другими столь богатого людьми блестящего его века.

## 10.

Не могу, наверное, сказать, в каком году Гавриил Романович с Дарьей Алексеевной и племянницей их Прасковьей Николаевной Львовой, впоследствии Бороздиной, ехали провести лето в имении Державиных в Малороссию.

Путешествовать по России было тогда трудно и крайне неприятно. Во Пскове был первый отдых у родственника Дарьи Алексеевны Николая Петровича Яхонтова, который встретил дорогих гостей с чрезвычайной радостью.

После первых приветствий Николай Петрович поспешил сказать:

— А знаешь ли, Гавриил Романович, у нас есть во Пскове твой сослуживец.

— Кто такой? — спросил с живостью Державин.

— Отставной солдат, он служил с тобой сержантом в одном полку, во время пугачевского бунта.

— Где он, где он? — спросил Гавриил Романович, соскочив с поспешностью со стула; — Ради Бога, братец, пошли ты за ним... поскорей его сюда... я так буду рад...

Покуда побежали за отставным солдатом, Гавриил Романович несколько раз выходил на крыльцо, чтобы его встретить. Наконец, когда увидел его во дворе, то почти бегом подошел к нему, бросился на шею и обнимал его дружески, потом взял за руку и ввел его сам в гостиную.

Разговор живой и бойкий завязался тут же у старых сослуживцев о давно прошедших временах — припомнилось с той и с другой стороны множество разных подробностей пугачевского бунта, и беседа была самая оживленная.

В эту минуту доложили, что псковский губернатор приехал с визитом к Гавриилу Романовичу.

Дарья Алексеевна, которая всегда так строго придерживалась приличий, — не знала, как быть с солдатом. Его изношенная шинель, его самое присутствие в гостиной, казалось ей, может быть неуместными, когда губернатор своим визитом хотел собственно почтить Гавриила Романовича. Она спросила, как бы это сделать?

— Что? Как? — спросил с удивлением Державин — я сам его сейчас представлю его превосходительству. Он, верно, вместе со мной только порадуется, что судьба свела нас после такой долгой разлуки, хотя мы и шли разными дорогами...

Державин так и сделал, как говорил. Как показалось губернатору это представление, неизвестно, хотя можно ожидать, что он должен был найти его оригинальным.

За обедом Державин посадил солдата с собой рядом, и во все время разговор между ними не умолкал. Старик служи-

вый, да и сам Гавриил Романович были в восторге, сидя друг возле друга. Они припоминали свою походную жизнь, тягости ее и лишения, но тут же удачи и победы, и если бы кто-нибудь в эту минуту посмотрел на них со стороны, верно бы и не догадался, что товарищей разделяли пятьдесят лет далеко не одинаковой жизни; один остался сержантом в отставке, а другой, хотя и в отставке, но прошел самое блестящее поприще на службе при дворе, был секретарем императрицы Екатерины, сенатором, президентом Коммерц-коллегии, государственным казначеем, генерал-прокурором, был обвешан орденами и в связях со всеми вельможами екатерининского блестящего века.

## 11.

Гавриил Романович во всю долговременную службу терпел от врагов и завистников. У него не было никаких родственных связей при дворе, он сам себе проложил дорогу к подножьям трона великой государыни, — он сам умел поддерживать ее неизменную к нему милость, и — всего этого ему простить не могли. В то время как он был губернатором в Тамбове, его оклеветали, лишили места и отдали под суд, под рассмотрение Сената<sup>15</sup>.

Как человек вполне невинный, он оправдался, и лишь только получил письменное о том объявление из Сената, то попросил позволение объясниться с государыней.

Она приняла его в Царском Селе, назначив предварительный день и час<sup>16</sup>.

Когда Державин стал благодарить государыню за правосудие, она с улыбкой протянула ему руку и сказала:

— Не за что.

Потом спросила, о чем он хочет поговорить с ней.

— Я имею письменные представления касательно беспорядков, произведенных в губернии генерал-губернатором, — отвечал Державин.

— Для чего же ты не представил в ответах своих в Сенате?

— Это было бы противузаконно, ваше величество; меня о том не спрашивали.

— Для чего же ты прежде мне о том не писал?

— Я писал, но мне объявлено было генерал-прокурором, чтобы я просил через генерал-прокурора. Но так как он был мне враг, то и сделать этого было невозможно.

— Но не имеешь ли ты в нраве чего-нибудь крутого, строптивного, — спросила с улыбкою императрица, — что ни с кем не уживаешься?

— Я начал службу солдатом, — отвечал Державин, — и знать, умел повиноваться, ваше величество, если дослужился до моего чина.

— Отчего же ты не поладил с Тутолминым? (бывшим генерал-губернатором в Олонецкой губернии, где Державин был губернатором).

— Он издавал свои законы, а я присягал исполнять только Ваши.

— Отчего же ты разошелся с Вяземским?

— Он насмеялся над моим поэтическим дарованием и даже притеснял за оду «Мирза Фелице».

— Отчего ты ссорился с Гудовичем? (генерал-губернатор тамбовский).

— Он не рачил о ваших интересах, о чем я хочу ясно доказать вашему величеству бумагами, которые привез с собой.

— Хорошо... после, — отвечала государыня, — я возвращаю тебе твое жалование и определяю к другому месту.

Несколько дней после этого разговора обещание императрицы было исполнено.

12.

В последнюю турецкую войну<sup>17</sup> императрица была так ею занята, что мало принимала участия в делах гражданских, и Державин со своими докладами ожидал часто неделю и две очереди ехать к государыне.

К тому же иногда Екатерина скучала самыми докладами. Не имея гибкости в характере, Державин не умел приравниваться к обстоятельствам, в чем сознавался всегда сам, не только в разговорах с друзьями, но и в своих бумагах, в которых это найти можно.

Он пишет, между прочим, что не умел вертеться туда и сюда, как флюгер, что всегда читал то, что в бумагах было написано<sup>18</sup>, а не сочинял между строками, что несмотря ни на какое влиятельное лицо, он преследовал взяточников и ограждал людей честных.

Он иногда видел скуку императрицы, но терпеливо возвращался с тем же *вздором*, как говорили это при дворе, пишет он в своих записках, называя *вздором* его доклады, которые постоянно, впрочем, молили о милосердии, о правосудии, о порядке и благоустройстве. Но тут же он сам признается, что у него были свои высокие вознаграждения, ничем в свете незаменимые, потому что нередко случалось, что государыня признавалась в своем несправедливом гневе, *просила у него прощение*. Она очень чувствовала и понимала, что Державин не по своему выбору, а по ее собственному приказанию производил самые важные, но и неприятные дела, как, например, следствия и суды о похищении казны, банков и о разорении целых губерний, которые до Державина оставались по тридцати лет не решенными.

13.

Любимою собачкой Гавриила Романовича была болонка Тайка, написанная, как живая, Боровиковским на руках у Дарьи Алексеевны на портрете ее во весь рост<sup>19</sup>.



Как-то на Званке Державин гулял по берегу Волхова с племянницами и Тайкой. Тайка носилась по полям и лугам в совершенном удовольствии и, едва заметная в траве, мелькала изредка, как зайчик, то там, то сям беленькой расчесанной шерстью.

Гавриил Романович любил носить ее за пазухой; избалованная его ласками, она всегда настойчиво добивалась этого завоеванного и любимого места. Набегавшись вдоволь, она обыкновенно бросалась к нему и, прыгая на задних лапках, просилась на руки.

Но в этот день погода была великолепная; надо сказать, что Гавриил Романович любил прогуливаться именно в полдень; от земли так и парило, солнце ясно горело на безоблачном небе. Тайка разыгралась и разбегалась во все стороны и не думала о своем почтенном хозяине, который шел большой дорогой в своем шелковом халате и летней с широкими полями шляпе, опираясь на палку, и разговаривал с племянницами.

Он следил глазами за любимицей и радовался ее веселости и беззаботности.

Тайка до того резвилась, что, наконец, выбилась из сил, и высунув розовый язычок, насили дышала; она совалась по берегу, желая напиться, но берег был крут по ее миниатюрному росту и достать воды бедняжка не могла.

— Ее надо напоить, — сказал Гавриил Романович.

— Да как же это сделать? — спросила одна из барышень.

— А вот как, — отвечал он, и став на колени на самом берегу, он нагнулся, почерпнул воды в свою шляпу и напоил Тайку. Потом надел шляпу и пошел далее.

Тайка, верно, не воображала, что за добродушие свое Гавриил Романович дорого поплатится. Надев мокрую шляпу на вспотевшую голову, он простудился и несколько вре-

мени страдал болью и ломотой, но, несмотря на это, по обыкновению был нежен к своей миленькой Тайке и вспоминать не хотел, что она была невинною причиной его болезни.

Гавриил Романович вообще любил животных и как-то раз приучил к своему окну уток, которые водились на дворе. Он кормил их хлебом и забавлялся их жадностью и даже тупостью. Прожорливые утки так и кидались на все, что он им выбрасывал из окна.

Как-то раз утки не явились по обыкновению к часу утреннего завтрака.

— Душенька, — спросил Гавриил Романович жену свою, — где же мои утки?

— Ау! — отвечала она со смехом, — уток всех продали...

— А деньги где ж?

— А деньги прошли...

— Значит, утки не крикают, а деньги не брякают...

Эти рифмы о сию пору припоминаются в семействе.

#### 14.

В 1816 году Гавриил Романович скончался на Званке 9 июля. Он страдал последний год жизни легкими припадками подагры, которые проявлялись, от времени до времени, не очень сильными болями в желудке. Живший у него домашний доктор Максим Федорович давал ему в этих случаях какой-то маленький белый порошок, который производил рвоту и восстанавливал больного в самое короткое время.

7 июля Гавриил Романович совершенно был здоров и по случаю субботы пожелал, чтобы священник, отец Трофим, отслужил ему на дому всенощную. Церковь в Званке не была еще выстроена. Желание его было исполнено. Восьмого числа, то есть на другой день поутру часов в восемь, он почув-

ствовал боль, принял свой порошок и в десять говорил, что боль как рукой сняло.

В двенадцатом часу, несмотря на жаркий июльский день, он отправился гулять пешком с Дарьей Алексеевной и тремя племянницами и дошел до деревни Пристань, которая от Званки лежит в двух верстах.

Когда они воротились домой, то нашли приезжих гостей: соседа их Алексея Дмитриевича Тыркова и князя Владимира Александровича Шахматова.

Гавриил Романович был весел и чрезвычайно им обрадовался. Сели за стол, он кушал с большим аппетитом, хотя Дарья Алексеевна и не дала ему второй тарелки супа, боясь, чтобы боль в желудке не возобновилась.

После обеда Гавриил Романович сел играть в бостон с двумя приезжими гостями и третьим, секретарем своим Астафьем Михайловичем Абрамовым.

Погода была прелестная, дверь на балкон и на Волхов была открыта, чудный летний вечер так и обливал Званку золотистым светом и прохладой.

Вошла в горницу Дарья Алексеевна в своей соломенной шляпке; она гуляла с племянницами по саду и в поле и возвратилась домой с целым пучком колосьев ржи, которые уже созревали и замечательны были хорошим наливом. Молоденькие же барышни принесли большие пучки васильков и тут же принялись плести венки, в которые весело нарядились, не воображая себе, что гроза была у них так близко над головой.

Дарья Алексеевна хвастала колосьями перед своими гостями и, растерев их между ладоней, высыпала крупные зерна на стол перед Гавриилом Романовичем. Он любовался ими, и разговор шел, как и можно вообразить, о хозяйстве, об обильном урожае ржи и о богатом ее наливе.

Ужинали на Званке рано; за столом Гавриил Романович почувствовал опять боль в желудке, вышел из стола и отправился к себе в спальню. Но припадки такого рода случались так часто и так часто проходили без малейших последствий, что и тут разве одна Дарья Алексеевна немного озаботилась.

Доктор вышел за Гавриилом Романовичем. Не прошло пяти минут, и Дарья Алексеевна послала одну из племянниц узнать, как он себя чувствует.

— Скажи Дашеньке, чтобы она не беспокоилась, больно-то больно, но я принял порошок и, верно, скоро пройдет.

Потом Дарья Алексеевна сама пошла к нему. Боли стали усиливаться. Она не могла видеть его страждущим и потому опять воротилась в гостиную и стала ходить взад и вперед по комнатам, посылая племянниц по очереди за известиями и повторяя, что завтра же надо ехать в Петербург. Около часу ночи ему отлегло после рвоты, он сказал: — Пусть Дашенька не беспокоится, теперь все прошло, я хочу лечь спать, — и, обратившись к доктору, спросил: — Который час?

— Десять минут второго, — был ответ.

— Помогите-ка мне повернуться на другую сторону...

С этими словами голова его вдруг наклонилась, присутствующие переглянулись в испуге, доктор, который его держал, показывал знаками, чтобы стояли все смирно, еще прошло несколько минут невообразимого ожидания и волнения... и пришлось поверить горькому событию — Державин не существовал более. Он расстался с миром почти без боли, без борьбы, и кроткая его жизнь увенчалась такою же кроткою и тихою кончиной. Но много, много было пролито слез на его могиле Дарьей Алексеевной и всеми его искренними родными и друзьями.



Ф. Ф. ВИГЕЛЬ

## Из «Воспоминаний»

Державин находился в нем <Петербурге> в том же самом состоянии успокоившегося патриарха, как Херасков в Москве, и тем самым перед нею давал уже ему перевес в отношении к словесности. Заживо он сопричтен уже был к сонму богов: два верховных жреца, Шишков и Шаховской, ему поклонялись и именем его управляли толпою мелких служителей, дьячков, пономарей, звонарей Аполлона.

<...> Следствием глубоко обдуманых мер, плодом искусно начертанного стратегического плана было в октябре месяце 1810 года рождение «Беседы любителей русского слова».

Обстоятельства чрезвычайно благоприятствовали ее учреждению и началам. Мудрено объяснить состояние умов тогда в России и ее столицах. По вкоренившейся привычке не переставали почитать запад наставником, образцом и кумиром своим, но на нем тихо и явственно собиралась страшная буря, грозящая нам истреблением или порабощением; люди, умеющие размышлять и предвидеть, невольно теснились во круг знамени, на котором уже читали они слово: отечество. <...> Воспрянувшее в разных состояниях чувство патриотизма подействовало, наконец, и на высшее общество: знатные барыни на французском языке начали восхвалять русский, изъявлять желание выучиться ему или притворно показы-

вать, будто его не знают. Им и придворным людям натолковали, что он искажен, заражен, начинен словами и оборотами, заимствованными у иностранных языков, и что «Беседа» составила единственно с целию возратить и сохранить ему его чистоту и непорочность; и они все взялись быть главными ее поборницами.

Маститый Державин, который воспел все минувшие славы России, для заседаний «Беседы» отдал великолепную залу прекрасного дома своего на Фонтанке. В этой зале, ярко освещенной, как во храме бога света, не помню сколько раз, зимой бывали вечерние, торжественные собрания «Беседы». Члены вокруг столов занимали середину, там же расставлены были кресла почетнейших гостей, а вдоль стен в три уступа хорошо устроены были седалища для прочих посетителей, по билетам впускаемых. Чтобы придать сим собраниям более блеску, прекрасный пол являлся в бальных нарядах, статс-дамы в портретах, вельможи и генералы были в лентах и звездах, и все вообще в мундирах. Часть театральная, декорационная, была совершенство; управлял ею, кажется, сам Шаховской. Чтение обыкновенно продолжалось более трех часов и как содержанием, так и слогом статей отнюдь не отвечало наружному убранству великой храмины. Дамы и светские люди, которые ровно ничего не понимали, не показывали, а может быть, и не чувствовали скуки: они исполнены были мысли, что совершают великий патриотический подвиг, и делали сие с примерным самоотвержением. Горе было только тем, которые понимали и принуждены были беспрестанно удерживать зевоту. Модный свет полагал, что торжество отечественной словесности должно предшествовать торжеству веры и отечества.

Наподобие Государственного Совета, составленного из четырех департаментов, и «Беседу» разделили на четыре раз-

ряда и, так же как у него, в каждый посадили по председателю, да еще каждому дали по попечителю. Это был сущий вздор, ибо в предметах занятий между разрядами не было никакого различия. Потом было в каждом из них по несколько членов и по несколько членов-сотрудников, которые составляли как бы канцелярию «Беседы». Вообще она имела более вид казенного места, чем ученого сословия, и даже в распределении мест держались более табели о рангах, чем о талантах. Попечителями были председатели в совете, граф Завадовский и Мордвинов и министр просвещения граф Разумовский; как будто на смех, четвертым посадили министра юстиции Дмитриева. Почти все вышепоименованные писатели попали в члены, коих список украшался именем Крылова, как вечерние собрания их оживлялись немного чтением его басен. В числе сотрудников находились и наш Жихарев, который тогда еще был не наш, и Греч, о котором я тогда не имел еще никакого понятия. Крылов хотя и выдал особу свою «Беседе», но, говорят, тайком подсмеивался над нею. Доказательством тому поставляют вскоре после ее открытия выданную им басню «Квартет», где проказница мартышка, осел, козел да косолапый мишка спорят о местах, и автор говорит им: «Друзья, как ни садитесь, а в музыканты не годитесь».

Что бы ни говорили, а «Беседа», может быть, не весьма с похвальными намерениями основанная, по мнению моему, была во многом полезна. Во-первых, самого Карамзина грубости Шишкова сделали несколько осмотрительным; он указывал ему на средства дать более важности и достоинства историческому слогу, более он сделать не мог, а тот, с своим чудесным умом и талантом, не оставил ими воспользоваться. Несколько молодых писателей были поудержаны от жеманства, в которое, по неопытности, могли бы впасть, глядя на

московских вздыхателей. Наконец, покровительство и уважение, оказываемые в столице отечественной словесности правительством и высшими сословиями, имели благотворное действие на провинции и некоторым образом способствовали сближению разных состояний и согласию между ними, столь необходимому в эту памятную эпоху.

<...> Труды свои одна только «Беседа» издавала периодически, книжками, после каждого собрания и публичного чтения.

Пока продолжался Венский конгресс, внутри России так же, как и в Петербурге, начали забывать и прошедшее горе, и минувшую радость; всякий помаленьку стал приниматься за прежнее дело, и сочинители стали по-прежнему пописывать и слегка перебраниваться.

«Беседа» открыла вновь свои торжественные заседания, но они становились все реже и совсем потеряли великое значение, которое имели до войны. Раз вздумалось нам с Блудовым (помнится, в ноябре 1814 года) из любопытства отведать их препрославленной скуки, и, можно сказать, были ею пресыщены. Ни забавного, веселого и остроумного, ни глубокомысленного или ученого ничего мы не слышали, а все что-то такое, о чем бы не стоило говорить. Не одну скукою были мы жестоко наказаны за сию не совсем благоприятную попытку. Блудов отослал домой карету и слугу; они еще не воротились, когда кончилось чтение; свет начал гаснуть в зале, и она скоро закрылась. Нам пришлось оставаться в передней между лакеями, ибо в гостиную к Державину, куда переселились чтецы и слушатели, одному незнакомому, а другому известному противнику «Беседы» и Шишкова явиться было неприлично. Мы предпочли в одних фраках идти пешком вдоль по Фонтанке, при сильном холодном ветре и осыпаемые мелким снегом. Скоро встретилась нам карета, мы сели в нее и, только согревшись, нашли, что случившееся с нами до-



вольно забавно. Впоследствии Блудов весьма искусно поместил сие происшествие в одно шуточное произведение своем<sup>1</sup>.

<...> В этой главе хочется мне, кстати, досказать повесть о «Беседе» и «Арзамасе», хотя для того и должен буду выступить за пределы 1816 года. Одно будет весьма недлинно: «Беседа» в этом году как будто исчезла, совсем пропала без вести. Единственное заседание ее, на коем я присутствовал, было едва ли не последнее; если потом и были они, то не публичные и, верно, очень редко, ибо о них и слуху не было. Единственный свет, ее озарявший, слабел и тихо угас на берегах Волхова; летом Державин заснул вечным сном в деревне своей Званке, невольно осудив на то и «Беседу». Божество отлетело, и двери во храм его навсегда затворились.



С. Т. АКСАКОВ

## Из «Воспоминаний о Дмитрие Борисовиче Мертваго»

(письмо В. П. Безобразову от 20 января 1857 года)

<...> Пришел я один раз к Дмитрию Борисовичу довольно рано поутру; он велел меня провести в свой кабинет и сказал, что сейчас придет. Я бывал в этом кабинете при других и мало обращал внимание на окружающие меня предметы; теперь же, от нечего делать, я начал все рассматривать, и мне кинулась в глаза небольшая картинка, висевшая над письменным столом моего крестного отца; я подошел поближе и увидел, что это был вид деревни Званки и сельского дома Гаврилы Романыча Державина; внизу находились следующие четыре стиха:

Средь сих лесов, болот и ржавин,  
С бессмертным эхом вечных скал,  
Бессмертны песни повторял  
Бессмертный наш певец Державин.

Картина была нарисована водяными красками и кем-то подарена Дмитрию Борисовичу, кажется, женщиной. Кем написаны стихи — до сих пор не знаю<sup>1</sup>. Я был страстным почи-

тателем Державина; забывшись, с восторгом и довольно громко, повторял я эти четыре стиха наизусть, не заметив, что крестный отец стоял уже за мною. «А, брат, ты, видно, любишь старика!» — сказал он, и я, покраснев до ушей, с волнением высказал все, что чувствовал и думал о Державине, прибавя, что знаю все его стихи наизусть. Хозяин из любопытства сделал мне экзамен, и я прочел ему две-три пьесы, декламируя напропалую, по-студентски. «Ого, брат, — сказал с усмешкой мой крестный отец, — да ты не вздумай в актеры!» Он посадил меня возле себя, чего прежде не делал, и рассказал мне про свое знакомство с Державиным, прибавя, что он «не только великий стихотворец, приносящий честь и славу своему отечеству, но честный сановник, и добрейший человек, и что все, что говорят про него дурного, выдумка подлых клеветников и завистников». С этого счастливого утра я стал сблизиться с моим крестным отцом.



Д. Б. МЕРТВАГО

## Из «Записок»

Не быв в Петербурге 10 лет, я приехал в совершенно незнакомый город. Я остановился у родственников, которые не в состоянии были оказать мне никакого пособия в моем деле, и потому я решился, чтоб не показаться преступником, молчать обо всем, со мною случившемся, говоря, что приехал для знакомства с людьми, от которых завишу по службе.

Я имел случай познакомиться с Державиным, состоявшим при императрице для принятия прошений<sup>1</sup>, человеком, известным отличной добротой сердца, остротою разума и сочинениями. Он с первого раза обошелся со мною хорошо и дозволил мне иметь свободный вход в его дом. Вскоре случилось мне рассуждать с ним о делах; понятия мои ему понравились, он откровенно мне это высказывал и изъявил желание быть чаще со мною.

Пользуясь этим дозволением, я, часто бывая у него в доме, познакомился с ним коротко. Вкус этого истинно-необыкновенного человека есть уединение, а любимое занятие — придумывать средства к укоренению добродетели. Однажды, быв с ним наедине в кабинете, рассуждая о том, что губернаторы часто употребляют во зло монаршую к ним доверенность, он показал мне свои объяснения суду<sup>2</sup>, который был над ним установлен за то, что в звании губернатора, желая обуздать

мздоимство, более поступал по чувствам своим, чем по правилам закона<sup>3</sup>. Этими поступками он поставил противу себя генерал-губернатора и несколько вельмож в столице и едва не погиб по пристрастию корыстолюбцев. Прочитав эти объяснения, действительно ясно написанные, и отдавая их ему, я сказал, что могу заплатить тою же монетою, прочитав ему мое дело, которое тут же ему рассказал и изъяснил мои намерения. Державин отвечал, что времени моего отпуска не достанет мне на ожидание нового начальника, потому что нельзя ожидать, чтобы новый генерал-губернатор вскоре был определен. «Если же вы хотите дать делу ход, — сказал он, — то я сегодня вечером доложу о сем императрице, и уверяю вас, Боже их упаси, если она узнает все то, что вы мне сказали». Я, подумав несколько минут, спросил: «Что же вы мне советуете?» — «Если мщения не желаете, то бросьте все это, потому что дело пустое». Я согласился, и он, очень довольный моим добрым расположением, обещал стараться вывезть меня из той губернии.

День ото дня делаясь знакомее с этим человеком, достойным всякого почтения, и бывая с ним часто по несколько часов наедине, я наслаждался умными его рассуждениями, клонящимися к добру, восхищался его доверенностию и был счастлив знаками его ко мне дружества. Жена<sup>4</sup>, подобно ему, не родилась обыкновенною в свете женщиною; пылкость ее разума и воображения и обширные познания украшали прекрасное ее тело и давали блеск великодушному и щедролюбивому ее сердцу. Страстная ее любовь к мужу, а еще более к славе, возвышала душу Державина, делала разум его деятельнейшим к добру. С этою, можно сказать, небесною на земле четою, в городе, зараженном сладострастием, проводил я время в тихой беседе, рассуждая о пользе ближнего.

Молодой человек<sup>5</sup>, бывший тогда весьма важным при дворе, по случаю отъезда правителя кабинетских дел<sup>6</sup> на конгресс назначен был исправлять его должность. Ему нужен был письмоводитель. В это звание ему предложили меня. Я считал это место выгодным и сказал о том новому моему благодетелю. Державин одобрил мое намерение и стал хлопотать о моем помещении; но как нельзя было думать, чтобы эта должность была постоянная, то он хотел поместить меня в какое-нибудь звание при кабинете, чтобы при перемене начальника я мог в службе остаться. Это до того не понравилось вновь произведенному правителю кабинетских дел, что он отказал мне в месте письмоводителя; и потому, согласно моему желанию, меня представили кандидатом к определению вице-губернатором в одну из отдаленных губерний, доложили о том императрице, и она, по представлению Державина и на основании хорошего отзыва обо мне, приказала написать о том указ. <...>

Пред отъездом в Сар<e>п<t>у я получил от Гаврилы Романовича Державина письмо<sup>7</sup>, где, шутя над намерением моим жить философским образом, предлагал, не лучше ли идти в службу и быть полезным в государстве членом.

<...> Надобно знать, что в течение того времени, как находился я в Сарепте, сделалась великая перемена: в правлении государственном установлены министерства; Гаврила Романович Державин, участвовавший в основаниях сего нового порядка, назначен был министром юстиции<sup>8</sup> и сделался в большой доверенности и силе. Будучи сенатором, спорил он с Сенатом, утверждая, что для пользы государственной и блага народного надлежит крымскую соль не отдавать на откуп<sup>9</sup>, и сию часть, елико можно, приноровить на пользу промышленности народной. Откупщиками наушаемые, бояре с ним не соглашались. Он довел сие до сведения государя и, удосто-

веря о истине своего понятия, укрепился его согласием. Все сие зная прежде, мог я понимать причину моего определения к должности.

Приехав домой, нашел я большую кучу бумаг, бывших с эстафетою посланными в Сарепту и по отъезде моем оттоле возвращенными в Петербург и потом с нарочным ко мне в деревню присланными, где присоединено еще партикулярное от Державина письмо<sup>10</sup>, коим дружески он мне советует и просит не отказаться исполнить препорученное дело скорее ехать в Крым. На проезд и заведение пожаловано мне от государя 3000 рублей (отправлены в Перекоп), на счет коих взял Гаврило Романович письмо от Злобина<sup>11</sup> к его приказчикам, чтобы давали мне, сколько потребую <...>.

## Из «Дополнений к „Запискам“»

### I. <In memoriam>

Доселе имел я одолжения, кои чувствуя, признаю истинными, единственно от чувств происходящими:

<...> От *Гаврилы Романовича Державина*, который, будучи в знатности и силе, принял меня, малочиновного, ничего не значащего и от начальников своих гонимого, в содружество себе; удостоивал доверенности без всякого испытания, положась на единую лишь склонность души его, вступался за меня всею силою, снисходил для меня до унижения, искав угодить людям, ему противным и большой вред ему делавшим, для того только, чтобы, умягча их покорностию своею, расположить в мою пользу. И все, что ни делал, делал как будто друг, обязанный брать участие в обстоятельствах ему равного; кажется, даже и поныне не знает он цены благоотверения, мне оказанного. Благодородная душа его умеет сочув-

ствовать всему и делаться равною всему. Примечая в разных обстоятельствах в продолжение многого времени, видел я и знаю действительно, что трудно и даже невозможно унижить его и возгордить. Покойная жена его, Екатерина Яковлевна, во всем ему подобная, показала мне удивительный пример великодушия: будучи больна при смерти, без малодушия зная приближение своей кончины, начиная уже слепнуть, не только что не удержала своего супруга, коего любила страстно, но присоветовала ему поехать в Царское Село, чтобы проведать, какое генерал-прокурор получил донесение о мне по случаю замужества сестры моей с человеком, в большом несчастье бывшим, и предупредить важные последствия, могущие к несчастью моему случиться. Она так ему сказала: «Ты хотя не случаен, но к тебе имеют уважение, ты можешь сведать и вступить за него, — поезжай, мой друг! Бог милостив! может, проживу я столько, чтобы еще тебя увидеть»<sup>12</sup>. Великодушие поистине, какому примера я не знаю!





Г. И. ДОБРЫНИН

## Из «Истинного повествования, или Жизни Гавриила Добрынина, им самим писанной, 1752–1823»

Узнав, что тамбовский губернатор Державин был на ту пору в Москве — по случаю возвратного шествия из Крыма в Москву государыни императрицы<sup>1</sup>, — явился я к нему с письмом моего генерал-губернатора. Он, прочитав, спросил:

— Почему вы узнали, что я здесь?

— Вся Москва знает о бытности в ней вашего превосходительства, — отвечал я, уверен будучи, что стихотворцам лесть не противна.

— Что вам надобно?..

— Письмо от вашего превосходительства к уездному судье того уезда, в котором деревни, следующие к отказу за малолетних Салтыковых.

— Очень хорошо (записал в книжку дело), приходите ко мне в субботу, часу в 9-м поутру.

<...> в субботу, по назначению, получил письмо от губернатора Державина.



Ф. П. ЛУБЯНОВСКИЙ

## Из «Воспоминаний»

С приезда в столицу до окончания погребальных церемоний<sup>1</sup> князю Николаю Васильевичу<sup>2</sup> при Дворе было как лучше желать нельзя. И кто у него тогда не был с поклоном? Кто и нас не ласкал? Был у него и великий наш лирик Державин. Доложив о нем князю, я бросился навстречу обожаемому мною тогда творцу «Фелицы», оды «Бог», «Водопада», «Памятника герою» и проч. Князь принял его перед кабинетом, пробыл с ним в кабинете около часа, проводил его потом до третьей комнаты и расстался с ним, говоря: «Прощай, друг мой Гаврило Романович!» Быв очевидцем приема, в котором с простотою приязни и искреннего доброжелательства соединялось уважение к личному достоинству, я не мог без негодования читать лжесловного описания этого самого приема, помнится, в «Библиотеке для чтения»<sup>3</sup>, где Репнин выставлен напоказ гордецом, бесчувственным к тогдашнему положению Гаврила Романовича<sup>4</sup>. А по записке его дело было вот в чем. Не везло ему тогда; приписывая эту невзгоду завистникам, он метался неудачно во все углы и, исчислив свои труды по службе и по литературе, просил князя подать ему руку, подняться, доложить Императору. От князя он, конечно, не имел, да и не мог иметь иного ответа, как самого чистосердечного, без всякого ненавистного ему обнадеживания, а поэт, вероятно, истолковал это себе иначе.



А. Л. ВИТБЕРГ

## Из «Записок академика Витберга, строителя храма Христа Спасителя в Москве»

В то же время<sup>1</sup> имел я счастье познакомиться с Державиным через Лабзина. Для него я нарисовал две виньетки к лиро-эпическим сочинениям. Державин был весьма знаком с Лабзиным; он обыкновенно читал своим прекрасным (голосом) его сочинения в обществе любителей русского слова, ибо Державин читал очень дурно, не все поэты имеют ту превосходную способность, с которою читает нам Крылов свои произведения. Даже обыкновенно посылал Державин к нему (Лабзину) свои стихи для грамматической корректуры. Я после того часто посещал его. Дом Державина был совершенно в духе поэта: снаружи видны были одни коллонады, среди которых был дом чрезвычайно изящно расположенный (близ Фонтанки, у Обухова моста). Прием его был всегда приветлив. Всем известно об нем; следственно говорить нечего; скажу только, что он вечно ходил в теплом халате, даже за обедом при гостях, и с маленькой собачкой за пазухой. Его задумчивость и каждое слово свидетельствовали о непрерывном одушевлении.



Д. Д. РЯБИНИН

Прошение, поданное  
императору Александру I черниговским  
протоиереем Кубецким

Премудрый Александр, России государь!  
Прости, что пред тобой пищать дерзнул комар.  
Самодержавие дало тебе власть свыше.  
Всесильный! Поступать вели со мною тише.  
Я — протопоп, ношу тобою данный крест,  
Но так умален, как в перстах мизинный перст:  
От прошлого до нынешнего года  
По чину моему не получил прихода.  
Синод повелевал, — и дважды я просил:  
Архиерей не дал — просить нет больше сил.  
Синод мне место вновь избрать повелевает,  
Но архипастырь мой того не исполняет.  
И тако повели, всеавгустейший царь,  
Меня, презренную от высшей власти тварь,  
Восставить: посадить на протопопском месте,  
Или же в пенсион дать в год рублей по двести:  
Тогда жена моя и четверо детей,  
Пришед со мною в храм, произнесут глас сей:  
«Да будет Александр, его Елисавета  
Над нами царствовать счастливо многи лета!»

*Мая 5-го дня 1803 года.*

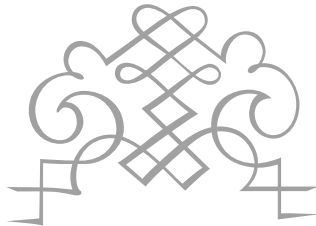
*Д. Д. Рябинин*

Резолюция:

Царево повеление весте:

Велел вас посадить на протопопском месте.

Министр юстиции Д е р ж а в и н





Н. И. ЦЫЛОВ

## Старинные острословия

Одна дама вышила подушку, которую подарила императору Александру I при следующих стихах:

Российскому отцу  
Вшила овцу,  
Сих ради причин,  
Чтоб мужу дали чин.

Резолюция Державина-министра:

Российский отец  
Не дает чинов за овец.



Е. Н. ЛЬВОВА

## Из «Некоторых анекдотов людей известных, умных и по душе приятных»

### Похвала Державина

Я вам читала, друзья мои Федя и Паша<sup>1</sup>, несколько стихов вашего дедушки Федора Петровича<sup>2</sup> — вам они так понравились, и вы их слушали с таким удовольствием! Я и вспомнила, что мой дядя Гавриил Романович Державин написал про них. Однажды, пришед в кабинет вашего дедушки и нашед на столе у него раскрытую книжку, в которой он писал и поправлял свои стихи, Державин взял перо и написал следующее:

Пиши, о Львов, пиши  
Ты чувства твоей души, —  
И не пиши ты ничего иного,  
Поэт ты будешь века золотого!

Вы можете себе представить, милые друзья, как такая похвала славного нашего поэта порадовала вашего дедушку. Он так знал, любил и почитал Державина, и все эти чувства он так прекрасно излил в оде на смерть его<sup>3</sup>; 8-я строфа так мне нравится:

Нет места скорби в дверях гроба,  
Где прах Державина сокрыт!  
Здесь обессиленная злоба,

*Из «Некоторых анекдотов людей известных, умных и по душе приятных»*

Там громоносный правды щит.  
Тут лира под венцом лавровым,  
А тут к отечеству любовь!

Строфу эту я велела выгравировать на памятнике, что делала Державину. А как утешительна последняя строфа:

О, лира! Стонешь ты невольно!  
Грусть рвет тебя из рук моих!  
Я знаю, что где сердцу больно,  
Там свет ума темнеет вмиг.  
Но знай! — что запад возвещает  
В блистательной заре восток.

## **Слова Державина при отставке его**

Неблагоденные люди умели так не расположить государя Александра Павловича к дяде Гавриилу Романовичу Державину, что он решился подать в отставку, когда его удалили от генерал-прокуратуры. Государь, увидя его, просить его стал остаться в Государственном совете и Сенате.

— Нет, ваше величество, — отвечал дядя, — позвольте мне совсем идти прочь, тем более, что в Сенате вы меня не увидите, а в Совете не услышите.

## **Надгробная Суворова**

Чувствуя себя уже очень слабым, князь Суворов пожелал видеть перед смертью Гавриила Романовича Державина. Приехал дядинька к нему; он посадил его к себе на кровать и стал говорить про самые серьезные дела с таким умом, что у Державина не раз навертывались слезы.

— Зачем ты не всегда так говорил, князь, — спросил Державин, — и при других только петухом поешь и дурачишься?



И в эту минуту кто-то вошел в комнату. Князь взял Державина за руку и, смеючись: «Ну, какую же ты мне напишешь эпитафию?» — сказал Суворов.

«По-моему, — отвечал Державин, — слов много не нужно: „Тут лежит Суворов“. «Помилуй Бог, как хорошо», — в восторге, но слабым голосом закричал Суворов и крепко пожал руку Державина.

## **Люди в глуши**

Когда в 1813 г.<sup>4</sup> государь Александр Павлович воротился в Петербург, дядя Гавриил Романович Державин представился ему, желая поздравить его лично со всеми его успехами! — Да, Гавриил Романович, — сказал государь, — мне Господь помог устроить внешние дела России, теперь примусь за внутренние, но людей нет! — Они есть, ваше величество, — отвечал Державин, — но они в глуши, их искать надобно; без добрых и умных людей и свет бы не стоял!

## **Сознание Державина**

Гавриил Романович известен был тем, что готов был умереть за правду, и не раз доказывал это в живых спорах, что он имел и с императрицею Екатериною, и с государем Павлом. Однажды, при царствовании государыни, его упросили не ехать в Сенат и сказаться больным, потому что боялись правды его; долго он не мог на это согласиться, наконец, желчь его расходилась; он точно не был в состоянии ехать, лег на диван в своем кабинете; и в тоске не зная, что делать, не будучи в состоянии ничем заняться, велел позвать к себе мою двоюродную тетку Прасковью Михайловну Бакунину (после заму-

*Из «Некоторых анекдотов людей известных, умных и по душе приятных»*

жем за Ниловым), которая в девушках у дяди жила, и просил ее, чтоб успокоить его тоску, почитать ему вслух что-нибудь из его сочинений. Она взяла первую оду, что попалась ей в руки — «Вельможа», — и стала читать, но как выговорила стихи:

Змеей пред троном не сгибаться,  
Стоять — и правду говорить...

Державин вдруг вскочил с дивана, схватил себя за последние свои волосы, закричав:

— Что написал я и что делаю сегодня? Подлец!

Не выдержал больше, оделся и, к удивлению всего Сената, явился; не знаю наверное, как говорил он, но поручиться можно, что душою не покривил<sup>5</sup>.



П. Н. ЛЬВОВА

## Записки

*Понедельник, 14 августа, Званка, 1811*

Утром, после завтрака, мой дядя обычно идет в свой кабинет, где собирается целая толпа детей, которым он раздает по будням крендели, а по воскресениям пряники. Нет ничего более любопытного, чем видеть доброго дядюшку, окруженного этими забавными малышами; он везде и во всем выказывает справедливость; иногда случается, что кому-то из малышей недостает кренделя. Дядя мой не может вынести, чтобы кто-то получил меньше других; он посылает искать по всему дому и не успокаивается, пока у всех доли не будут равны. Тогда он их отпускает; все очень довольны и обещают воротиться на другой день. Очень часто я присутствую при этой раздаче, находя истинное удовольствие видеть почтенное лицо дядюшки, на котором отражается ангельская кротость; посреди этой группы детей; при разговоре с ними, его доброта видна в каждом его слове. Иногда он становится их судьей: когда к нему обращаются с жалобами, он терпеливо выслушивает ту и другую сторону, затем делает легкий выговор тому, кто не прав, и этим восстанавливает мир между двумя поссорившимися малышами.

Потом одна из нас читает вслух. Обыкновенно это был «Путешественник вокруг света»<sup>1</sup>, который выручал нас при

отсутствии более интересных сочинений. Мы часто замечали, что всякий раз, как дядя задремлет, и его случайно разбудит какой-нибудь шум, он открывает глаза с улыбкой, и эта улыбка была единственным укором тому, кто его разбудил.

*1 июля 1812*

Возвратившись из Пскова на Званку, мой дядя Державин получил приказ прибыть в Новгород, куда приехал принц Ольденбургский и созвал все высшее дворянство; в то же время мы узнали, что Витебск, Минск и вся Курляндия были захвачены врагом.

15 июля мой дядя вернулся из Новгорода. Мы узнали от него, что принц приезжал туда, чтобы от имени императора просить помощи у дворянства, воодушевить его на создание ополчения во главе с тем, на кого падет их выбор. Он лично призывал жителей Новгорода пожертвовать гражданской жизнью и вооружиться ради борьбы с общим врагом.

По приезде в Петербург мы обнаружили, что там царит всеобщий испуг. Смоленск только что был взят. Все готовились спешно покинуть город, многие даже опередили прочих и укрылись в Вытегре. Все присутственные места были закрыты; поговаривали даже, что императорская казна и средства благородных особ перемещены в Або<sup>2</sup>. Самым ужасным было то, что среди всех этих вынужденных приготовлений частным лицам упорно отказывали в выдаче их денег, помещенных в банк, под тем предлогом, что императорской казны не хватает для того, чтобы вернуть деньги всем. Все попытки моих братьев остались тщетными. Мой добрый дядюшка, видя наши затруднения и полагая, что и сами частные лица ведут себя неправильно, решил написать письмо вдовствующей императрице, в котором он излагал ей все обстоятельства и высказывал опасение, как бы затянувшийся отказ не

подорвал общественное доверие и не навредил государственному кредиту. Благодаря Богу, это письмо имело желаемый результат, и на следующий день господин Соблуков, директор банка, пришел, чтобы от имени частных лиц поблагодарить дядю за выданные средства<sup>3</sup>. Мы получили наш капитал, и с этого дня дядюшка и тетюшка занялись подготовкой нашего отъезда; нас отправляли с моим зятем Львовым в Каргополь. Что касается моего дяди, то он с самого начала опасности постоянно настаивал на том, чтобы ничего не отправлять и не оставлять города, пока враг не окажется в нескольких верстах. Моя тетя решила его не покидать, и наши приготовления в дорогу, которые постоянно напоминали нам, что мы должны покинуть моего дядю и тетю, становились день ото дня все грустнее. Наконец, однажды вечером, собравшись, мы устроили семейный совет и попросили разрешения остаться с ними до последней крайности. Среди всех наших печалей и волнений мои дядя и тетя высказали пожелание поехать в Киев, если случится отогнать неприятеля и покой придет на место бури.

И действительно, 15 июня 1813 мы выехали из Званки<sup>4</sup>, 24 июня прибыли в Москву, следуя, так сказать, по следам неприятеля. Мы видели все бедствия, которые он причинил. 26 июня мой дядя вернулся из Кремля. Он пришел оттуда грустным от разрушений, которые увидел. Но он был очень удивлен, что чудом сохранилась неповрежденной икона Святого Николая над воротами при входе в Кремль, в то время как целый угол самих ворот был снесен взрывом.

28 июня мы остановились на станции Лопасна недалеко от Москвы; так как не было лошадей, мы задержались надолго<sup>5</sup>. Однако это обстоятельство доставило моему дядюшке радость совершить доброе дело, к чему он был всегда готов. Едва мы вошли в избу, как увидели, что по деревне бежит

толпа крестьян с криками, что утонул человек. Тотчас мой дядя, забыв об усталости от путешествия, взял с собой доктора и отправился прямо на место, где находился несчастный. Того уже вытащили из воды, но без признаков жизни; узнали, что он был больной и во время приступа бросился в воду, но потеряв сознание и силы, пошел на дно. Мой дядя попросил доктора<sup>6</sup> употребить все необходимые средства, чтобы вернуть его к жизни. Но было очень трудно привести его в сознание из-за толпы крестьян, окружавшей его; одни тянули его на своих спинах, другие настаивали, что его надо покатавать на бочке, которую они прикатали, и почти не позволяли доктору приблизиться к умирающему. Мой дядя, видя, что такое лечение лишает утопленника остатков жизни, решил употребить свой авторитет: «Отойдите, — крикнул он, — и положите его на землю!» «Нет, барин, — ответили ему, — на землю не положим, не то земля его пожрет». Он усмехнулся этому предубеждению и отказался от своего приказания. Подошел доктор и принялся растирать утопленника, дал ему понюхать сильного спирта. Крестьянин очнулся, и его жизнь была спасена. Спустя несколько мгновений он уже пришел в сознание, принял еще некоторые лекарства и через несколько часов чувствовал лишь небольшую слабость. «Вот, — сказал мой дядя, вернувшись в избу, — как все к лучшему произошло — без этой остановки из-за лошадей, которая меня сначала раздражала, так как это случилось впервые, утонувший, может быть, умер бы, но, благодаря Богу и нашему Карлу Григорьевичу, он спасен».

2 июля мы остановились в Мценске в 25 или 30 верстах от Орла. Мой дядя нас предупредил, что здесь он никого не знает; но едва он это сказал, как мы увидели много экипажей. Сначала мы их приняли за путешественников, однако, к нашему великому удивлению, это была одна большая

семья, когда-то спасенная от нищеты справедливостью моего дяди, и которая приехала выразить ему свою признательность и пригласила его остановиться у них. Эта семья состояла из почтенной бабушки, по имени госпожа Хлопова, которая была окружена своими детьми и внуками и, казалось, была старшей в этой семье; она приехала во главе ее на встречу с дядей, так что было похоже, что он с триумфом въезжает в Орел. Мы остановились у них и провели там очень приятно 3 июля (день рождения моего дяди), и потом, как нас встретили, так же всей семьей и проводили до Кромн 4 июля. Мы ехали быстро, но, однако, продвигались вперед очень мало, так как мой дядя, желанный повсюду, вынужден был останавливаться почти в каждом городе. Там самый знатный из находящихся в службе дворян приезжал просить остановиться у него. Дом его заполнялся людьми, которые нам были совсем незнакомы. Одни приезжали посмотреть на моего дядю как на автора «Фелицы», другие, в парадных мундирах, приезжали оказать ему почести, будучи уверены, что он послан императором с секретной миссией: проверить, какой порядок царит в глубине империи; некоторые приезжали к нему как к благодетелю, напоминали ему свое дело, в котором он протянул им руку помощи, и так искренне выражали свою признательность, что это доставляло моему дяде минуты поистине приятные. Он, в свою очередь, всех благодарил и разговаривал с ними со своим обычным добродушием: *«Благодарю вас, но кто вы, не знаю и вас совсем не помню»*. Мы проехали через Батурино; здесь дядюшка много рассказывал мне о семье Разумовского, и о ловкости, с которой императрица Екатерина привлекла его к своему двору, осыпала богатством и честью, но отобрала титул *гетмана*, а с ним и власть над жизнью и смертью 50 000 душ.

7 июля мы прибыли в Обуховку к моему дяде Капнисту. Радость была большой как с одной, так и с другой стороны. Там мы нашли съезд гостей. Это был господин Трощинский с семьей. Этот старик, который на протяжении всей своей политической жизни стоял на пути моего дяди и почти всегда имел противоположное мнение, был, казалось, очень рад этой встрече, ибо возраст и опыт утихомирили страсти и сделали истину более убедительной и более снисходительной. Их разговоры были по-настоящему интересны, и часто к ним примешивались остроты моего дяди Капниста.

19-го мы продолжили поездку. Ужасная гроза застала нас в 10 верстах от Трубайцев (деревни Петра Васильевича Капниста). Сильный ливень, молнии, освещающие дорогу, по которой мы должны были ехать, усталость лошадей, которые почти больше не двигались вперед. Наконец, наш кучер, окончательно остановившись, сообщил нам на своем малороссийском наречии, «*что гребля<sup>7</sup> прорвалась*». Нам пришлось искать пристанища в одиноком доме, принадлежавшем некоему господину Галицкому, мы вынуждены были провести там кое-как остаток ночи. Мой добрый дядюшка, вовсе не рассерженный этой помехой, первым стал над ней потешаться; он говорил, что хотел бы написать поэму, где изобразил бы двух фей, одну добрую, а другую злую, которые поочередно руководят нашим путешествием, доказывая свою власть. На следующий день *гребля* была починена, и мы прибыли к Петру Васильевичу.

25 июля мы прибыли в Киев и провели там 3 дня, посещая все, что было любопытного. Мой дядя обещал графине Браницкой приехать в ее прекрасное имение Александрию, которое находилось в 73 верстах от Киева. По ее настоятельной просьбе, мы выехали 28 июля и, благодаря любезному вниманию графа Санти (губернатора Киева), который



предусмотрел все, чтобы наше путешествие было приятным, прибыли через несколько часов в Александрию. Воспоминание о князе Потемкине было, кроме прочего, одним из сюжетов разговора. Графиня отвела нас в нечто вроде Пантеона, воздвигнутого в его честь, где его бюст был поставлен среди бюстов других знаменитых людей. Мы нашли там и бюст моего дяди. Повосхищавшись прекрасными садами Александрии, осмотрев все наиболее интересное в Белой Церкви, мы вернулись в Киев 1 августа и провели там еще несколько дней. Мы вернулись в Орел, где еще некоторое время виделись с семьей Хлоповых, и направились в Москву.

13 августа Москва снова предстала перед нашим взором и, к нашему великому удовлетворению, показалась нам в лучшем состоянии, чем то, в каком мы оставили ее в свой первый приезд. Многие большие каменные дома, от которых при пожаре уцелели лишь стены, были восстановлены заново, и в них уже жили. Бесчисленное множество рабочих всякого рода трудились в разных местах города. Шум их молотков, часто сливающийся с их пением, оживлял город, бывший еще недавно покрытым пеплом и пустым.

Мы покинули Москву. Чтобы скоротать скучную поездку, мой дядя велел мне читать вслух перевод «Матильды, или О Крестовых походах»<sup>8</sup>. Иногда он любил рассказывать мне про царствование Екатерины; и вот однажды он сообщил в следующих словах о ее восшествии на престол. «Накануне Петрова дня в 1762 году император, императрица и весь двор отправились в Петергоф, чтобы там провести именины императора; но вместо того чтобы посвятить этот день увеселениям, императрица уехала в ту же ночь в Петербург со всею своею свитой. Она прибыла туда в три часа ночи, остано-

лась в своем Летнем дворце, который находился в то время там, где ныне находится музыкальный клуб, который на углу Мойки. Я был тогда сержантом Преображенского полка, и, к великому моему удивлению, меня разбудили в четыре часа утра. Нам было приказано немедленно отправиться к дворцу; императрица стояла уже на балконе, окруженная вельможами и преданными ей полками. Их пушки были заряжены и поставлены так, чтобы по первому знаку начать пальбу. Сначала был приведен к присяге Измайловский полк, который своими знаменами и приветствовал ее как русскую императрицу. Этот полк был расставлен по Мойке с заряженными ружьями. Потом явились и другие полки и расположились таким же образом. И я также должен был принести присягу, весьма дивясь тому, что приходится проделывать это так часто и что так дурно соблюдали прежнюю, ибо не прошло еще и двух лет, как присягали Петру III, а теперь клялись в верности императрице, не зная даже, что сделалось с несчастным государем. Но все это совершилось с такою суровостью и с такою ловкостью графами Орловыми и самой государыней, что наиболее преданные Петру III полки повиновались беспрекословно и присягнули на верность его супруге. Тотчас после этой великой церемонии, не дав войскам отдохнуть ни минуты, *нас погнали* в Петергоф, чтобы заставить присягать те полки, которые там оставались. Оттуда императрица, надев преображенский мундир и сев на прекрасную белую лошадь<sup>9</sup>, с обнаженною шпагой в руке, торжественно въехала в Петербург. Она была встречена многократными приветствиями и с той минуты приняла бразды правления империей. Что касается несчастного императора, оставшегося в Петергофе в Петров день, то он был страшно поражен, войдя в покои своей супруги, никого там не нашел; еще более удивился он, увидев, что все приближенные к нему вельможи покинули

его. Неизвестно, куда он потом девался; но в самый день выезда императрицы из Петергофа видели, как карета, запряженная шестерней, неслась по ораниенбаумской дороге. Говорят, злополучный император скончался в Ропше. На другой день императрица издала манифест, в котором объявила, что по случаю внезапной смерти императора она поставлена в необходимость принять верховную власть. Солдаты, всего более противившиеся новому порядку вещей, были привлечены на ее сторону деньгами и вином; повсюду обнаружился полнейший беспорядок. Войскам было позволено разграбить трактир, который находился на Петергофской дороге и который назывался Красный Кабак, и вообще их не могли, да и не хотели сдерживать. Порядок был восстановлен только тогда, когда императрица вполне убедилась, что может царствовать безопасно. Таково было восшествие на престол Екатерины! Таковы были средства, которые она использовала, средства ужасные, и которые, однако, доставили России 34 года славы и благоденствия».

17 августа мы покинули Москву. 26 августа, в годовщину ужасного сражения под Бородином, мы приехали в Званку и принялись за мои чтения с дядей. Я предложила ему закончить «Матильду», которую прервали другие дела. Но, видя, что это ему неинтересно, я попросила почитать с ним все его сочинения, спрашивая у него объяснения того, что не понимала. Часто, из любезности, он прибавлял к ним анекдоты, которые я заносила в свой дневник, если они не были помещены в «Объяснения», продиктованные им Лизе<sup>10</sup>. Я добавила только о смерти Петра III, о которой дядя упоминал раньше, но о которой он только что рассказал мне подробнее.

Император Павел при своем восшествии на престол повелел извлечь тело Петра III и торжественно перевезти его сна-

чала во дворец, а оттуда в крепость, для погребения с другими императорами. Не довольствуясь этим странным актом неуважения к памяти своей матери, он захотел выкупить Ропшу у Лазаревича, которому она принадлежала, и хотел назвать ее Кровавым полем. Но, вопреки этому, Ропша сохранила свое прежнее название, хотя и перешла в собственность дворцового ведомства.

Иногда после наших чтений дядюшка говорил о политике. Сегодня речь зашла о человеке, который стал несчастьем для всей Европы. «Представь, — сказал мне мой добрый дядюшка, — что в 1786 году Бонапарт просился на службу в Россию, поскольку полагал, что во Франции звания присваиваются слишком медленно. Он хотел поступить в русскую армию майором, но императрица Екатерина отказала ему в этом, соглашаясь дать только чин поручика. Поэтому-то дело и провалилось».

### *18 июня 1814*

Все это время дядя заставлял меня читать разные эклоги великим людям, говоря, что он хотел бы написать Похвальное слово императору Александру по поводу счастливо одержанной победы, но так как он совсем не знаком с этим жанром, то желает знать, что написано в этом роде другими. Более всего ему понравилась Похвала Марку Аврелию<sup>11</sup>, хотя он находит, что она написана не совсем согласно с правилами, ибо действие в ней смешано с повествованием. Другие похвальные слова иногда усыпляли дядюшку. В результате всех наших чтений этого рода, когда дядя то слушал, то дремал, он, наконец, сказал мне, что лень его одолела и что больше он писать не будет. «Я много писал, — говорил он мне, — теперь я стар и моя литературная карьера закончена, я оставляю молодым поэтам заботу меня заменить».

Время от времени он любил рассказывать мне о моем отце, о советах, которые получал от него по поводу своих сочинений, прося меня читать те из них, которые особенно любил, и много раз перечитывал стихи, написанные на смерть моего батюшки.

.....

*Званка. Суббота 29 июля*

Бог захотел ниспослать нам грозное знамение неожиданной смерти моего дяди, случившейся с 8 на 9 июля 1816 г., или, точнее, 9 в 1 час 30 минут утра. Это была роковая ночь, видевшая то гнетущее отчаяние, то совершенную безопасность, как мы полагали, в отношении его здоровья, то испуг и ужас, которые овладели нами настолько, что даже горе мы не смогли почувствовать.

Сейчас, когда прошло уже три недели с того рокового дня и когда утрата с каждым днем становится для нас все чувствительнее, единственное утешение для меня — это говорить о нем, вспоминать все его слова, так хорошо запечатлевшиеся в моем сердце, и которые дают представление о чувствах, питаемых этой ангельской душой.

Начну с минуты нашего приезда сюда. Мы прибыли 30 мая в 5 часов утра в самую прекрасную погоду. Едва поднялись мы на гору, как нас поразил и остановил вид многочисленных кустов роскошно распустившейся сирени, особенно тех, что растут справа от дома и одного, который был под окнами дядино кабинета. Имея склонность ко всему прекрасному и восхищаясь всегда могуществом Создателя, проявлявшемся даже в малейшем атоме, дядюшка был растроган и казался помолодевшим, любуясь вместе с нами этим очаровательным кустом. Он приближался к нему несколько раз, заставляя нас рассматривать красоту и величину цветков,

темную зелень листьев, которые выделялись своим здоровьем и вообще были такие сильные по сравнению с сиренью, которую мы оставили в нашем саду в Петербурге. Мы вошли в комнаты, чтобы снять наши шляпы, но утро было столь великолепным, и мы так счастливы были дышать благоуханным деревенским воздухом, покинув Петербург, что через мгновение все снова оказались в саду. Глаза устремились к нашим дорогим деревцам, но каково же было наше изумление! Ни одного цветка! Зеленые майские жуки, очень крупные и в великом множестве набросились на дорожную нам сирень и полностью истребили ее. Прекрасный цвет, которым так недавно мы все восхищались, стал красноватым и совершенно поблекшим; это всех нас удивило и опечалило. *«Знать, сглазили мы»*, — сказал мой дядюшка, и с грустным сердцем от потери наших красивых цветов мы вернулись к завтраку, а в это время мерзкие майские жуки, сделав свое дело, вдруг снялись и исчезли. За завтраком это странное явление природы, впервые случившееся в Званке, стало предметом всеобщего обсуждения. Александрина Дьякова сочла его дурным предзнаменованием, я же отнеслась к ее словам с насмешкой, не желая связывать такие черные мысли с простым событием.

Так как дядя и тетя чувствовали себя усталыми и захотели немного отдохнуть до обеда, то мы поднялись наверх, побыли там некоторое время и спустились только к обеду.

Как только стол был убран, погода переменилась, поднялся страшный ветер, Волхов сделался ужасным, разразилась сильная гроза с частыми вспышками молний. В пять часов пополудни управляющий пришел сказать, что возле Веринькиного вяза<sup>12</sup> четыре женщины сражены молнией, что одна из них только что принесена без признаков жизни, две другие без сознания, но еще дышали, а у четвертой рука

и нога были обожжены и отшибло слух. *«Как нынешний год наш приезд несчастлив»*, — сказала тетя. Мы все подумали о том же, но не осмеливались ей сказать, ибо, признаюсь я, мы придавали значение тому, что высказанные вслух мысли могут привлечь несчастье. И это огорчало нас куда больше, чем зеленые майские жуки. Доктор не мог поручиться за выздоровление дышавших на ладан женщин, и потому мысль об отчаянии четырех семей, о смерти, такой близкой и одновременно такой далекой, придала нашему вечеру атмосферу печали. Однако гроза прошла, появилось солнце, высушило ступеньки, и мой дядя, как и мы, усевшись на них, наслаждался прекрасным видом Званки, который дарил такое спокойствие. *«Как здесь хорошо!»* — часто повторял он, глядя на проходившие по реке парусные суда. — *«Не налюбуюсь я на твою Званку, Дарья Алексеевна, прекрасна, прекрасна»*, — и, повторяя это несколько раз, он принимался напевать свой любимый марш Безбородки.

Наш образ жизни вошел в свой обычный ритм; эта жизнь такая безмятежная, когда каждый день похож на тот, что был накануне, и так все дни. Дядя заставлял меня читать вслух час поутру и час или два после обеда; это были то газеты, то история Роллена в переводе Третьяковского<sup>13</sup>, ужасный стиль которого заставлял дядюшку часто смеяться и пожимать плечами, предсказывая мне, что еще немного — и я вывихну себе челюсть. Чтобы скрасить серьезность и трудность этого произведения, после полудня я читала поэму Хераскова *«Бахариана»*<sup>14</sup>, сюжет которой был взят из различных русских сказок; это настоящая смесь Бог знает чего! Бесчисленное множество привидений, превращений, несколько очень хороших, по мнению дяди, описаний не переставали его развлекать разнообразием. Поскольку мы читали только одну песнь

каждый день после обеда, он не слишком утомлялся. *«Экой бред! — говорил дядюшка, — однако забавно, стихи гладки, описания природы хороши, и к тому же так хитра завязка, что хочется все конца дознаться»*. И потом происходили такие забавные вещи, что он смеялся от всей души; тетушка тоже обратила внимание на наше чтение, и добрый мой дядюшка, поворачиваясь то к ней, то ко мне, улыбался нам обеим. Мне кажется, что я и сейчас еще вижу его ангельское лицо, как он сидит между нами на этом красном диване, всегда с Тайкой за пазухой, слушая мое чтение и раскладывая большой пасьянс. Иногда я представляю, как он шагает по комнатам или объясняет нам различные места Священного писания, рассказывая о самых замечательных толкователях его. Тогда глаза его сияют ярким блеском от силы чувств, он оживляется, становится красноречивым, убедительным, в глазах блестят слезы, и вся его душа в них отражается. Три темы только могли произвести этот эффект в нем: когда речь шла о Боге, об истине и о поэзии. Любил он также говорить о царствовании Екатерины II. Это была пора его молодости, когда его богатое воображение всей силой своей заполняло жизнь соблазнительными мечтами. Он говорил мне о славе России во время ее царствования, о великих людях, прославивших ее, о своих первых лирических опытах, которые без его ведома были представлены императрице и вызвали у нее желание увидеть его; также о приеме, который был ему оказан; и про взгляд, которым она окинула его с головы до ног, чтобы рассмотреть того, кто, как она выразилась, так хорошо ее знал. *«Я в век этого взгляда не забуду, — говорил дядюшка. — Я был молод, ее вход, величие окружающее, этот важной царской взгляд — все меня так поразило, что она мне казалась существом сверхъестественным; но теперь, как все это поразмыслю, то*



*должен сознаться, что была она большая комедиантка и знала, как людям пыль в глаза бросать».*

Желая продолжить объяснения, которые он сделал на чetyре первых тома, он велел мне читать пятый, только что напечатанный. После того как мы этим некоторое время позанимались, он сказал мне: *«Эта часть как-то скукой пахнет и напоминает то время, в которое она писана была, или просто сказать, оттого, что я стар стал».* Мой зять Воейков, вернувшись из Тамбова, привез нам книгу, которую очень хвалил. Дядя ее читал, да забыл, это было объяснение литургии<sup>15</sup>. Он захотел ее перечитать, взял свою лупу (так как зрение его ослабло в последнее время) и был занят этим какое-то время. *«Я так устал, — сказал он мне. — Паша, почитай мне вслух, но не торопись, ты плохо договариваешь окончательные слова, а я и совсем плохо слышу».* Часто прекрасная погода прерывала наше чтение и приглашала выйти из гостиной и сесть на ступеньках. Зная, что ему нравилось слушать, как мы с Александринной поем, я брала гитару, и мы пели: *«Вошел в шалаши мой торопливо»*<sup>16</sup>, он же восхищался природой, спокойствием Волхова, в котором, как в зеркале, повторялся окружающий пейзаж, или считал на пальцах стопы стихов, которые сочинял в это время.

Раз утром (думаю, это было 1 июля), дядя слушал с удовольствием, как я читала объяснение литургии. Мы дошли до места, где говорилось о благоговении, с каким необходимо внимать службе, и что при этом любое земное чувство должно исчезнуть и уступить место бесконечной признательности за все милости Господа, который пожертвовал собой ради нашего вечного спасения; думать о жертвоприношении, совершаемом на алтаре во время литургии, вслушиваться во все молитвы, глубоко проникать в них, чтобы никакая житейская

привязанность не отвлекала в этот момент. *«Как это трудно, — говорил дядюшка. — Как часто во время службы о молитве и не думаешь; правда, иной раз сердце разогрется, слезы брызнут от восторга, кажется, как бы искра Господня заронится в душу, вспыхнет, — но потом суета мирская займет собою, и искра эта божественная совсем потухнет. Я в таком восторге стоя у заутрени на Светлой праздник, написал первую строфу оды Бог. Слезы катились градом, и с чувством, исполненным благодарности, я написал то, что сердце мне сказало».* Говорил он мне это с выражением убежденности во всех словах. Глубоко взволновавшись, он прервал мое чтение и принялся ходить взад и вперед по комнате; я села за фортепиано и, взяв «Анданте» принца Людвига Прусского<sup>17</sup>, начала его играть. Эта нежная музыка с печатью меланхоличности понравилась моему дяде, он подошел к фортепиано. *«Что такое ты играешь?»* — спросил он меня. Я назвала ему автора. *«Как эта музыка мне нравится, гармония такая тихая, унылая, верно, принц Людовик был меланхолик, это заметно по его музыке».* Я рассказала, как сожалели о принце, который умер совсем молодым, лучшие музыканты; он слушал меня с интересом, потом попросил снова сыграть «Анданте». Я его играла еще много раз после обеда, в то время, когда дядя раскладывал свой большой пасьянс. *«Прекрасна, прекрасна»*, — повторял он, проходя мимо меня в свой кабинет на послеобеденный отдых. Мы пошли наверх, где работали и читали до его пробуждения. Узнав, что он встал, мы спустились, чтобы провести остаток вечера с ним и с тетушкой. Едва увидев, как я вхожу, он сказал мне: *«Представь себе, твоя музыка так мне понравилась, что я сейчас видел во сне твоего принца Людовика и с ним об ней говорил».* Все это доставило мне удовольствие,

однако дядя не выглядел веселым, и, чтобы его развлечь, я предложила почитать что-нибудь из его пятого тома. Он выбрал маленькую оду в греческом роде (как он сказал), посвященную Полигимнии; это вымышленное имя для означения мадмуазель Стурдзы, которая доставила ему удовольствие на вечере у мадам Свечиной, превосходно прочитав оду «Бог». Мы вышли из комнаты, так как дядя пожелал немного погулять по саду и подняться на вершину холма, который находился слева от дома и вид с которого был так красив. Там мы встретили тетюшку. Она указала ему, что все деревья, посаженные ими, так хорошо принялись, что и любимой его бани стало не видно. *«Все это хорошо, прекрасно, — сказал он ей, — но все это что-то меня не веселит!»* Когда через несколько минут тетя нас оставила, он, не стесняясь больше, продолжил: *«Я стар стал и кое-как остальные деньки дотаскиваю»*. Это испугало меня, я ласково взяла его за руку, говоря, что его меланхолия происходит, быть может, от состояния его здоровья. *«Нет, благодарить Бога, я сегодня здоров»*, — он тотчас же вернулся и принялся за свой большой пасьянс.

3 июля, день его рождения, приближался. Семен Капнист прибыл накануне, чтобы провести этот день с нами. Это обрадовало дядю, он расспрашивал о политических новостях, о том, что говорят в Петербурге, и, услышав, как много недовольных и ропшущих, выразил удовольствие, что его там нет: *«Живем мы здесь спокойно, — сказал он, — и долго меня в Петербург не заманют»*. Тетя послала за священником, чтобы читать вечерние молитвы и «Тебя, Боже, славим», дядя чувствовал себя прекрасно, и мы просили Бога, чтобы он подольше сохранял его в таком состоянии. Сам он, стоя у двери в гостиную, молился с тем выражением спокойствия и покорности, которое всегда имел во время молитвы. Тайка, ле-

жащая возле него на подушечке, привыкла не уходить, пока священник был там. Когда молебен закончился, дядюшка пригласил священника попить с нами чаю; он говорил о хлебе, об урожае, который ожидался быть хорошим, спросил, когда граф Аракчеев ждет к себе императора и услышал, что это будет 8 или 9 сего месяца. Время пребывания моего кузена Семена у нас проходило очень приятно; он на некоторое время заменял меня в чтении, а в промежутках мы совершали прелестные прогулки. Однажды, это было 4 июля, Семен предложил нам пойти в Дымню<sup>18</sup>. День был прекрасный, и так как все утро он был занят с дядей, то на эту прогулку пришлось послеобеденное время. Мы уже весело тронулись в путь вдоль реки, как вдруг прибежал один из слуг дяди и остановил нас: *«Дядинька вас зовет»*, — сказал он. Мы повернули обратно, сожалея, по правде, что прогулка не состоится, что ее придется отложить. Мы пришли к дяде. *«Куда это вы собрались?»* — спросил он меня. — *«В Дымну, дядинька, брат Семен там не бывал»*. — *«Так и быть, другой раз побывает, а теперь, Семен Васильич, возьми-ка ты книжку, да почитай мне; а вы, мои голубушки, садитесь»*. Мы, с вытянутыми минами, устроились вокруг его стола, и через минуту разразилась страшная гроза с проливным дождем. Он, улыбаясь, проговорил: *«Хорошо же, что я вас вернул; посмотрите, какая погода, вы бы все перемокли, перепростудились, занемогли бы, чего нет, перемерли, может быть, смотрите, от скольких бед я вас избавил»*. Мы от всего сердца смеялись при этом перечислении внезапных несчастий, которые его предусмотрительность отвратила от нас; вечер прошел весело, и закончился этот счастливый и спокойный день.

В среду, 5 июля, дядя, встав, почувствовал себя нехорошо и за завтраком сказал нам, что у него небольшие спазмы

в груди, которые сопровождаются легким жаром: «*Почувствовал я жар и пульс поднялся, вот тут забилося*», — прибавил он, положив себе пальцы на виски. Это очень встревожило тетушку, так как он редко жаловался на такие спазмы, и она тотчас же принялась уговаривать его быстрее ехать в Петербург. «*Э, вздор какой, матушка! К чему ехать в Петербург? Стоит ли того?*» — ответил он ей, принявшись говорить с Семеном и не захотев больше об этом слышать. День прошел спокойно, он был прекрасен, и тетушка, бывшая на крыльце, восхищалась спокойствием реки, корабликами, которые тихо проплывали и почти не волновали поверхность воды. «*Мамичка, поди-ка ты к нам,* — крикнула она ему в гостиную. — *Посмотри, как здесь хорошо*». Он медленно поднялся и побрел было к нам, но, сочтя, что вечер уже поздний и опасаясь охладиться, тотчас же воротился и сел к своему столу. Я осталась на улице, но через окна видела его спокойно сидящим и раскладывающим свой большой пасьянс. Вдруг я заметила перемену во всех его чертах, он потер себе грудь и лег на спину. Тетя быстро прошла в гостиную, чтобы предупредить врача; едва она вышла, как я услышала, что дядя закричал, запрокинул голову, и все черты его выражали самую острую боль. Я подошла к нему, потеряла ему грудь, но он продолжал стонать. Прибежал врач, натер его нашатырным спиртом, положил ему на желудок мешочек отрубей. Мало-помалу боль утихла, и через несколько минут уже не беспокоила его. Он захотел пойти отдохнуть и заснуть ненадолго в своем кабинете. Его страдания, которые мы видели, крики, которые слышали, потрясли нас, и мы долго не могли прийти в себя. Моя тетя очень испугалась. Дядя уснул спокойно, и тетушка побыла еще на крыльце, где были и мы с Семеном. Хорошая погода, как и спокойствие, в котором мы пребывали за какую-то минуту до этого, сменилась огромны-

ми облаками, разразившимися дождем, который заставил нас искать убежища под колоннами крыльца. Беспокойство, которое испытывала моя бедная тетья, оставило на ее лице не свойственный ей отпечаток грусти. *«Какой на нас на всех черной год, — сказала она. — Куда ни обернись, везде горе. Лиза Ганичку<sup>19</sup> схоронила, Нилов в петлю лезет, Бакунины разорены, вот, Боже мой, и у нас горе»*. Она сказала это таким горестным тоном, что слезы потекли невольно. *«Наше горе, тетенька, Бог отвратит»*. — *«Ах, конечно!»* — проговорила она, как будто испугавшись того, что произнесла. — *«Нет, непременно надо его уговорить ехать»*. Мы с Семеном хотели присоединить к этому и наши просьбы, когда дядя проснется, надеясь, что он на это согласится ради спокойствия моей тети. Она вышла посмотреть, не проснулся ли он. Оставшись одна, я не смогла больше сдерживаться и разрыдалась, в то же время пугаясь своих слез, ведь дядя чувствовал себя хорошо и спокойно спал, но моя боль была такой горькой. Нам пришлось сказать, что он проснулся, что чувствует себя хорошо и зовет в свой кабинет, чтобы сыграть партию в бостон. Едва мы собрались, как сразу же принялись уговаривать его покинуть Званку, чтобы поехать проконсультироваться с петербургскими врачами, он твердо решил, что этого не хочет. *«Просто напишу Роману Иванову Симсону<sup>20</sup>, опишу обстоятельно свою болезнь. Завтра Семен Васильевич поедет, сам ему записочку мою свезет, пополнит ее тем, что сам видел, и коль тогда Симсон почтет нужным мне приехать, (в чем однако ж, очень сомневаюсь) тогда и поедет. Что мне делать в Петербурге?»* Опасаясь рассердить его настойчивыми просьбами и доставить ему еще большие страдания, мы замолчали, и бостон начался; он пришел в свою обычную веселость и смеялся над нами, Семеном и мной, что мы вечером

едим так много фруктов. Он шутил в продолжение всей игры, после чего велел позвать Абрамова<sup>21</sup> и продиктовал ему письмо к Симпсону; мы были так успокоены на его счет, что очень смеялись над содержанием письма, в которое он включил весьма обстоятельные детали, сам смеясь этому. Он диктовал, прохаживаясь по кабинету. Затем он высказал предположение, что спазмы могли быть из-за желудка и что он привык каждое лето принимать рвотное средство, которое ему помогало. Теперь он решил принять его за обе щеки. Иногда ему казалось, что причиной спазм был вновь начавшийся геморрой, который время от времени причинял ему страдания. Вечер закончился, мы разошлись веселые и спокойные, особенно таким казался дядюшка; вероятно для того, чтобы придать нам мужества, он утверждал, что после действия рвотного *«он встрепенется молодцом»* на следующее утро.

6 июля Семен уехал. Он имел разрешение пробыть у нас всего лишь несколько дней; тем более он видел, что мы успокоились насчет состояния дяди, который в это же утро принял легкое лекарство, чтобы подготовиться к своему рвотному, и не жаловался ни на какие недомогания. В этот же день после обеда мой кузен показал мне четыре прекрасных стиха, которые заканчивались так:

*Il est grand, il est beau de faire des ingrats*<sup>22</sup>.

В этот момент вошел дядя и, к моему великому удивлению, я услышала, как он наизусть читает эти самые четыре стиха. Я не могла удержаться от улыбки, потому что впервые слышала, что он декламирует французские стихи. Он сказал, что давно их знает<sup>23</sup>. *«Тут очень тонкая философия»*, — он хотел нас поправить в произношении стиха, сказав: *«Il est beau, il est grand de faire des ingrats»*, — полагая, что здесь должна быть рифма. В пятницу, 7 июля, он пришел к общему

завтраку, поел с большим аппетитом, но, вспомнив о своих спазмах, решил принять рвотное на другой день натощак. Тут же он велел мне взять том *«Всемирного путешественника»*; эту книгу я называла *«Вечный путешественник»*, так как мы прибегали к ней всегда, когда не имели другого чтения, и которая очень развлекала моего дядю. Мы добрались до описания Англии, где говорилось о различных обществах, бывших в Лондоне, о нравах и обычаях, о характере нации. *«Ну как же ты можешь этой книги не любить?»* — сказал он мне. — *«Сколько тут любопытного, и у кого память хороша, сколько пользы прочесть ее; но я что прочел, то и забыл, опять за новое читаю»*. Дойдя до места, где говорилось об обществе толстяков, он очень развеселился. Это было братство, в которое принимали только тех, кто с трудом проходил через очень широкую дверь. *«Ну, мой друг, твой любезный Бахтин, конечно, принят был бы в это общество»*. Он назвал его *«мой любезный»* потому, что каждое воскресенье, вопреки общепринятым правилам, я отправлялась взять его под руку, чтобы отвести к обеду, поскольку он жаловался, что его возраст и дородность мешают ему прийти вовремя, чтобы предложить руку мне. Когда наше чтение было закончено, я поднялась к себе, а дядя ушел в свой кабинет. Все наши дни ходили один на другой: час или два чтения утром, потом обед, потом его послеобеденный отдых, потом вновь чтение до бостона, который прерывался ужином, — и день спокойно заканчивался. Часто мой дядюшка завершал его, повторяя свои прекрасные стихи

Блажен, кто поутру проснется  
Так счастливым, как был вчера<sup>24</sup>.

В тот послеобеденный час при моем чтении случилось незначительное событие, которое вызвало во мне какие-то



предчувствия, напомнив об увядшей сирени, о четырех женщинах, убитых возле дома в день нашего приезда. Итак, когда я читала дяде, я несколько раз слышала, как скрипит пол; я не суеверная и не придавала этому звуку никакого значения, но так как он повторяется неоднократно, я вспомнила, что кто-то говорил, что это плохой признак и *значит, что хозяев выживает*. Я сделала вид, что не слышу, и продолжала чтение, повысив голос, но шум опять повторился. «*Слышишь ли, Паша, как пол трещит?*» — сказал он мне. «*Слышу, дядинька*». Я тотчас подыскала (ради собственного и его спокойствия) объяснение этому. Я ему сказала, что этот шум происходит, вероятно, оттого, что бюсты императора и императрицы, которые до этого находились в двух углах комнаты, были переставлены к канапе и что пол, не имея больше тяжести в этом месте, естественно, трещит. Не знаю, был ли этот довод хорош, но мне он показался достаточным, чтобы отогнать любую другую мысль из моей головы и особенно из головы моего дяди, из-за опасения, как бы он не придал этому пустяку какого-нибудь значения. «*Нет, мой друг,* — ответил он мне. — *Это трещит не по углам, а подле самых мраморных столиков, мы сегодня перед обедом слышали все это с Дарьей Алексеевной, она и причину тому искала*», — он не добавил, нашла ли ее.

И наступил тот ужасный день, за которым последовала страшная ночь, навсегда разлучившая нас с моим дядюшкой. Однако начало его было полно счастья и радости. Дядя, поднявшись как всегда рано, принял свое рвотное, которое, произведя наилучше возможный эффект, освободило его от избытка пищи и от этой тяжести и явной слабости, на которые он жаловался накануне. У него не было ни малейших спазм, так что, придя к завтраку, он сказал нам с сияющим видом: «*Ну, слава Богу, мне после рвотного стало гораздо луч-*

*ше*». Обрадованная этим известием, я поспешила сообщить об этом своим сестрам, зная, что они беспокоятся о состоянии здоровья нашего дядюшки. Это письмо должно было уйти назавтра, и это завтра должно было принести такие жестокие изменения в нашу Званку, недавно еще счастливую. Я его переписываю, это письмо, потому что оно говорит о дяде; оно может потеряться, а все, что касается его, становится теперь драгоценным.

«Званка.

*Суббота, 8 июля 1816*

*Полагая, друзья мои, что вы должны быть беспокойны насчет здоровья дядиньки, спешу вас уведомить, что ему теперь лучше; сегодня принял он рвотное, которое сделало ему большую пользу и уменьшило боль в груди».*

В этот момент мне пришли сказать от него, что он зовет меня. «Это чтобы читать», — сказала я Александрине и, взяв мою большую подушку, чтобы поработать после чтения, я спустилась.

Войдя в гостиную, я положила свою работу, взяла «Всемирного путешественника» и хотела читать, но он меня тотчас прервал: «*Совсем не я тебя звал и не для того, чтоб читать, а вот кто изволит тебя спрашивать*», — сказал он, указывая на двух маленьких птичек, которых с месяц тому назад моя тетя взяла из гнезда и которые так освоились, что клевали из моей руки. Стоило мне опуститься на пол, то тотчас же эти проказницы спускались с люстры поклевать хлеба с молоком, который был им приготовлен. Это забавляло моего дядю. «*Давно они уже тебя кликают*, — сказал он мне. — *Смотри, вот они на люстре*». Я взяла их еду

и села на пол так, чтобы он мог меня видеть. Они тотчас же прилетели, он улыбнулся, и, казалось, ему нравилось смотреть на эту сцену; рассеявшиеся птицы взлетели, а он сказал мне со своей обычной лаской: *«Впрочем, мой друг, ежели тебе не скушно, то почитай мне»*. *«Я с удовольствием читать стану, милый дядинька»*, — ответила ему я и сразу же взяла книгу. Тетя, присутствовавшая при этом, поцеловала его несколько раз и ушла заниматься своими делами, я же читала до обеда. У дяди появился аппетит, и он тоже попросил обеда, но врач этому воспротивился, напомнив, что он принял утром рвотное, что желудок нуждается в отдыхе и что обедать должно лишь вечером. Более того, тетя заметила, что, несмотря на все, желудок у него еще жесткий и переполнен, он ей ответил, улыбаясь: *«Это тебе, матушка, кажется»*, — но согласился не обедать, заказав себе хорошую уху на 8 часов вечера. Вскоре после нашего обеда он сказал, что снова немного стали появляться спазмы, из чего заключил, что они происходят не из-за желудка и что он смог бы без риска поесть супа; но доктор опять этому воспротивился. *«Хорошо тебе, братец, — ответил он ему, смеясь, — с полным брюхом мне есть запрещать, мой-то ведь пусть и есть просит»*. Спазмы возникали снова еще несколько раз, но очень легкие, и так как он долго спал утром и не обедал, то остался в гостиной раскладывать свой пасьянс. Поскольку мое письмо не было закончено, я попросила остаться Александрину Кожевникову и, сказав дяде, что вернусь, принялась рассказывать сестрам в письме, что спазмы уменьшились, но, тем не менее, он жалуется на легкое удушье в груди:

*«Теперь, друзья мои, — писала им я, — я беспрестанно с дядинькой, опять всемирной, вечной путешественник засыпляет его, потом бостон целый вечер; хоть и не со-*

*всем весело, но, слава Богу, что дядинька чем-нибудь заняться может, это знак, что ему лучше, а, право, после этой передраги (такой сильный приступ спазм) так тяжело было нам всем, что теперь кажется и весело, и хорошо».*

Было уже около 7 часов вечера, когда я писала это письмо, и оно доказывает, как мы были спокойны. Александрина сказала, что в мое отсутствие тетя принесла особые маленькие булочки, которые она велела испечь к его празднику и которые будут поданы к чаю; они были на масле, и дядя их очень любил. Намереваясь их попробовать, он дотронулся до одной и улыбнулся тете: *«Ну, благодарствуй, матушка, что эти булочки спечь приказала, — сказал он, — в мои именины мы ими будем гостей подчевать; вот добрая, знать, жена, что наперед о мужниных именинах помнит».* *«Мамичка, — сказала она, — эти булочки не для тебя; ты знаешь, как и они тебе вредны».* *«Знаю, ответил он ей, — это для гостей».* В этот момент вошла я, и почти тотчас же князь Шихматов и его зять молодой Тырков приехали к нам. Дядя отдыхал в это время в гостиной на красном сафьяновом диване. Он усадил князя рядом с собой, поговорил с ним о разных вещах и снова попросил есть, но получив в ответ просьбу подождать немного, повернулся к князю: *«Ну посмотри, братец, что за житье? Есть не дают».* Он утверждал, что мы все были в заговоре с тетушкой, чтобы мешать ему есть. *«Помнишь ли, — сказал он мне, — петербургские ерши?» — «Помню, дядинька», — и я рассказала князю, как уезжая на Званку на несколько дней, моя тетя поручила мне заботы по хозяйству, и, особенно, строгое наблюдение за диетой моего дяди. Однажды за завтраком он сказал мне, что дома обедать не будет,*

так как обещал графу Пушкину обедать у него: *«А тебе, чтоб не скучно было, то завезу тебя к Лизе, а вечером приезжай часу в десятом»*, — так мы расстались. И действительно, днем его не было, но, вернувшись домой на час раньше, чем обещал, он тотчас же заказал суп. *«Скажите, чтобы поторопились ерши сварить»*, — сказал он моим кузенам Капнистам, — *«чтоб мы успели поужинать до Пашиного приезда»*. Рыба была тотчас же куплена, сварена и принесена в гостиную. Едва мой дядя сел за стол, как я, словно тень, появилась перед ним. *«Эка злодейка, без себя и поужинать не даст. Я так торопился, а она как сон в руку»*. То, что он намеревался съесть, было слишком безобидно, чтобы повредило его здоровью. Боясь его рассердить и сделать ему еще хуже, я поцеловала ему руку и просила только не есть слишком много. Князь Шихматов и молодой Тырков были еще здесь, когда один из музыкантов принес настрелянную им дичь. Дичи было много, и дядя велел его позвать. *«Спасибо, Андрей, что так много дичины принес. Матушка»*, — сказал он, обращаясь к тете, — *«дай ему пять рублей; да не забудь же, а дичину мы с соседями поделим, прикажи с князем отпустить половину»*. Потом, вспомнив об охотнике, он снова сказал: *«Хорошо, Андрей, что много принес, но экономию надо знать; будет ли у нас дичины к моим именинам, а то всю перестреляешь, а тогда гостей будет много, было бы чем подчивать»*. *«Будет, сударь»*, — ответил он ему, — *«принесу больше того»*, — он его отослал к тетушке за деньгами, которые были ему обещаны. Наши гости покинули нас, и тотчас дядя попросил супа.

Было 8 часов вечера, рвотное произвело хороший эффект, но не избавило полностью от спазм, дядя же хотел нам доказать, что это происходит не из-за желудка, и велел принести

суп. Он нашел его великолепным и, невзирая на наши просьбы, съел две тарелки, в которых размочил много хлеба. Не осмеливаясь прикоснуться к рыбе, но находя ее очень по вкусу, он предложил нам, тете и мне, съесть ее вместо него; мы предпочли чай, который и был нам подан. Едва он съел последнюю ложку супа, как сильная дрожь охватила его, ногти у него почернели, и тетя, испугавшись, побежала уведомить доктора; тот пришел, попытался нас успокоить, сказав дяде, что принесет ему шалфей с какими-то каплями, что это заставит его пропотеть, советуя ему, тем не менее, лечь в постель, чтобы облегчить дыхание. Выходя, он сказал горничной, которая прислуживала за чаем, что этот внезапный приступ жара тотчас же после обеда очень его напугал. Мы об этом тогда ничего не знали, и дядя, несмотря на озноб, сохранял обычную шутливость. Он был еще в гостиной, когда врач пошел готовить шалфей; принесли чай. Горячо желая видеть его избавленным от боли, я обратилась к тете и спросила ее по-французски, не добавить ли в чай чуточку рому, чтобы немного согреть дядю; ром стоял тут же на столе, но дядя употреблял его очень редко. Я спросила это по-французски, чтобы дядя меня не понял; если бы тетюшка нашла в этом что-нибудь вредное и это бы пришлось ей не по вкусу, я бы очень упрекала себя в своей бестактности. Тетя, приблизившись, сказала: *«Мамичка, вот Паша вздумала, не лучше ли тебе выпить чаю с ромом, чтоб скорее согреться, вот и чай стоит»*. *«Пожалуй»*, — ответил он ей, но тут вошел доктор и категорически этому воспротивился, сказав, что шалфей будет более эффективным, и сам побежал за ним. Дядя улыбнулся: *«Как всякой человек самолюбив, — сказал он нам. — Всякой думает, что свой совет лучше. Паша, вить тебе очень хочется, чтоб я выпил чаю с ромом, да и я на то согласен, оно скорее, а мой эскулап*

*и слышать об этом не хочет оттого только, что не он, а ты это предложила». «Я это для того предложила, милый дядинька, чтоб скорее согреться вы могли», — сказала я, целуя его в плечо, но его озноб все возрастал. Была уже половина десятого, он решил пойти лечь, вошел в свой кабинет, чтобы прочесть там вечерние молитвы, и, пройдя в спальню, лег в постель. Тетя вернулась, так как мы все собрались в столовой, и успокоила нас, сказав, что озноб уменьшился. Ужин был подан, и, уже успокоившись немного, тетя велела нам садиться за стол, но сама она не хотела есть и решила вернуться к дяде. А мы, поужинав, прошли в диванную, которая отделена от спальни лишь маленькой дверью. Александрина Дьякова, видя, что мы только втроем, более не опасалась высказать свое мнение о беспокойстве, которое испытывала тетя при малейшем недомогании моего дяди, которое в его возрасте может стать смертельным. Я восприняла это с грустью, говоря, что у нее всегда черные мысли и что она так холодно говорит о смерти. «Милая, — сказала я, — когда очень любишь человека, то чем он старше, тем больше опасаясь не только говорить о смерти, а даже о ней думать». «Ну, по-моему, — возразила она, — это пустяки, из-за этого не умирают». Мы еще разговаривали, когда я услышала стоны. «Снова начались спазмы», — сказала я своим кузинам и вне себя побежала к спальне и со страхом вошла туда. В это мгновение я увидела тетю, выходящую с искаженным лицом. «У него тоска неносная, — сказала она, — он бредит», — она принялась ходить, ломая себе руки. Войдя в спальню, я подошла к дяде; он был в сознании, но очень жаловался: «Ох, тяжело, ох, тошно, Господи, помоги мне, Господи, помоги мне, грешному... не знал, что будет так тяжело. — Так надо... Господи, помилуй меня, прости меня». Вот что я услышала. Эти слова разрывали*

мне сердце. *«Так надо!.. так надо, — снова и снова повторял он, — не слушал»*, — разумея, вероятно, суп, которого тетя просила есть поменьше<sup>25</sup>. Его жестокие спазмы возобновились сильнее, чем всегда, он метался в кровати, стонал, ломал от боли руки. Напрасно ему прикладывали горячие полотенца, натирали его спиртом, ничто не помогало. Врач думал, что горчичник, поставленный на область желудка, снимет боль или, по меньшей мере, отвлечет от нее; ему поставили один, он успокоился, на какое-то время его кроткое расположение духа возвратилось. *«Вы отужинали?»* — спросил он, увидев меня возле кровати. *«Отужинали, бесценной дядинька»*, — ответила я. *«Больно мне, что вас всех так взбудоражил, без меня давно бы вы спали»*. Я побежала к тете сказать, что он успокоился, так как у нее не было больше сил его видеть. Она вошла и, приблизившись к нему, умоляла не откладывать больше отъезд и разрешить все подготовить к завтрашнему утру. *«Зачем мне ехать?»* — ответил он ей. — *«Бог даст, все пройдет»*. *«Нет, мамичка, для моего спокойствия поедем»*. — *«Ну, пожалуй, коль непременно ты хочешь, и что мне лучше не будет, то завтра поедем»*. Довольная тем, что он согласился на отъезд, тетя вышла сделать наспех необходимые распоряжения; мы должны были ехать на другой день рано утром. Я же, оставшись в комнате, слышала, как доктор у него спросил, произвела ли горчица свое действие. *«Уж не только щиплет, — ответил он, улыбаясь, — а просто кожу дерет, но я этой боли рад супротив той-то. Слава Богу, теперь отдало»*. При этих словах радость появилась на всех лицах, но, увы, она была недолгой. Опять наступил ужасный момент. Он снова начал жаловаться, метаться на кровати от приступа спазм, которые возобновились с такими сильными болями в сердце, что, казалось, они его задушат, и только



рвотное могло его от них избавить. *«Ох тяжело, ох тошно, — закричал он снова. — ...Господи, помоги мне»*. Затем обратился к Максиму Федоровичу<sup>26</sup>: *«Дайте что-нибудь, чтоб меня стошнило, меня только тянет, а поднять не может. Ох, тяжело! прости мне, Господи»*. Эти слова смешивались с такими глубокими стонами, что они разрывали сердце. Ему дали ромашку в надежде, что она поможет вытошнить пищу, которую его желудок не мог переварить. Он выпил несколько чашек, но они только усилили его муки и жестокие судороги, терзавшие его. Видя столь тяжкие страдания того, кто был нам так дорог, и не имея возможности избавить его от них, я, со сжавшимся сердцем, выбежала и бросилась на колени перед маленькой иконой, которую видела в гостиной. Там, одна перед Богом, я больше не пыталась сдерживаться и разразилась потоками слез. *«Помоги ему! исцели его, Господи!»* — вот что могла я произнести с глубокой болью. Но молитвы не успокоили меня; я поднялась такой же безутешной, какой и была. Я не почувствовала никакого облегчения, которое поддержало бы меня в моем горе надеждой, что мои молитвы будут услышаны. Я побежала к моей бедной тетушке, от нее к дяде и нашла его в том же состоянии; его сердечные боли не стали слабее, а стоны не стали менее ужасными. Доктор потерял голову. *«Не дать ли ему еще одну ложку рвотного?»* — спросил он меня. Это средство, казалось, могло оказать помощь. Я побежала к тете, так как доктор не хотел ничего предпринимать без ее согласия, объяснила ей состояние дядюшки. Она решилась на ложку рвотного. *«Дать ложку»*, — сказала я, входя. — *Тетинька приказала*. *«Боюсь я, сударыня»*, — сказал доктор, набирая ложку. *«Чего вы боитесь?»* — спросила его я, не подозревая даже, чего он опасался. Мысль о смерти была так далека от меня, и желание ему помочь было един-

ственным чувством моего сердца. Принятое рвотное быстро произвело свое действие, и он вытошнил весь хлеб, который съел с супом и который его желудок не мог переварить; я побежала сообщить об этом тете, она выслушала меня с минутным удовольствием. «*Нет*, — ответила она, — *все еще желудок у него полон*». Вернувшись в спальню, я села справа от его кровати, откуда могла его видеть; хотя я была несколько в отдалении, он меня заметил. «*Это она*», — сказал он, обращаясь к своему камердинеру. «*Прасковья Николаевна*», — ответил Кондратий. Я подошла к нему, он протянул руку. «*Тяжело мне было, очень тяжело*, — сказал он мне, — *но теперь, слава Богу, легче*». Он пожал мне руку, я поцеловала его ладонь, повторяя за ним: «*Слава Богу*». Его вытошнило еще, почти без усилий; он велел Александрине Дьяковой показать тазик тете, которая вышла из комнаты, чтобы успокоить ее. «*Который час?*» — спросил он меня. «*Второго половина*», — ответила я. Доктор посоветовал ему повернуться, чтобы его могло легче вытошнить, поскольку он лежал на правом боку, а тазик находился слева. Он поворачивается, наклоняет голову и начинает тотчас же хрипеть. «*Боже мой, что это такое?*» — вскрикнула испуганная Александрина. «*Это обморок*, — ответила я ей, — *не шуми, это пройдет*». Я была твердо убеждена в этом, вспомнив, что когда-то похожий обморок случился с моей няней; она хрипела, потеряла сознание, но, придя в себя, выздоровела. Воспоминание придало мне силы, которые, казалось, были уже все потеряны. Я сказала доктору, не дать ли ему подышать какой-нибудь соли, потереть виски, будучи твердо убеждена, что он придет в себя. Он перестал хрипеть и наступила тишина. Все казались озадаченными. «*Дышит ли он еще?*» — спросила Александрина. «*Очень надеюсь, что дышит*, — ответила я нетерпеливо, — *я говорю*

тебе, это обморок, он слишком слаб, чтобы перенести такие судороги». Александрине стало плохо, я отвела ее в кабинет тети, заставила лечь и тотчас же вернулась. Стояла пугающая тишина. *«Господи, Боже мой, дай мне услышать его вздох»*, — сказала я про себя, глядя на икону Богородицы, которая была в комнате, и, не смея дышать, прислушалась к тишине. Он приподнялся немного и испустил глубокий и долгий вздох, я перекрестилась с чувством признательности и в надежде увидеть, что он откроет глаза. Больше я ничего не слышала. Лица врача и камердинера изменились от испуга, и в ужасе, я заподозрила, уж не последнее ли дыхание его я слышала. *«Дышит ли он?»* — вскрикнула я. Никакого ответа. Я повторяла свой вопрос, но им не хватало мужества ответить мне. *«Ради Бога, ответьте мне»*, — просила я доктора. *«Посмотрите сами»*, — ответил он, подавая мне руку дяди, чтобы я пощупала его пульс. Я взяла ее, эту дорогую руку, я поцеловала ее, она была еще теплой, но биение пульса прекратилось. Я прикоснулась губами к его губам и не почувствовала дыхания. Какой момент! Господи! Я окаменела, все чувства, казалось, исчезли; я смотрела поочередно то на дядю, то на тех, кто его окружал, видела их боль, но она была мне совершенно непонятной. *«Тетинька вас зовет, — сказала мне женщина, вбегая в комнату — она беспокоится, что давно к ней не приходили»*. Эти немногие слова привели меня в себя. Что я ей скажу? Когда я предположила, что дядя в обмороке, то задержалась пойти к ней, опасаясь ее напугать; он придет в себя, думала я, и тогда пойду к тетушке; а теперь какой удар я ей нанесу. Я застыла на месте, потом подошла к дядиной постели, как бы спрашивая у него, что делать. *«Сударыня!»* — закричали мне несколько женщин. — *«Ради Бога, подите к тетиньке»*. Я побежала. *«Ему дурно?»* — вскрикнула она вне себя, едва меня увидев.

«*Нехорош он, тетинька*, — говорю я ей, с трудом находя слова. — «*Он слаб, он очень слаб*», — повторяет она, глядя мне в глаза. — «*Слаб, тетинька*». Это слово, произнесенное мною, казалось, ее поразило. «*Слаб*», повторяет она, глядя на меня пристально. — «*Его на свете нет! Господи, он скончался, приобщиться не успел!*» — и в отчаянии, которое невозможно передать, она принялась в возбуждении ходить по комнате, повторяя: «*Кончено! Все кончено! Мамочка, друг мой, ты меня бросил!*» Она ломала руки, испуская протяжные стоны. Страдание лишило меня речи. Я видела ее, эту несчастную женщину на грани отчаяния, и ни слова, ни слова утешения; неподвижно стоя перед ней, я могла только следить за ней взглядом. Вдруг она меня заметила: «*Паша, друг мой, ты опять осиротела, Паша*, — сказала она душераздирающим голосом. — *Но ты меня не бросишь*». Я подошла к ней и стала целовать ей руки. «*Кончено, кончено*, — повторяла она, — *Он нас бросил*». В этот момент, движимая чувством, которое мне так знакомо, вбежала Александрина Кожевникова и, увидев тетю, которая обнимала меня, говоря: «*Его уж нет*», бросилась на колени перед ней, крича: «*Он жив, тетинька, он здоров будет!*» «*Господи, что она говорит?!*» — воскликнула тетя вне себя. Ничего не понимая, я подняла ее и вытолкнула из кабинета. «*Александрина, что ты говоришь?* — сказала я ей. — Она все знает, и ты ее только мучаешь». Испуганная своим безрассудством, она убежала. Люди подали мне знак подойти, так как им надо было со мной поговорить. Едва я вышла из кабинета, они меня окружили: «*Сударыня, извольте всем располагать, уж тетушке не до того. В чем прикажете его положить? Сейчас обмывать станем*». «*Господи, погодите!*» — с нетерпением ответила им я. — «*Нет, нельзя, сударыня, пока не остыл*». Дрожь охватила меня,

с разрывающимся сердцем я отдала несколько необходимых распоряжений. Я вернулась в эту скорбную комнату, где недавно я еще имела надежду. Какая ужасная перемена! Шум, гам, рыдания, множество людей, говорящих одновременно, открытые окна, стол посередине комнаты, а он!.. Он лежит на своей постели и, казалось, спит глубоким и мирным сном. Его лицо сохранило ангельское спокойствие; никакого следа страдания, никакого волнения в чертах, он спал и видел приятные сны. Люди повторяли, что его надо одевать. Я с трудом заставила себя выйти из комнаты. Я отправила срочное сообщение в Петербург, написав Семену, чтобы он приехал. Чего мне стоило писать это ему, — дрожащей рукой, отказывающейся начертать роковые слова «его больше нет». Вскоре приехали молодой Тырков и князь Шихматов. Я видела их накануне вечером; они оставили нас спокойными и счастливыми, и в одно мгновение все изменилось. Я вернулась к тете, она доверила мне свои ключи и велела управлять всем. Пришли меня уведомить, что прибыл священник. Я снова вошла в спальню и увидела, что дядя уже лежит на столе, со скрещенными руками, иконка около него и свечи вокруг. Обратившись к священнику, я попросила его отдать последний долг. Он принялся читать молитвы по усопшему. Сколько различных чувств переполняло мое сердце! Этот гроб, эта смерть, которая унесла от нас того, кто был нам так дорог; мысль, что эта ангельская душа ушла к своему Создателю и оставила нам бездыханное тело, которое земля скоро забрет от нас; отчаяние всех, кто меня окружал, моя боль при мысли, что я больше не увижу того, кто заменил мне отца, у которого я жила с тринадцати лет и который любил меня, как родную дочь. Не видеть его больше казалось мне невозможным; никогда прежде я не задумывалась об этом; и теперь — он лежит без движения, с начавшими заостряться

чертами, и ледяной холод сковывает все его члены. Я подошла к нему, поцеловала лоб, скрещенные руки. В отчаянии бросилась я на колени, моля Бога то за него, то за мою несчастную тетушку. Иногда мне казалось, что его душа еще здесь. Тогда я просила его послать мне благословение, его последнее благословение. Я не могла дольше оставаться в этой комнате и не плакать. Я чувствовала, что задыхаюсь; тогда я открыла двери гостиной, которые выходят в сад, и стала бродить по горе. Прошло три часа. Солнце всходило во всей своей красе. Ни облачка не было на небе, глубокий покой был в природе, легкий туман еще покрывал равнины. Волхов, казалось, остановился в своем течении и отражал в волнах окружающие пейзажи; со всех сторон слышалось пение птиц. Но я была далека от того, чтобы радоваться этому зрелищу, оно причиняло мне боль. Я желала, чтобы солнце спряталось, чтобы птицы замолкли, чтобы все отвечало моей боли. Но звезда, приносящая свет на землю, и освещающая то благоденствие, то страдания человека в его переменчивой судьбе, продолжала спокойно свой обычный путь. Я заметила тетушку у окна и пошла к ней. Она прошла в кабинет дяди, я последовала за ней. Все там, казалось, еще дышит его присутствием: свечка, которую он зажег сам, еще горела, раскрытый молитвенник указывал ту страницу, где он остановил чтение и не закончил, одежда, которую он скинул, его аспидная доска<sup>27</sup>, на которой в прошлый четверг, 6 июля, он начал оду о быстротечности времени. Первая строфа была видна еще; он сам читал ее моему кузену Семену Капнисту. Далее следовали два стиха второй строфы, которую смерть помешала ему кончить. Все эти предметы, связанные с воспоминаниями, только терзали сердце. Я предложила тете выйти из этой комнаты и подняться в ту, которую я приготовила ей наверху. *«Нет, нет, мой друг, — сказала она с презмер-*

ной болью, — *здесь все его, я отсюда не выйду. Мамичка, друг мой, ты со мною, ах, конечно, конечно, ты со мною*». Она снова принялась в волнении ходить по комнате. Иногда, когда прилив ее боли утихал, ей казалось, что она видит его, слышит, будто он говорит ей, чтобы она не терзала себя. Тогда, забывая все и занятая единственно им, она пыталась удержать рыдания. *«Не стану, не стану, мой друг, ты не велишь»*, — повторяла она многократно, ища в себе силы ему повиноваться. То она казалась полностью сосредоточенной, закрывала глаза, произносила прерывистые слова, словно она, беседуя с ним, все время обещала ему успокоиться. Я повторила свою просьбу подняться, прежде чем тело перенесут в столовую. По-видимому, она поняла меня и вышла из кабинета.

Вернувшись к дяде, я попросила священника остаться у нас, чтобы отслужить панихиду вечером и на другой день рано утром. Этот добрый старик, горько оплакивая с нами смерть того, кто был нам так дорог, вынужден был, тем не менее, мне отказать. «Император в Грузино, — сказал он, — завтра в семь часов утра он поедет мимо моей церкви, может быть, пожалует туда, и это обязывает меня его там ждать». Я вспомнила тогда разговор моего дяди с этим священником о точном прибытии императора, о дате, о которой он спрашивал, ответ, который он получил, и, сравнивая то наше состояние счастья и спокойствия с нашим нынешним отчаянием, принялась горько плакать. Тело было перенесено в зал. Не было самого необходимого для торжественной погребальной церемонии. Я покрыла гроб простой кисеей, чтобы защитить его от мух, так как ни в одной из близлежащих церквей не нашли покрова. «А что, — спросил Тырков, — если государь, который будет всего лишь в пяти верстах отсюда, узнав о кончине Гаврилы Романовича, придет сюда?»

Как вы примете его?». Безразличная ко всему в своей глубокой скорби, я слушала, не слыша. Он повторил, что император очень уважал моего дядю, чтобы не пожелать приехать проститься с ним. «Он не приедет, — сказала я ему, — я в этом уверена; впрочем, приедет или нет, все равно». Затем, подумав об этой бедности, так мало соответствующей положению и состоянию моего дяди, которая и заставила так говорить молодого Тыркова, я от всего сердца пожелала, чтобы император проехал мимо. Это он и сделал. Священник вернулся в восемь часов. Император, остановившись возле его церкви, вошел туда, чтобы приложиться к кресту, много говорил со священником и, казалось, совсем не знал о смерти моего дяди. Было похоже, что граф Аракчеев, радуясь, что заполучил императора к себе, не захотел смущать его удовольствия такой новостью, а, возможно, и сам он не знал о ней. Господин Кожевников спросил меня, отметила ли я все необходимое для похорон в письме, которое я отправила в Петербург. Какая просьба! Прошло слишком мало времени, как он нас покинул, и, ошеломленная этим несчастьем, я с трудом еще в него верила. Поэтому я ответила «нет», полагая, у них у всех должно быть больше рассудительности, чем у меня в эту горькую минуту.

Александр и Семен приехали в понедельник, 10 июля; они ничего не привезли, и тело начало уже портиться из-за сильной жары. Все это время, находясь с людьми на заупокойных молитвах, я с болью видела, что жестокая смерть уносит потихоньку дядю и делает его непохожим на себя; зеленые пятна проступили на его лице, сильный запах чувствовался во всех комнатах и поднимался вверх, в комнату, где находилась несчастная тетя. Я попросила брата тотчас же поехать в Новгород, сделать там все необходимые покупки и быстро



мне их переслать, тем более что тетя выразила желание похоронить прах дяди в монастыре святого Варлаама Хутынского, который расположен на берегу Волхова в одиннадцати верстах от Новгорода. Местоположение монастыря очень нравилось моему дяде, и он там часто бывал у Евгения, когда тот был новгородским архиепископом. Брат мой поехал просить разрешения выбрать место и уладить все, чтобы отвезти тело. Между тем дворовые слуги, видя, что нет больше власти над ними, позволяли себе разные беспорядки. Рассылаемые туда и сюда по разным надобностям, эти несчастные возвращались с бочонками водки и пьяные; в таком состоянии они являлись спрашивать приказаний. Никогда не забуду тяжелого впечатления, которое я испытала ночью того 10 июля. Чтобы остановить всеобщий беспорядок среди мужчин и даже среди женщин, которые в отчаянии все напивались, а потом ссорились в передних, я, не имея никого себе в помощь, силой заставила себя взять ключи от дома, как это делала моя тетя. Ко мне обращались со всем, в чем была нужда. Может быть, к своему счастью я возложила на себя эту обязанность, так как это заставляло меня ходить от одного места к другому, невольно занимаясь мелкими заботами. Я чувствовала себя плохо от ужасного жара, который изводил все мое существо; со времени нашего несчастья я ни на мгновение не смыкала глаз. Мое возбуждение было таким сильным, что я не могла оставаться на месте и ходила без усталости. Десятого тетя настоятельно попросила меня лечь: *«Она с ног валится и этого не чувствует»*, — говорила она. Я повиновалась, но в три часа ночи меня позвали. *«Сударыня, — сказал Савка, едва держась на ногах, — извольте пожаловать еще водки, у пономаря в горле пересохло»*. Я спустилась по лестнице, и как сжалось мое сердце, когда я услышала с одной стороны пение псалмов над телом моего дяди, а с другой стороны, во

дворе — песни и пляски беспутной прислуги. Этот ужасный контраст, эта смесь безудержного веселья и самого глубокого отчаяния заставили меня испытать чувства, которые я никогда в жизни не забуду.

Я заставила их замолчать, этих несчастных! — и почувствовала себя так плохо, что, выдавая водку, которую просил у меня пьяный слуга, упала бы, если б он же не поддержал меня. С какими разными чувствами боролось мое сердце. Черты моего дяди, которые все больше искажались, представляли картину смерти. Боль от потери его, тревога за мою бедную тетю, этот всеобщий беспорядок во всем доме, эти пьяницы, которые отказывались повиноваться и часто поговаривали о воле, все эти похоронные приготовления, которым я отдавалась целиком, как бы торопя момент, который унесет от нас его тело; чувство, которое было подавлено грустным напоминанием, что вскоре на земле ничего от него не останется, — от всех этих тяжелых чувств, овладевавших мною, меня бросало то в дрожь, то в жар, когда лицо горело, а губы пылали. Я чувствовала, что мысли мои путаются, все мне казалось страшным сном, но стоны моей тети, рыдания, раздававшиеся со всех сторон, приводили меня в себя и доказывали, что наша потеря была реальной. Как несчастье увеличивает опыт! Как ясно я почувствовала тогда, что вся жизнь должна быть только непрерывной подготовкой к переходу в лучший мир! Я почувствовала тогда благодарность за бесконечное милосердие, которым Бог нас защищает от страстной привязанности к мирским предметам, потому что удел человека расстаться с ними рано или поздно, и чем сильнее связи, тем труднее их разорвать.

О! Как все мне стало безразлично. У меня была единственная мысль, мысль о смерти, которая в одно мгновение отделяет душу от тела и бросает одно на добычу червям, а другую поднимает и представляет перед судьей и Богом. Ужасный момент,

говорит Франсуа Сале, который и решает все испокон веков. Никогда такой рой мыслей не утомлял меня, никогда я не видела, как умирает человек, и это был мой дядюшка, мой второй отец, который подверг меня такому жестокому испытанию.

11 июля все было доставлено из Новгорода, и было решено, что этой же ночью отвезут тело. Я сошла вниз, чтобы послушать последнюю литургию, тело было уже в гробу, несколько священников окружили его и начали тихо петь «Вечную память». Комната наполнилась рыданиями. Став на колени, я повторяла про себя: *«Вечная память и в сердцах наших, милый дядинька»*. Сколько сирот, таких, как я, которым он заменил отца, будут благословлять всегда его память, сколько лиц, несправедливо гонимых и нашедших в нем защитника, будут молиться за эту ангельскую душу! Какое стремление, какое нетерпение даже делать добро. Какая молодая энергия, когда речь шла о помощи ближнему, и как любое промедление тогда становилось для него непереносимым.

Утешительной мыслью было то, то мы больше оплакиваем себя, для него же мгновение смерти стало его триумфом. Мы горевали, тогда как он наслаждался воздаянием за каждый из его добрых поступков, о которых я говорила, за каждое утешительное слово, которое он произнес. Какое благодное удивление для него, что эта бесконечность добра, которое он делал, всегда им забывалась. Я хотела последовать за траурной процессией до лодки, на которой должны были доставить тело в Хутынский монастырь, но мне сказали, что тетушка тревожится обо мне. Я поспешила ее успокоить, хотя внутренне чувствовала себя очень плохо. Сильный жар и мое бесконечное волнение заставляли Александрину опасаться, что это начало лихорадки. Она упросила меня принять винный камень и пообещать, что я останусь с тетей, страдание которой

стало непомерным; ее сердце, казалось, предчувствовало, что должно было произойти. *«Его скоро увезут, — говорила она прерывисто. — Мамичка, друг мой, нас навсегда разлучают. Нет, моя душа, нет, ты со мною»*. И потом она принималась говорить тихо, как бы в бреду, отдельные слова, которые разрывали сердце.

О! Как состояние вдовы ужасно! Какое страшное одиночество в целом мире, когда теряешь существо, которое составляло все его очарование.

Я была рядом с тетей и с сожалением решила не сопровождать дядю, но пойти ненадолго, чтобы сказать ему последнее прости. Мой кузен Семен Капнист пошел со мной. Бог мой! Какая жестокая минута! Прикасясь губами ко лбу, который я тысячи раз целовала, я не чувствовала распространявшегося сильного запаха; я словно забыла, что это всего лишь мертвое тело, которое совсем не было моим дядею. Единственная мысль занимала меня, мысль, что от него не останется больше ничего на земле, и что это — мой последний поцелуй, мой последний взгляд на него. Я была слишком взволнована, чтобы сразу вернуться к тете; я прошла в свою комнату, где могла без свидетелей предаться своему горю. Размышляя тогда о том, что с нами произошло и проливая горькие слезы, я благодарила Бога за мужество, которое он мне придал. В самом деле, если бы за пять минут до нашего несчастья мне сказали, что оно нас постигнет, и в этот ужасный момент я увидела бы, как обрушиваются на меня эти горести, то одна мысль об этом заставила бы меня содрогнуться, ибо я никогда не думала о том, что могу его потерять. И теперь, видя, как я управляюсь со всем, входя в мельчайшие обстоятельства, могли бы сказать, что речь идет о похоронах совершенно постороннего мне человека. Удивляясь этой сверхъестественной силе, которую Бог в меня вселил,

я часто спрашивала себя, действительно ли это был мой дядя, которого я видела лежащим на столе и была ли это я сама, так его любившая. Это размышление возвращало мне всю мою боль, и я ломала себе руки, затем вновь утвердившись в этой странной силе, принималась за все те заботы, которые требовались от меня.

Была полночь, когда я вернулась к тетушке. Она была тогда в угловой комнате, что находится над диванной. Опасаясь, чтобы она не заметила из окна, как будут переносить гроб на лодку, я предложила ей пройти во внутренние покои; она ушла туда и скоро легла в постель. Мои кухни и я остались в угловой комнате. Царило долгое и тягостное молчание. Но как мы были потрясены, когда услышали погребальное пение. Выносили гроб, и молитвы пелись вполголоса, но они больше походили на стоны, и их, пожалуй, не было бы слышно, если бы в комнате разговаривали. Я поспешила закрыть все двери и в тот момент, когда была в комнате, выходящей во двор, увидела толпу людей, которая несла на головах гроб и медленно спускалась с горы. Какой торжественный вид! Ночь, такая спокойная, но такая сумрачная, позволяла видеть предметы лишь при свете фонарей; только гроб различался отчетливо, обрамленный широкими серебряными галунами, но постепенно и он исчезал из глаз. Подобно тому, подумала я про себя, как страсти, которые по очереди играют нами, не оставляют нас до самой смерти. Я долго следила глазами за гробом, потом, когда он исчез, заплакала.

Мой брат Александр вернулся лишь в четверг, 13 июля, в день именин моего дяди. Он рассказал, что погребение прошло накануне с такой торжественностью и таким порядком, каких он и не ожидал. Офицеры конно-егерского полка, в котором служил мой брат, пожелали сами нести гроб до церкви. Скучный Новгород, где обыкновенно ничего нельзя най-

ти, снабдил нас по этому случаю всем, что было нужно, и благодаря помощи доброй госпожи Е. И. Путятиной все было устроено вполне прилично. Архиепископ отслужил сам. Место было хорошо выбрано. Горе было таким глубоким, что можно сказать, будто многочисленные дети хоронили своего отца. Меня уверили, что по обычаю необходимо после такой печальной церемонии делать поминки для всех местных священников и для бедных. Я выбрала тринадцатое число этого месяца. Надо было распорядиться накормить более 500 человек, и приготовления были долгими. В день прибытия Александра вся толпа собралась на большой поляне справа от дома, у подножия горы. Это было там, где мы всегда устраивали праздники для крестьян, а теперь священники пели здесь молитвы по усопшему. Потом все принялись за еду, как в дни увеселений. Вот гости, которых обещал нам мой дядюшка! Вот какие песни были у нас в день его праздника! Он беспокоился, хватит ли дичи для гостей, благодарил тетушку за булочки, которые она велела приготовить, и обещал их не трогать... Тяжкие воспоминания! Но, однако, говорить о нем, о ком мы сожалеем и будем сожалеть, постоянно думать о нем, просить за него — это единственные утешения, которые нам остались.

Приближался конец шестинедельного срока, и тетушка решила провести его в монастыре. 15 августа мы покинули Званку, отправившись по воде. Сначала к госпоже Кожевниковой, а шестнадцатого к семи часам вечера мы увидели монастырь, поднимавшийся на высокой горе, и купола которого были еще освещены лучами заходящего солнца. Архиепископ, предупрежденный о приезде нашей тети, приказал звонить к вечерней службе, как только заметил нашу лодку, предполагая, что тетя сразу же зайдет в церковь. Звук колоколов, вид монастыря, спокойствие природы, солнце, исчезающее из виду, сразу вызвали тысячи воспоминаний о моем

дяде, и не в силах больше удерживать слезы, которые душили меня, я встала так, чтобы никто меня не видел, а видел только монастырь, к которому мы медленно приближались. Как прекрасна эта вера, которая в самом глубоком нашем страдании обещает нам неизбежное соединение с тем, кого мы оплакиваем, которая убеждает нас, что скорбь и слезы, которые он оставил после себя на земле, дают ему право на блаженное и вечное счастье.

На следующее утро моя тетя пошла на службу, после которой была панихида по дяде. Я очень опасалась за нее, но Бог ее укрепил. Стоя на коленях рядом со мной, она молилась с таким жаром, что, казалось, обо всем забыла, слезы ее не переставали литься; скоро при имени *болярина Гавриила* вся церковь наполнилась рыданиями, казалось, все оплакивали отца. Все молились за эту душу, такую дорогую, которая теперь наслаждалась вечным блаженством. Когда служба и панихида окончились, моя тетя несколько успокоилась в своей горести и захотела даже принять участие в наших разговорах. Но время от времени казалось, что она нас не слышит и замыкается в себе. Было два часа, мой брат приказал подавать обед, и в тот момент, когда мы готовились есть суп, тетя начала говорить, как если бы она не могла больше это держать в себе и желает с нами поделиться. Прерывающимся от слез голосом она рассказала нам следующее: *«Представьте себе, что случилось со мною во время молитвы моей. Я молилась за него и стояла подле тебя, Паша, на коленях, и очень плакала. Вдруг мне показалось, что уже вас никого тут нет и наместо иконостаса, пред которым прежде мы все стояли, вижу я Христа одного. Не знаю, он ли сам, или изображение его, но только стоим мы двое с мамичкой перед ним. Мамичка стоял по правую руку, лицо такое спокойное,*

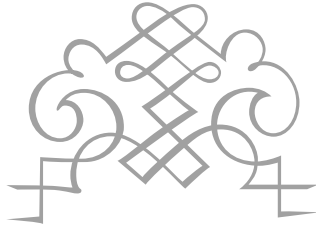
но бледное, голова нагнувшаяся, со сложенными на груди руками, как бы во время молитвы, во всех его чертах видна была какая-то необыкновенная покорность, но вместе с тем и спокойствие, он точно стоял как бы перед своим судьей. Я же на коленях по левую его руку молюсь за него, плачу, чувствую, что это он, что я его люблю, но совсем уже не прежнюю мою привязанностью. Люблю его каким-то духовным чувством, которого я описать не могу. Оно так было сильно, что среди слез моих я в себе сказала: „Господи, как мне тебя поблагодарить, ты меня с ним духом соединил“. Вот что я видела», — сказала она, и, не в силах сдержать рыдания, закрыла лицо платком.

Это утешительное видение, эти слезы, которые она пролила с такой нежностью, открыли нам божественное милосердие, позволившее ей увидеть еще раз того, кто был ей так дорог. Мы подумали, что это было то мгновение, когда душа, отделившись от тела, через 40 дней улетает и предстает перед своим судьей. Этот торжественный момент, который наша религия определяет как Сорокоуст, так соответствует тому, что тетя рассказала нам об увиденном, что всем нам показалось это отражением реальности. Может быть, в тот самый момент, когда тетя молилась за него с такими слезами, он стоял перед своим Богом и судьей с тем спокойствием и с тем совершенным повиновением, которые она увидела при его явлении. *«Какое величие я чувствовала! — продолжала она. — Как все земное казалось мне ничтожным! И вдруг все исчезло!»* Она была так поглощена тем, что говорила, что невозможно было слушать ее без слез; обед был забыт, унесен, никто из нас не осмелился к нему прикоснуться. Тетя, казалось, передала всем нам чувство, которое она сама испытывала. Мы говорили о дяде, вместе плакали, но в то же вре-



*П. Н. Львова*

мя благодарили Бога, который послал истинное утешение моей бедной тетушке, обещая ей в будущем союз с моим дядей, и дал почувствовать величие, великолепие и счастье Вечного царствия, которое их ждет. Время от времени тетя пыталась вновь заговорить об этом видении и всякий раз вынуждена была остановиться, задохнувшись от рыданий. Она сохранила в своем сердце яркий и утешительный образ, который воистину помог ей переносить ее горе.





Э. И. СТОГОВ

## Из «Очерков, рассказов и воспоминаний»

Я племянник Анны Петровны Буниной — десятая муза, и бывал на беседах русского слова у Державина, помню его экспромт. В зале, в два света, неширокое место отведено колоннам; в этом отделении длинный стол, несколько литераторов за столом с тетрадами; большое зало унизано около стен дамами. Вышел Державин через маленькую дверь прямо к председательскому креслу, в собольем опашне, в собольей высокой татарской шапке; по левую его руку сидел граф Д. Хвостов. Говорят, тогда Державин переводил Пиндара. Хвостов скрипучим голосом к Державину, который сел полуоборотом к нему:

— Пиндар Романович!

Державин не обернулся.

Хвостов повторил: «Пиндар Романович!»

Державин, не оборачиваясь, нараспев сказал: «Хвосты есть у лисиц, хвосты есть у волков, хвосты есть у кнутов — так берегись Хвостов!»<sup>1</sup> По большой зале прошел шепот, и одна из присутствовавших записала изречение маститого поэта.



С. В. СКАЛОН (КАПНИСТ)

## Из «Воспоминаний»

**Гл. 3 [ <...> — Троицын день в Обуховке. — <...>  
Встреча Г. Р. Державина с Д. П. Трощинским. — <...> ]**

Между братьями Николаем Васильевичем, Петром Васильевичем и моим отцом<sup>1</sup> были положены семейные праздники. <...>

Но как приступить теперь к описанию нашего семейного праздника в чудной Обуховке!<sup>2</sup> Для этого нужно и умение и особенно красноречие, а как я не владею ни тем, ни другим, то и страшусь, что не в состоянии буду изобразить ни прелестей этого места, ни сладостных впечатлений, наполнявших в то время мою душу! Торжественный праздник этот назначен был в весеннее время, в самый Троицын день, когда чудная зелень покрывала и луга, и роскошные группы деревьев, окружавших наш дом, которого соломенная кровля покрывалась, можно сказать, вся пушистыми ветвями столетнего клена, стоявшего у самой стены его. <...>

В 1813 году в день такого праздника мы поражены были такою радостью, какая редко случается в жизни.

В то время, когда мать моя<sup>3</sup> обыкновенно отдыхала после обеда, пришли мне сказать, что какая-то бедная женщина пришла в дом и желает ее видеть. Я спешила сказать матери моей

об этом; она вышла к ней и, посадив подле себя на диване, начала спрашивать, откуда она и что ей нужно. Та отвечала, что она бедная, из Москвы, разоренная французами, просит помощи, и при этих словах засмеялась. Мать моя, испугавшись и полагая, что это какая-нибудь сумасшедшая, поспешно встала и хотела уйти, но та, схватив ее за руку и сняв поспешно с головы капюшон салопса своего, остановила ее, сказавши: «Друг мой, Сашенька, неужели ты меня не узнаешь?»

Мать моя, узнав в ней сестру свою, Дарью Алексеевну Державину, которую более двадцати лет не видела, до того обрадовалась, что с нею сделалось дурно. Тетка наша и мы все не знали, что делать и чем ей пособить, но мать моя, пришед в себя и узнав, что и дядя наш Гаврило Романович тоже приехал и остановился на горе в экипаже с племянницей своей, Прасковьей Николаевной Львовой, обняв дорогую сестру свою, спешила навстречу к нему, в сопровождении отца нашего и нас всех.

Как описать общую радость нашу, как представить эту трогательную картину нечаянного свидания дорогих родных и друзей после двадцатилетней разлуки? Каждый, кто испытал подобное ощущение в жизни своей, конечно, поймет меня.

Добрые родные обласкали нас как нельзя больше; с сестрой Прасковьей Николаевной мы вмиг познакомились и скоро подружились. Пришедши в дом, они поражены были чудным местоположением, представлявшимся их глазам, и еще более обществом, которого вовсе не ожидали найти в Обуховке.

Для нас в особенности интересна была встреча Троцинского и Державина, двух сановников в царствование Екатерины II, впрочем, не совсем дружелюбных в то время.

С каким взаимным уважением они раскланивались! Как величали друг друга вашим высокопревосходительством и не хотели сесть один прежде другого! Эта сцена была истинно в высшей степени интересна.

Сначала заметна была в их отношениях некоторая холодность, но, проживя несколько дней вместе, они сошлись, и можно себе представить, как для отца нашего и для всех нас интересны и поучительны были беседы и суждения таких опытных, благонамеренных и умных людей.

Дядя мой, Гаврило Романович, был в восхищении от Обуховки, и несколько раз повторял, что он счастлив был бы, если бы мог жить в таком месте, где, по мнению его, все дышит поэтическим вдохновением.

Покрытый сединами, он был чрезвычайно приятной наружности. Всегда весел и хорошего расположения духа. Он обыкновенно припевал или присвистывал что-нибудь, или адресовался стихиками то к птичкам, которых было так много в комнате моей матери, то к собачке своей Тайке, которую он обыкновенно носил за сюртуком своим. Отдавая всегда полную справедливость красоте, он очень полюбил двух девиц, проживавших в то время у нас, прехорошенькую собою блондинку и брюнетку, с которыми обыкновенно гулял под руку и много шутил. Это были племянница Трощинского Варвара Федоровна Леонтович и родственница Трощинского Катерина Ивановна Косяровская.

Тетка наша была в то время еще хороша собою, большого роста, чрезвычайно стройна и с величественным видом своим имела много приятности. Меня она очень полюбила и уговаривала ехать с нею в Петербург и называла всегда «милой малороссияночкой».

Меня несказанно удивляло в ней то, что, несмотря на знатность и богатство, она, любя порядок, собственными руками мыла, когда нужно было, все кружева и шемизетки свои и гладила их. Впоследствии я часто спрашивала сама у себя, почему я не делала этого.

Каждое утро ходила я с ними на семейное кладбище наше, где был похоронен и прах отца ее. Там, севши на скамью, под тень роскошного каштана, она в молчании восхищалась чудною далью и розовым небосклоном при великолепном восхождении солнца.

Кузина наша, Прасковья Николаевна Львова, была очень мила, хорошенькая брюнетка, удивительно как скромна и приветлива.

Они впоследствии сознались нам, что не совсем с приятным чувством ехали в Малороссию, как в дикий край, где и нас всех полагали встретить дикими и необразованными, и какой был для них приятный сюрприз, когда они, в сущности, нашли все противоположное.

Прожив у нас более месяца, они уехали, оставив по себе самые приятные воспоминания! Мы проводили их за 70 верст, к дяде нашему Петру Васильевичу, откуда они и пустились в обратный путь, через Киев в С.-Петербургу. <...>

В 1813 году я испытала, могу сказать, первое горе в моей жизни, разлуку с добрыми братьями моими <...><sup>4</sup>.

Они все вместе жили в доме дяди нашего Г. Р. Державина, который до того любил их всех, и в особенности старшего брата моего, Семена, что, не имея детей, некоторое время имел намерение его усыновить. Добрая тетка наша Дарья Алексеевна тоже ласкала и любила их как своих детей и имела об них истинно материнское попечение все время пребывания их в ее доме. <...>

#### **Гл. 4 [ <...>. — Последние стихи Г. Р. Державина. — <...> ]**

В тот же <1817> год, в августе месяце, отец мой должен был ехать в Петербург как по делам Малороссии, так и для того, чтобы повидаться с детьми своими и навестить добрую

*С. В. Скалон (Капнист)*

тетку нашу, Дарью Алексеевну Державину, после смерти незабвенного дяди нашего Гаврилы Романовича, который скончался в 1816 г., оставив по себе память добродетельного вельможи и славу бессмертного поэта.

В день смерти его нашли написанные на грифельной доске следующие последние стихи его:

Река времен в своем теченье  
Уносит все дела людей  
И топит в пропасти забвенья  
Народы, царства и царей.  
А если что и остается  
Через звуки лиры и трубы,  
То вечности жерлом пожрется  
И общей не уйдет судьбы<sup>5</sup>.

Тетка наша, после смерти Гаврилы Романовича имея много хлопот по имению и неожиданный процесс родственников со стороны мужа своего, поручила все дела свои старшему брату моему Семену, который с большим трудом привел все в порядок, и тем совершенно ее успокоил. За что, по смерти своей, она из благодарности оставила ему прекрасное имение в Херсонской губернии, с 10-ю тысячами десятин земли по Днепру и тем обеспечила его с семейством на всю его жизнь. Имение это называлось и теперь называется, в память Гаврилы Романовича, Гавриловкой.



М. М. ПОПОВ

## Из «Мелких рассказов»

Державину за «Анакреонтические оды» книгопродавец дал 300 рублей. Он поправил на эти деньги беседку в своем саду и был чрезвычайно доволен. Долго после того он хвалился перед друзьями своими: «вот, говорят, что поэзия бесхлебное занятие, пришло время, что и нам стали давать деньги». Нынче ему дали бы за эти оды десятки тысяч рублей.

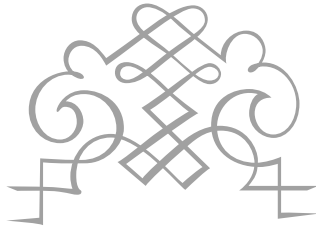
Оды Державина Екатерине II, писанные им до статс-секретарства, надобно различать от тех, которые он писал во времени статс-секретарства. Во-первых — восторг его был плодом искреннего, душевного удивления к великой императрице; в последних пышные похвалы его отзываются работой: тут уже нет невольного вдохновения, а только восклицания благодарности или долга. Прочтите теперь его оды, и вы согласитесь с этим замечанием. Сам Державин сказывал А. С. Шишкову, что когда он был далеко от двора, в то время восторг его к государыне доходил до обожания, приблизившись к ней, он мало-помалу начал терять это чувство, а наконец — оно вовсе остыло<sup>1</sup>.

Сам Державин верил, что поэты — пророки, а современники еще больше верили, что он пророк. Стихи «На рождение порфирородного отрока» были приводимы как доказательство этому. Даже в предсмертных слабых стихах его,



*М. М. Попов*

которые писал он во время отечественной войны и в которых доказывал, что Наполеон антихрист, искали истины, как в чем-то сказанном свыше; как бы ждали, что пророчество поэта сбудется. Современники Державина были уверены в высоком достоинстве его таланта и считали его первым поэтом мира.





И. П. ХРУЩЕВ

## Милена, вторая жена Державина

Поводом к написанию этой статьи послужили случайно попавшиеся мне на глаза строки, записанные в 1892 году со слов (ныне покойной) Марии Алексеевны Поленовой, рожденной Воейковой, о ее бабке и крестной матери, вдове поэта Державина Дарье Алексеевне. Этот живой отголосок далекого прошедшего дал возможность восстановить образ Милены, как поэтически прозвал свою вторую супругу Державин. Образ этот был мне знаком через рассказы матери Марии Алексеевны Поленовой<sup>1</sup> Веры Николаевны Воейковой, рожденной Львовой, воспитанной в доме Державиных. «Дяденька Гаврило Романович» и «тетенька Державина» оживали в частых о них воспоминаниях восторженной и одушевленной старушки, какою оставалась Вера Николаевна Воейкова до конца своей жизни. Много сведений о Державине получено было покойным академиком Я. К. Гротом, между прочим, и от Веры Николаевны Воейковой, о чем он и свидетельствует неоднократно в примечаниях своих в академическом издании полного собрания сочинений Державина<sup>2</sup>. В статью мою я включаю также написанный самою Верою Николаевною в 1871 году отрывок из ее семейных воспоминаний, в котором появляются дом Державиных, «Беседа русского слова» и сама Дарья Алексеевна.

В статью мою вместе с выдержками из семейной переписки, помещенной в VI томе академического издания Державина, вошли и другие выдержки из писем неизданных, находящихся в моих руках. Все это может, без сомнения, придать несколько новых черт для изображения быта нашего общества в первой половине прошедшего столетия.

Говорить о второй супруге Державина и не упомянуть о первой совершенно невозможно. *Милена* заменила *Пленирю*<sup>3</sup> лишь наполовину, по собственному выражению поэта<sup>4</sup>, да и заменила еще ее и потому, что была ее подругой.

Обе женщины эти были выдающиеся, весьма заметные личности, но совершенно разного типа.

Екатерина Яковлевна была наполовину южного происхождения. Ее отец, Бастидон, был португалец. Он прибыл из Голштинии с великим князем Петром Федоровичем в качестве камердинера. Мать Екатерины Яковлевны была кормилицей великого князя Павла Петровича, но родом она была русская и за Бастидона выдана была вторым браком и уже после выкормления наследника престола<sup>5</sup>.

Екатерина Яковлевна была очень хороша собою: брюнетка, с дивными глазами, круглолица и не очень высока ростом.

О красоте ее свидетельствует портрет кисти Боровиковского, с которого литографический снимок приложен к I тому академического издания сочинений Державина. Современники говорят о ней с восхищением и усваивают ей данное мужем прозвище *Плениры*.

«С пригожеством лица, — говорит Иван Иванович Дмитриев, — она соединяла образованный ум и прекрасные свойства души возвышенной. Она пленялась всем изящным. Воспитание ее было самое обыкновенное, но она, по выходе замуж, пристрастилась к лучшим сочинениям французской и отечественной словесности. В обществе друзей своего су-

пруга она приобрела верный вкус и здравое суждение о красотах и недостатках сочинения; от них же, а более от Николая Александровича Львова и Алексея Николаевича Оленина, она получила основательные сведения в музыке и архитектуре<sup>6</sup>».

Екатерина Яковлевна умела также ценить и одобрять поэтический талант своего мужа. Она, по свидетельству самого Державина, любила его сочинения, с жаром и мастерски читывала их. В последнее время жизни она дала ему трогательное доказательство своей заботливости и о его славе: тайком от него собрала все его стихотворения и своею рукою переписала их в тетрадь<sup>7</sup>. В женском рукоделии Екатерина Яковлевна предпочитала художественную сторону. Из переписки ее с мужем и друзьями видим, что она изготовляла картины для узоров и разрисовывала по соломе обои, тогда бывшие новинкою<sup>8</sup>.

«Я не живу праздно у княгини<sup>9</sup>, — пишет она мужу в Москву, — и прилежание мое за шитьем беспредельно, ибо я, работая, размышляю о тебе и не вижу, как от того спешно идет моя работа. Я почти уже вышила камзол князю Сергею Федоровичу<sup>10</sup>, который, кажется, очень хорошо вышился<sup>11</sup>».

Кроме того, она искусно вырезывала силуэты и вставляла их в рамки и табакерки. В то время, когда Державин был губернатором в Тамбове, она положила там начало театру. Под ее руководством дамы и девицы устраивали костюмы и не только разучивали роли, но трудились и над постановкой. О соломенных обоях работы Екатерины Яковлевны вспомнил друг Державиных, Василий Васильевич Капнист, в своем стихотворении «На смерть Пленеры»:

В сем чертоге, испещренном хитрою ее рукой...<sup>12</sup>

Львов и Капнист были самыми близкими друзьями Державина и имели, как известно, влияние на его творчество. Львов

и Капнист между собою были свояки: жены их были родные сестры, по отцу Дьяковы. Они обе питали чувство тесной дружбы к Екатерине Яковлевне. Но мужья их не отставали от своих жен и были полны симпатии к обворожительной Пленуре, в особенности же Капнист. Вот образчик переписки Капниста с Екатериной Яковлевной: «Благодарю вас за жену и за себя за прекрасный подарок корзинки и силуэтов. Неоцененный подарок! А наипаче, когда вообразу, что все то работали прекрасные ваши ручки, которые тысячу раз мысленно целую. Ах, если бы удалось хоть сотую часть сей суммы в самом деле их поцеловать; а то в мыслях так целую, как голодный во сне ест... Но надеюсь, что Бог позволит мне удовольствие вас, любезнейших мне людей, видеть, а следовательно, и ручки ваши целовать; сиречь ваши, сударыня, а не твои, господин кривой мизинец»<sup>13</sup>. Затем речь идет о детях, Ганюшке и Катеньке, так названных по имени четы Державиных.

А вот строки самой Екатерины Яковлевны в Обуховку, малоросскую деревню Капнистов: «Милые мои Копиньки! Давно мы о вас ничего не знаем, а сами в Тамбове поживаем веселым веселехонько. Кабы вы к нам приехали...»<sup>14</sup>

Особо милые свойства Екатерины Яковлевны обрисовывает случай с Карамзиным. Его передает Я. К. Грот со слов Д. Н. Блудова<sup>15</sup> и М. П. Погодин со слов Сербиновича<sup>16</sup>.

В сентябре 1790 года Карамзин, вернувшийся из путешествия, обедал в доме Державина. За столом он сидел возле хозяйки. Зашла речь о французской революции. Карамзин, недавно бывший свидетелем некоторых явлений ее, отзывался о новом движении довольно снисходительно. Во время этого разговора Екатерина Яковлевна несколько раз толкала ногой своего соседа, который, однако же, никак не мог догадаться, что бы это значило. После обеда, отведя его в сто-

рону, она объяснила ему, что хотела его предостеречь, так как тут сидел Новосильцев, вице-губернатор. Жена его (Торсукова) была племянницей Марьи Савишны Перекусихиной (любимой камер-фрау государыни), и неосторожные речи молодого путешественника могли в тот же день дойти до сведения императрицы.

Когда Державин принужден был оставить губернаторство и явиться в Москву на суд Сената, Екатерина Яковлевна письмами подымала падший дух мужа и снабжала его советами практической мудрости. После всего сказанного понятно непритворное горе Державина, когда от случайной болезни, 34 лет от роду, умерла его Пленира. Воспев при ее жизни Плениру во многих стихотворениях, поэт, по смерти ее еще полнее, еще глубже оценил достоинства столь преждевременно угасшей подруги жизни. В память только что умершей жены он сочиняет одно из лучших своих произведений «Ласточка», оканчивающееся такими строками:

Воспой же бессмертие, лира!  
Восстану, восстану и я;  
Восстану — и в бездне эфира  
Увижу ль тебя я, Пленира!<sup>17</sup>

Прозой и стихами Державин пытался утешить себя в горе после того, «как муза замолчала, после того, как он одно время не мог ни читать, ни писать». Песнь «На смерть Плениры», надгробие и письмо Державина к Ивану Ив. Дмитриеву<sup>18</sup> отчетливо выражают печаль поэта о той, чью смерть и друг его Дмитриев оплакал также стихами<sup>19</sup>. В последний раз свою горечь об утрате Плениры поэт выразил в стихотворении «К Сафо»<sup>20</sup>. Наконец, появляется ода «Призывание и явление Плениры», в конце ее с образом Плениры сливается новый образ. Пленира, явившись поэту, смягчает его судьбину:

*И. П. Хрущев*

Ты только слез не лей;  
Милой половину  
Займи души твоей!<sup>21</sup>

Милена была новая избранница, а затем вторая супруга Державина. Но и при новой избраннице в стихотворении «На кончину великой княжны Ольги Павловны» поэту еще грезится в райской тиши Пленира. Но вслед за этим произведением появилось его послание «К Анжелике Кауфман»:

Живописица преславна,  
Кауфман, подруга муз...<sup>22</sup>

Стихотворение это было написано Державиным на второй брак его с Дарьей Алексеевной Дьяковой, который совершился через шесть месяцев после смерти Екатерины Яковлевны. Он так набрасывает образ новой избранницы, обращаясь к художнице:

Напиши мою Милену,  
Белокурую лицом,  
Стройну станом, возвышенну,  
С гордым несколько челом;  
Чтоб похожа на Минерву  
С голубых была очей<sup>23</sup>.

Портрет Дарьи Алексеевны, помещенный при III томе академического издания Державина, в подлиннике писан Боровиковским. Строгие, крупные, несколько римские черты лица дают поэту полное основание уподобить Милену типу Минервы. Одетая в стиле empire, как и Пленира, Милена не носит легкой косыночки, и голова ее не украшена пышными розами, как голова красавицы Пленеры. Ее волосы острижены и большою прядью падают на лоб, что придает ей вид античной статуи; шея и грудь обнажены и скромно выявляются из строгого белого платья. Есть и другой портрет, кисти того же Боровиковского, где Дарья Алексеевна во весь рост, в белом

гладком платье empire, вышитом на подоле, с шалью, спущенною с левого плеча и поддерживаемую левой рукой, на которой держится передними лапками белая болонка; правая рука указывает на представленную вдаль, за рекою Волховом, Званку. На первом плане большое дерево, урна и лестница, с которой спустилась величавая фигура Дарьи Алексеевны.

Родство Дарьи Алексеевны поясняет отношение к ней Державина и самый факт его поспешной женитьбы. Отец Дарьи Алексеевны, Алексей Ананасьевич Дьяков, сенатский прокурор и статский советник, был человек образованный; он знал четыре языка, любил чтение, особенно исторических книг и путешествий. Женат он был на княжне Авдотье Петровне Мышецкой, сестра которой была замужем за Бакуниным, братом известного дипломата Петра Васильевича. Эта родственная связь доставила Дьяковым знакомства в высшем петербургском обществе. Красавицы-дочери блистали на вечерах у Льва Александровича Нарышкина и однажды составляли кадрили великого князя Павла Петровича. Всех дочерей Дьяковых было пять. Старшая, Александра Алексеевна, получила образование в Смольном; она вышла замуж за известного писателя Василия Васильевича Капниста. Марья (в замужестве за Николаем Александровичем Львовым) и Дарья Державина говорили по-французски, но русской грамоте не были достаточно обучены. Притом Дарья играла на арфе. Четвертая сестра, Екатерина, была за графом Стейнбоком и, наконец, пятая — за Березиным. Последняя умерла в молодых годах и оставила дочь, вышедшую замуж за Федора Петровича Львова. От этого брака было много детей и, между прочими, знаменитый музыкант наш Алексей Федорович, великий виртуоз-скрипач и автор музыки национального гимна. Марию Алексеевну Дьякову родители ее не соглашались



выдать за талантливую архитектора Львова, строителя приората в Гатчине, и она вышла к Николаю Александровичу тайком через окно, поехала с женихом, да и обвенчалась с ним, тайком же вернулась к родителям прямо из церкви и стала жить у них по прежнему, до поры до времени не объясняя никому о совершившемся браке<sup>24</sup>.

Живя у сестры своей Львовой, девица Дарья Алексеевна, разумеется, была близка с дружественным Львовым домом Державиных. Однажды она разговорилась с Екатериной Яковлевной о супружестве. Державина сказала: «Ежели бы она, г-жа Дьякова, вышла за г. Дмитриева, который всякий день почти в доме Державина?» — «Нет, — отвечала девица, — найдите мне такого жениха, каков ваш Гаврил Романович, то я пойду за него и надеюсь, что буду счастлива». Так передает сам Державин в своих «Записках» и прибавляет (он вел «Записки» о себе в третьем лице): «Державин, ходя близ их, слышал отзыв о нем девицы, который так в уме напечатлелся, что, когда он овдовел и промыслил искать себе другую супругу, она всегда воображению его встречалась. Когда же прошло 6 месяцев после покойной, и девица Дьякова с сестрою своею, графинею Стейнбоковою, из Ревеля приехала, то он, по обыкновению, как знакомым дамам, сделал посещение. Они его весьма ласково приняли... Но поселившаяся в сердце искра любви стала разгораться, и он не мог долее отлагать, чтобы не начать самым делом предпринятого им намерения, и на другой день, как у них был, послал записочку, в которой просил их к себе откушать и дать приказание повара, какие блюда они прикажут для себя изготовить. Сим он дал разуметь, что делает хозяйкою одну из званых им прекрасных гостей, разумеется, девицу, к которой записка была написана. Она с улыбкой ответствовала, что обедать они с сестрою будут, а какое кушанье приказать приготовить, — в его

состоит воле. Итак, они у него обедали; но о любви или, простее сказать, о сватовстве никакой речи не было. На другой день поутру, зайдя посетить их и нашед случай с невестой говорить, открылся ей в своем намерении, и как не было между ими никакой пылкой страсти, ибо жениху было более 50, а невесте около 30 лет, то и соединение их долженствовало основываться более на дружбе и благопристойной жизни, нежели на нежном, страстном сопряжении. Вследствие чего она отвечала, что принимает за честь себе его намерение, но подумает, можно ли решиться в рассуждении прожитка; а он объявил ей свое состояние, обещав прислать приходные и расходные свои книги, из коих бы усмотрела она, может ли содержать дом сообразно с чином и летами. Книги у нее пробыли недели две, и она ничего не говорила. Наконец, сказала, что она согласна вступить с ним в супружество. Таким образом, совокупил свою судьбу с сею добродетельной и умной девицей, хотя не пламенную романическую любовью, но благоразумием, уважением друг друга и крепким союзом дружбы»<sup>25</sup>.

Сохранился ряд записок Державина к Дарье Алексеевне, невесте его. Все они написаны на лоскутках простой бумаги с надписью на обороте: «Дарье Алексеевне». Вот для примера три из них: «Миленушка, душа моя, я сегодня к тебе не буду для того, что надобно множество написать писем, которые я запустил, а на вечер пойду в баню. Завтра увижу тебя, моего друга, и расцелую. Посылаю к Николаю Александровичу (Львову, брату Дарьи Алексеевны) три оды разных сочинителей, как-то: Ржевского, Карабанова<sup>26</sup> и еще одного какого-то офицера, или Ржевского у него есть? Попроси, чтобы он связал их вместе с Рубановой<sup>27</sup> и спрятал для любопытства впредь<sup>28</sup>». (Конечно, тут говорится об одах на победы в Польше (1794 г.)).

«Посылаю вам, матушка Дарья Алексеевна, ту материю, о которой вам я вчера говорил. Я не знаю, увижу ли вас сегодня»<sup>29</sup>.

«Каково ты, милый и сердечный друг, почиваешь? Я думаю, обеспокоена вчерашним вздором? плюнь, матушка: довольно, — я твой. Я иду к Арбенеvu поутру сам хлопотать за твоего Поздеева и за Марью Алексеевну Беклемишеву. То-то ли вам не честь, что скажет по вашим комиссиям сенатор? Поеду в Сенат. Не знаю, где обедаю, но только у вас буду. Будь, мой друг, спокойна»<sup>30</sup>.

Выше мы видели, как Дарья Алексеевна стала являться в стихах Державина с именем Милены. Вскоре новобрачная появилась в стихотворении «Приглашение к обеду»:

Не смеют слуги и дохнуть,  
Тебя стола вокруг ожидая;  
Хозяйка статная, младая  
Готова руку протянуть<sup>31</sup>.

Нельзя сказать, чтобы имя Милены стало встречаться часто в лирических произведениях Державина. В одном весеннем стихотворении «К музе» читаем:

Строй, Даша, арфу золотую.

Но при перепечатке (при жизни поэта) эта строка уже изменена:

Строй, муза, арфу золотую<sup>32</sup>.

В последний раз супругу вспомнил Державин в стихотворении «Желание»:

К богам земным сблизаться  
Ничуть я не ищущу...  
Душе моей покою  
Желаю только я.  
Лишь будь всегда со мною  
Ты, Дашенька моя<sup>33</sup>.

Желание поэта сбылось, и до конца его жизни при нем оставалась его холодная, строгая и вместе заботливая о нем жена.

По характеру своему Дарья Алексеевна во многих отношениях составляла противоположность покойной Екатерине Яковлевне; она была сосредоточена в самой себе, сдержана и суха в обращении даже с близкими людьми, часто не любезна к друзьям своего мужа, но вместе с тем благотворительна, справедлива и великодушна и потому, несмотря на недостатки, уважаема жившими с нею. Она не терпела злословия и никогда не позволяла себе дурно говорить о других. В ней были неизъяснимые противоречия: при видимой холодности она иногда вдруг растрогается и отойдет в сторону, чтобы никто не видел ее слез.

В первые годы замужества у Дарьи Алексеевны проявлялась некоторая ревность к прошедшему ее мужа, несмотря на то, что она была приятельницей покойной Екатерины Яковлевны. Державин стеснялся вспоминать Пленуру с друзьями своими. Жихарев рассказывает: «Часто за приятельскими обедами он (Державин) вдруг задумается и зачертит вилкою по тарелке вензель покойной, — драгоценные ему буквы К. Д. Вторая супруга, заметив это несвоевременное рисование, всегда выводит его из мечтания строгим вопросом: „Ганюшка, Ганюшка, что это ты делаешь?“ — „Так, ничего, матушка“, — обыкновенно с торопливостью отвечает он, потирая себе глаза и лоб, как будто спросонья»<sup>34</sup>. Из частного письма Державина к доверенному ему лицу<sup>35</sup> мы видим, что в день памяти Екатерины Яковлевны он тайком посылает в церковь поминать ее. Поручение это исполняет лицо, живущее на стороне, бывшая горничная Екатерины Яковлевны.

Дарья Алексеевна была не особенно приветлива и скорее холодна. Эту холодность отмечает в своих воспоминаньях

Сергей Тимофеевич Аксаков<sup>36</sup>, познакомившийся с Державиными в 1816 году. Аксаков сделался частым и любимым гостем певца Фелицы, читал ему вслух произведения самого Державина и свою собственную трагедию. Но Дарья Алексеевна, заметив излишнее напряжение Гавриила Романовича от этих чтений, просила Аксакова прекратить свои посещения. По этому поводу было много шуток в доме Гарновского, где жили измайловские офицеры, и, как таковой, жил и С. Т. Аксаков. Говорили, что Аксаков зачитал старика и что оба принуждены были лечиться. Когда Державин поправился, Аксаков опять стал посещать его, но уже более не читали. Этот случай показывает не столько холодность, сколько заботу Дарьи Алексеевны о муже, за здоровьем которого она постоянно следила и за столом отнимала у него лишнее и вредное для него кушанье.

Но вот другое свидетельство. Дальний родственник и земляк Державина, Панаев, оставил воспоминания<sup>37</sup>, где живо изображен Державин в его домашней обстановке. Говоря о приветливости Гавриила Романовича, Панаев не скрывает, что Дарья Алексеевна обошлась с ним сухо. Упомянув о танцевальных вечерах у Державиных, Панаев опять жалуется на нелюбезность хозяйки и припоминает при этом предсказание своего дяди в Казани о том, что Дарья Алексеевна примет молодого человека не особенно ласково. Она, по словам дяди, будто бы старалась отдалить мужа от его родни. Родня Дарьи Алексеевны зато нашла себе центр в доме Державиных. Сестра Дарьи Алексеевны, Мария Алексеевна, и муж ее, давний друг Державина, Николай Александрович Львов, умерли один вскоре после другого. Бездетные Державины тогда взяли к себе в дом трех племянниц Львовых: взрослую Елисавету и двух подростков, Веру и Прасковью. Старшая вскоре вышла замуж за Ф. П. Львова (см.

выше). Ей Державин диктовал объяснения к своим стихотворениям<sup>38</sup>. Для него она переводила самым точным образом «Федру» Расина, которую Державин с ее помощью переводил стихами<sup>39</sup>. Вторая, Вера, 17 лет, была помолвлена с флигель-адъютантом Воейковым, за которого и вышла замуж в 1813 году, когда он сделан был бригадным командиром. Младшая, Прасковья, была еще девушкой во время кончины Державина. Впоследствии она вышла замуж за К. М. Бороздина. Ее перу принадлежит тетрадь дневника, писанная по-французски и передающая интереснейшие подробности о Державине и некоторые рассказы, не вошедшие в его собственные автобиографические записки, как, например, личное его воспоминание о перевороте 1762 года<sup>40</sup>. О племянницах Державиной Львовых упоминают современники. Вышеназванный Панаев восхищается очаровательною грациозностью в танцах Прасковьи Николаевны. Другой юноша (Жихарев) свидетельствует, что племянницы Державиных говорят умно и мило. Одна из них (Вера Николаевна), между прочим, рассказала ему историю любимой собачки Гаврила Романовича, которую он всегда носил за пазухой халата. Собачку подарила ему одна бедная старушка, всегда ходившая к нему за пособием в сопровождении этой собачки<sup>41</sup>. В письмах А. В. Воейкова к его невесте, Вере Николаевне, находим следующее место, от 6 апреля 1822 г., из Москвы:

«Сегодня я обедал у графа Алексея Ивановича Мусина-Пушкина, все меня поздравляли (как жениха), дочь его, княгиня Волконская, уверяла, что знает тебя, просила взглянуть на твой портрет; графиня Пушкина старалась знакомить меня с Николаем Алексеевичем Дьяковым; все тебя превозносили. Какое мне было удовольствие! За обедом подле меня сидел Николай Михайлович Карамзин. Я говорил ему, как ты лю-

бишь его сочинения; он о вас слышал, что вы любите русский язык...».

Из находящейся в наших руках переписки Воейкова с его невестой видно, что молодая Львова стояла на высоте идеала как в любви к жениху, так и в патриотизме, во имя которого переносила разлуку с своим возлюбленным не только до свадьбы, но и после венца, до самого взятия Парижа, куда с войсками последовал ее новобрачный.

Перехожу теперь к подлинной записке этой самой Веры Николаевны, писанной ею в шестидесятилетнем возрасте, когда она трудилась над биографией своего мужа. Записка эта относится к быту Державиных и к главному лицу нашей статьи, Дарье Алексеевне.

«В сентябре месяце 1811 года продолжалась у дяди моего Гавриила Романовича Державина „Беседа русского слова“. На эти беседы собирались литераторы и почетные гости в большой зале. Она была в два света во всю длину, а одною боковою стороною в ширину примыкала к верхнему этажу, на котором и были жилые комнаты. Из одной комнаты верхнего этажа были проделаны окна в большую залу, и обыкновенно мы, как домашние, не сходили вниз в самую залу, а сидели у окон как на хорах и слушали чтения и беседы литераторов, которых мы очень легко могли видеть и слышать. На одно из этих собраний приехал флигель-адъютант Воейков. Он прежде никогда к нам не ездил, не будучи знаком с Гавриилом Романовичем. Тут в первый раз увидел он меня, сидящую у окошка, и, как после сам мне говорил, так был поражен, что, выходя, при отъезде, спросил у швейцара: „Кто тут наверху у Дарьи Алексеевны, какие барыни и барышни?“ Швейцар отвечал, что тут Неклюдовы, Арсеньевы, Бакунины и Волковы. Такое обилие имен смутило Воейкова. Как же узнать, кто именно та, которая сделала на него сильное впечат-

ление? Приехавши домой, сел он работать, но видел беспрестанно перед собой рамку, в которой сидела молодая особа в белом платье, с красной шалью на плечах. Он оставил работу и пошел к хозяину того дома, в котором жил, и который был знаком с Державиными, стал расспрашивать, кто именно составляет семью Гавриила Романовича и кто могли быть наверху во время беседы. Тот ему сказал, что из молодых девушек живут у него две его племянницы (старшая, Елисавета, была уже замужем), Вера и Прасковья Николаевны Львовы и еще Вера Петровна Лазарева, дочь его умершего друга. Несколько времени спустя, на бале у графа Безбородко, который праздновал помолвку дочери своей с князем Лобановым, я встретила с Воейковым. Он узнал именно ту, которую видел сидящею в окне во время беседы. И когда я танцевала с Офросимовым кадрили, он узнал от моего кавалера, кто я, и тут же пригласил меня на следующее польское. Танцуя со мной, он спросил меня, точно ли это была я в окне, в день беседы, в белом платье и красной шали? Вспомнив, что в этот день я именно так была одета, я отвечала ему утвердительно и сказала ему, что я узнала его сверху, потому что видала его вместе с Михаилом Михайловичем Сперанским на обеде у сестры моей, Елисаветы Николаевны Львовой. На это он мне сказал, что тогда меня не помнит. Во все время разговора мы танцевали польское. Тогда была такая мода на больших балах: в промежутках кадрили, вальсов и экосезов, все общество подымалось и танцевало польское; молодые, равно как старички и старушки, обходили все парадные комнаты и галереи, в которых постоянно слышна была музыка польского.

Хотя разговор Воейкова меня интересовал, но это не помешало мне видеть все богатство и роскошь дома князя Безбородко, по смерти его доставшегося брату его, графу Безбородко.



Вслед за этим я встретила Воейкова у графини Хвостовой, урожденной княжны Горчаковой. Он в тот вечер отказался от партии с графиней Хвостовой и провел все время с не играющими в карты, в числе которых была и я, и оживлял общество своим разговором, обращаясь, однако же, всего чаще ко мне. Когда мы сели в карету, тетенька Дарья Алексеевна говорит мне: «Что-то Воейков очень любезничал с тобой. Ну, если, — продолжала она, шутя, — он вздумает посвататься за тебя, пойдешь ли ты за него?» «Может быть», — отвечала я, смеясь. «Впрочем, такие любезности ничего не значат, столько раз их слышишь в свете». — «Но он очень мил и мне нравится умом своим и простодушием, и, может быть, я бы согласилась выйти за него замуж, — продолжала я смеяться, — если бы его звали Алексеем или Александром, — это мои любезные имена».

Мне не было тогда 18 лет. Вскоре после того Алексей Васильевич Воейков просил позволения приехать к Гавриилу Романовичу и стал к нам ездить через день, а сделав мне предложение, и всякий день. В конце февраля 1812 года мы были помолвлены, и тогда он уже всякий день у нас обедал. Воейков был тогда при военном министре Барклай-де-Толли прачивителем канцелярии».

На этом кончается рассказ Веры Николаевны Воейковой о сватовстве. В другой, гораздо более пространной записке о ее муже<sup>42</sup> она повествует о том, как, одновременно с удалением Сперанского, «Воейков был вдруг отдален от государя, хотя и получил командование бригадою в дивизии Неверовского. После отъезда Воейкова из Петербурга к месту нахождения его бригады, в окрестностях Москвы, слухи о немилости к нему государя не умолкали; даже напротив того, стали больше говорить об этом происшествии и даже распространять клеветы. Рассказывали, что будто бы Воейков передал

план расположения нашего войска и другие значительные тайные бумаги из военной канцелярии в руки неприятеля через французского посланника. Тетушка моя, Державина, смущенная всеми этими слухами, просила Гавриила Романовича узнать, что значат все эти толки, и, так как ее племянница — невеста Воейкова, то может ли она отдать ее замуж за человека, который в немилости у государя. В это время Балашов был в большой силе, и Гавриил Романович обратился к нему с просьбою доложить государю, что он желал бы знать, точно ли Воейков находится под гневом у государя и могут ли Державины решиться выдать за него замуж племянницу? Несколько дней спустя, Балашов сообщил Гавриилу Романовичу ответ государя, который сказал, что он не входит в семейные дела, но что, дав Воейкову бригаду, когда он еще в чине полковника, государь оказал ему отличие, потому что бригадою командуют только генералы. Ответ государя совершенно успокоил тетущку. Меня также, в тяжелой разлуке с моим женихом, много утешило видеть, что будущая судьба моя перестала тревожить моих близких»<sup>43</sup>.

Эта приведенная нами выписка переносит нас в дом Державина у Измайловского моста<sup>44</sup>.

Первенство власти в этом доме перешло, со времени второго брака хозяина, решительно к новой хозяйке. Благодаря твердому характеру Дарьи Алексеевны, материальная сторона жизни Державина улучшилась. Дом у Измайловского моста изукрасился и увеличился. Над фасадом поместились статуи четырех богинь. С обеих сторон воздвиглись каменные пристройки; на дворе, по обоим краям возвысились колонны, за домом был разведен сад. Прямо с подъезда входили в аванзалу, и справа от нее находилась большая галерея в два света, где происходили заседания шишковской «Беседы». Еще далее был театр в два света. Во втором этаже были комнаты для

приезжих, родных и друзей, и особая для доктора и особая для секретаря<sup>45</sup>.

На деньги Дарьи Алексеевны была, вскоре после ее замужества, приобретена Званка<sup>46</sup>, в 40 верстах от Новгорода, вниз по течению Волхова. Берега Волхова от самого Ильменя вообще низки и ровны; но здесь земля подымается довольно длинным холмом. Посредине его воздвиглась усадьба. Дом был обращен фасадом к реке, балкон был на столбах с каменной от него лестницей, перед которой был фонтан; от реки по уступам был сделан вход. Дом и сад часто оглашались веселым говором многочисленного общества, громом домашней музыки и даже пальбою пушек. На балконе было 6 небольших орудий.

Из жерл чугунных гром  
По праздникам ревет<sup>47</sup>.

Сельская флотилия стояла у пристани. Просторная лодка с домиком называлась «Гавриилом», а ботик именовался «Тайкой», по имени любимой собачки хозяина. Все строения, фабрика и водопровод были сооружены заботами Дарьи Алексеевны. Недоставало только церкви, и молиться ездили за 5 верст. По какому-то суеверию Дарья Алексеевна не решалась строить церковь, пока был жив муж ее. Но в первый же год после его смерти храм был заложен и в 1826 году освящен<sup>48</sup>. К Званке прикупались понемногу деревни на девятиверстном расстоянии. Хозяйством Державин вовсе не занимался и, прогуливаясь в поле, не обращал никакого внимания на работы, тогда как появление Дарьи Алексеевны уже издали выводило ленивых из бездействия.

Отношения между супругами были вообще дружелюбные. Но у Гавриила Романовича были две слабости, дававшие иногда повод к размолвкам; это была, во-первых, слабость его к женскому полу, возбуждавшая строгий присмотр со сторо-

ны Дарьи Алексеевны, а во-вторых, его неумеренность в пище. За аппетитом мужа Дарья Алексеевна зорко следила и часто без церемонии конфисковала у него то или другое кушанье.

Доброта Гавриила Романовича также оказывала свое действие на жену его. Домашний секретарь поэта, Абрамов<sup>49</sup>, был неоцененным человеком в деревне, архитектором и живописцем, и устройтелем всяких празднеств и фейерверков. Абрамов всегда обедал за господским столом. Но так как от него стало пахнуть водкой, то Дарья Алексеевна просила мужа не пускать его более за стол; но добродушный хозяин отвечал: «ничего, душенька, делай, как будто ничего не замечаешь».

Домашнее предание упоминает о тесной дружбе Дарьи Алексеевны с барской барыней, Анисьей Сидоровной. Эта почти 70-летняя дева была дана в приданое Дарье Алексеевне. Бывало, когда Анисья Сидоровна стоит на плоту и занимается ужением рыбы, барыня с лестницы закричит ей по старинному обычаю: «Девчонка! девчонка!» — и старуха, подымаясь по лестнице, отвечает: «сейчас, сударыня». Среди дворовых людей многих домов родственников Дарьи Алексеевны сохранилась память о расчетливости Дарьи Алексеевны, а главное о том, что пища в застольной у нее была скудная. Эта молва подтверждается письмом Гавриила Романовича к жене, в котором он убеждает ее улучшить пищу прислуге. Другое письмо Державина к В. В. Капнисту дает иную черту тоже хозяйственного характера. Капнист, по дружбе, был тогда озабочен покупкою лошадей для супругов Державиных. «Вижу, что лошади очень добры, не только трогается несколько мое самолюбие тем, что для Дарьи Алексеевны жив и горяч аргамак, а для меня мерин гнедой, смирный, спокойный; то неужто ты ее женщиной, а меня бабой считаешь? Ну, да так и быть; только лошадей пришли»<sup>50</sup>.

Привольная, гостеприимная для многочисленных родственников и свойственников Званка была постоянным местом пребывания Державиных в течение летних месяцев. Покой их был нарушен лишь летом 1812 года. Сам Державин тогда ездил на 10 дней в Псков, где написал четверостишие «На меч Всеволода-Гавриила»<sup>51</sup>, и в Петербург, где возбудил протест против удержания опекуном советом частных капиталов, отданных туда на хранение. Из Москвы жених Веры Николаевны, Воейков, писал, что слух идет, что и его дивизия<sup>52</sup> двинется к Петербургу. Не знали тогда, каким путем двинется Наполеон. В Петербурге было тревожно. «По приезде в Петербург, — пишет в своей тетради-дневнике Прасковья Николаевна Львова<sup>53</sup>, — мы нашли весь город в унынии. Смоленск только что был взят, и все готовились к отъезду; многие жители уже удалились в Вытегру; все присутственные места были закрыты; говорили даже, что часть казны и имущество многих вельмож уже перевезено в Або». Жену и племянниц Державин думал отправить в Каргополь с их зятем Ф. П. Львовым. Сам Державин объявил, что он не тронется и ничего не отправит из Петербурга. Дарья Алексеевна твердо решила не покидать мужа... Поездка Державиных в Петербург была в июле, а от 12 августа Гавриил Романович писал в Петербург своему племяннику Л. Н. Львову: «...Вы пишете: и прочие укладываются, то должно согласиться с давшими вам совет, чтоб и нам что-либо спасти, коли можно. И для того мы пошлем к вам с лошадьми фуры, на коих нам и привезть сюды...»<sup>54</sup>. Здесь идет указание сундуков, где который стоит, и упоминаются вещи, которые надо уложить и переслать из петербургского дома на Званку. Письмо оканчивается все-таки надеждою, что все обойдется благополучно. В конце резкое осуждение Баркляя как человека и вождя, давшего укрепиться неприятелю в Могилеве, Витебске, Бабиновичах и Орше...

В 1813 году Гавриил Романович и Дарья Алексеевна вместе с племянницей двинулись из Званки в Малороссию. Предлогом было благодарственное посещение киевских святых по обещанию, за победу русских над неприятелем. Главной же целью было посещение Капнистов в Обуховке. К тому же от последней неподалеку было имение Державина, но оно его мало интересовало. Державины выехали из Званки 15 июня и прибыли в Москву 24-го. Там они увидели свежие еще следы пребывания французов. Путешествие шло медленно, так как везде являлись к Державину то почитатели его таланта, то чиновники в мундирах, воображавшие, что он едет в качестве ревизора... В Обуховку прибыли 7 июля. Эти подробности передает Прасковья Николаевна Львова в своей тетради-дневнике. Другая племянница Дарьи Алексеевны, дочь ее сестры Капнист, Софья Васильевна (в замужестве Скалон), рассказывает следующее: «В 1813 году, 7-го июля мы неожиданно испытали такую радость, которая редко случается в жизни. В то время, когда мать моя отдыхала после обеда, пришли мне сказать, что какая-то бедная женщина желает ее видеть. Я поспешила передать это моей матери; она вышла к женщине и, посадив ее подле себя на диване, начала спрашивать, откуда она и что ей нужно. Та отвечала, что она из Москвы, разоренной французами, всего лишилась и просит помощи... При этом она засмеялась. Мать моя, испугавшись и полагая, что это какая-нибудь сумасшедшая, поспешно встала и хотела уйти; но та, быстро сняв с головы капюшон салопы, схватила ее за руку и сказала: „друг мой, Сашенька! неужели ты меня не узнаешь?“ Мать моя, узнав в ней сестру свою, Дарью Алексеевну Державину, которую более двадцати лет не видала, до того обрадовалась, что с ней сделалось дурно... Услышав, что и дядя наш, Гавриил Романович, тоже приехал и остановился на горе в экипаже с племянницей сво-

ей, Прасковьей Николаевной Львовой, мы все поспешили навстречу к нему. Как описать нашу общую радость?.. Пришедши в дом, добрые родные поражены были чудным местоположением, представлявшимся их глазам, и еще более обществом, которого вовсе не предполагали найти в Обуховке. Для нас особенно интересна была встреча Трощинского и Державина, двух сановников в царствование Екатерины II, впрочем, не совсем дружелюбных в то время. С каким взаимным уважением они раскланялись! Как величали друг друга „ваше высокопревосходительство“ и не хотели сесть один прежде другого... Сначала в их отношениях заметна была некоторая холодность, но, прожив несколько дней вместе, они сошлись, и можно себе представить, как для отца нашего и для нас всех интересны и поучительны были беседы и суждения таких опытных, благомыслящих и умных людей. Гаврила Романыч был в восхищении от Обуховки и несколько раз повторял, что он был бы счастлив, если б мог доживать свой век в таком месте, где все дышит поэтическим вдохновением. Покрытый сединами, он был чрезвычайно приятной наружности: в хорошем расположении духа он обыкновенно припевал или присвистывал что-нибудь, или обращался стихами то к птичкам, которых было так много в комнатах, то к собачке своей Тайке, которую обыкновенно носил он за пазухой. <...> Тётка наша Дарья Алексеевна в то время была еще очень хороша собою, большого роста, чрезвычайно стройна и с величественным видом соединяла много приятности»<sup>55</sup>.

Из Обуховки Державины посетили Киев и оттуда ездили, согласно данному обещанию, в Белую Церковь, к графине Браницкой, племяннице Таврического. На обратном пути, в Москве, они удивились перемене, происшедшей в ней во время их краткого отсутствия: «Многие каменные дома, которых только стены уцелели от пожара, не только были ис-

правлены, но уже и снова обитаемы. Везде кипела работа, шум топора и молотка сливался с веселыми песнями каменщиков, составлявшими странную противоположность с поразившими взоры остатками разрушения»<sup>56</sup>.

Молодые племянницы Державиной, как это мы видели, сохранили потомству живые воспоминания о ней, или, скорее, о муже ее, знаменитом поэте и их добродушном дядюшке и собеседнике. Более всех Николаевна Львова написала о Гаврииле Романовиче в своем дневнике, писанном хорошим французским языком, при непосредственном влиянии на этот труд воспитательницы своей *M-me de Блэр*, образованной эмигрантки, проведенной много лет при девицах Львовых. В дневнике этом Дарья Алексеевна появляется лишь при описании последних дней и кончины Державина. Мы перейдем теперь же к этим живым воспоминаниям: «Когда мы прибыли на Званку, погода была чудная, сирень цвела особенно пышно. Но вдруг целые тучи крупных жуков опустились на сирени и в одну минуту уничтожили весь пышный цвет, а листья потеряли свежесть и приняли красный оттенок. — Видно сглазили! — сказал дядюшка. За завтраком много говорили об этом странном явлении. Александра Николаевна (дочь брата Дарьи Алексеевны) увидела в нем дурное предзнаменование, а я пожурела ее за суеверие. После обеда поднялся ужасный ветер. Волхов страшно надулся, началась гроза. <...> В 5 часов управляющий пришел сказать, что возле Веринькина вяза четырех женщин свалило с ног ударом молнии; одну, совсем почерневшую, принесли в дом без признаков жизни, другие две лежали без движения, а у четвертой опалили руки и ноги... — Как нынешний наш приезд несчастлив! — сказала Дарья Алексеевна. Между тем гроза прошла, явилось солнышко, ступени обсохли, и дядя, севши на них, вместе с нами наслаждался видом. — „Как здесь хорошо! —



повторял он, глядя на проходившие мимо дома парусные суда. — Не налюбуюсь на твою Званку, Дарья Алексеевна; прекрасна, прекрасна!»<sup>57</sup>

Обращаясь к последним дням жизни Державина, Прасковья Николаевна старалась припомнить все, что делал, читал и чем развлекался Гавриил Романович. Из этого рассказа видно, что он почти непрерывно находился в обществе племянниц; они ему читали вслух, играли для него то на арфе, то на фортепьяно. Приехавший в Званку Семен Васильевич Капнист сменил Прасковью Николаевну в чтении вслух. В промежутках Державин с молодежью предпринимал прогулки.

Из этого описания ясно, что Дарья Алексеевна не проводила дня в тесном общении с мужем и своими племянницами. Когда же Державин почувствовал нездоровье, Дарья Алексеевна стала уговаривать его ехать в Петербург. «И вздор какой, матушка! К чему мне ехать в Петербург? Стоит ли того? — отвечал он, и, обратившись к Капнисту, решительно объявил, что не поедет. День был чудесный. Дарья Алексеевна, стоя у подъезда и любуясь гладкою, как зеркало, рекою, закричала мужу, сидевшему в гостиной: „Ганюшка, поди-ка ты к нам; посмотри, как здесь хорошо». Он тихо встал и побрел к нам, но, почувствовав сырость вечернего воздуха, поспешно воротился и опять сел к столу за пасьянс. Вдруг я заметила сквозь окно быструю перемену в лице его: он лег на спину и стал тереть себе грудь; Дарья Алексеевна побежала за доктором. С этой минуты начались страдания Гаврилы Романовича; он стонал, но потом, успокоясь немного, удалился в кабинет и уснул. Расстроенная тетушка с необычайным выражением печали на лице проговорила: „Какой на нас черный год!.. Куда ни обернись, везде горе: Лиза ребенка схоронила, Бакунины разорены; вот, Боже мой, и у нас горе...” 7 июля он

чувствовал себя бодрым и велел мне взять том Всемирного путешественника<sup>58</sup>... Настало 8 июля, последний день его жизни»<sup>59</sup>. Тут Прасковья Николаевна передает, как дядя позвал ее полюбоваться на ручных птичек, и потом как она стала читать ему из Всемирного путешественника, а тетушка, бывшая при этом, поцеловала его и пошла заниматься своим делом. «Спазмы возвращались до вечера. В восьмом часу приехали соседи гости, и дядя им жаловался, что его морят голодом, что против него заговор. После отъезда гостей он расположился ужинать, но, едва съел две тарелки ухи, как ему сделалось очень дурно. Больной опять шутил, но, однако ж, должен был перейти в спальню. Пока мы ужинали, Дарья Алексеевна оставалась у него; но вскоре вышла, совершенно расстроенная, со стонами. Я сменила ее».

«В последний час жизни Гаврилы Романовича Дарья Алексеевна вошла еще один раз к нему — уговаривать его ехать на другое утро в Петербург. Сначала он противился, но потом обещал. Скоро страдания и стоны возобновились. Доктор потерял голову и послал за советом к Дарье Алексеевне, которая не в силах была оставаться свидетельницей мучений. Вдруг больной захрипел, и все смолкло...»<sup>60</sup>

Из дальнейшего рассказа видно, что Дарья Алексеевна не подходила к гробу и не присутствовала, когда покойника выносили из дома. — Все потребное для погребения доставлено было из Петербурга. Местом погребения назначен был Варлаамиев Хутынский монастырь, местоположение которого на берегу Волхова всегда нравилось Державину, и где он часто бывал у преосвященного Евгения<sup>61</sup>. Погребальное шествие было устроено по Волхову в особо приготовленной парадной лодке; тело стояло под балдахином. На переднем конце лодки помещались певчие; на корме перед аналоем псаломщик читал псалтирь. Лодка шла бичевою; позади следовали другие

лодки с родственниками. Службу отправлял архиерей. На Званке были устроены угощения для духовенства соседних селений и для бедных. Все эти заботы лежали на племянниках Дарьи Алексеевны, Львово и Капнисте. Сама она пребывала в уединении, а при приближении шестинедельного срока решила провести несколько дней в Хутынском монастыре.

Дарье Алексеевне по смерти Гавриила Романовича была назначена пенсия, и значительная, но она писала государю и просила пенсии ей не давать, так как у нее детей нет, а состояния достаточно, чтобы удовлетворять потребностям жизни. «Я помню, — передавала ее внучка<sup>62</sup>, — как бабинька удивлялась, что княгиня Куракина приняла пенсию».

Сильный характер Дарьи Алексеевны высказался и при столкновении ее с всемогущим тогда Аракчеевым, грузинским помещиком. По смерти Державина Аракчеев возымел виды на Званку, приобретением которой ему хотелось распространить пределы своих грузинских имений<sup>63</sup>. От имени графа явился однажды генерал фон Фрикен с требованием продать Званку в казну. Дарья Алексеевна на это отвечала решительно, что никогда не продаст этого имения. «Здесь жил и умер Державин; это мое вдовье убежище». — «Но я должен объявить вам, — возразил генерал, — что это положительная воля государя императора». — «В таком случае я прошу доложить его величеству, что он может взять у меня Званку, но продать ее я не согласна». Тем дело и кончилось. Через несколько лет Аракчеев решил сблизиться с владелицей Званки и приехал к ней с визитом. Касаясь пола рукой, он просил извинения в том, что ранее не искал ее знакомства. С тех пор у них начались добрые отношения, и они стали посещать друг друга. По смерти императора Александра Аракчеев читал Державиной и ее племянницам письма покойного

*Милена, вторая жена Державина*

государя, отмеченные тоном задушевной дружбы. Сохранилось несколько писем Аракчеева к Дарье Алексеевне; приведем из них два.

*«Грузино.*

*12 сентября 1829 г.*

*Милостивая государыня Дарья Алексеевна!*

*Завтра рано по утру отправляюсь к общему нашему почтенному отцу архимандриту Фотию, дабы быть у него у всенощного молебствия; возвращаясь от него в воскресенье, воспользуюсь дозволением вашего высокопревосходительства и буду у вас чай пить и принесу лично мою истинную благодарность за все ваше ко мне, старику, внимание. За что да наградит вас Господь Бог душевным спокойствием, что всего дороже на свете. С истинным почтением честь имею быть и пр.*

*Граф Аракчеев<sup>64</sup>».*

*«2 сентября 1831.*

*Милостивая государыня Дарья Алексеевна.*

*Услышал я, что ваше высокопревосходительство делаете одолжение мне, старику, вашим посещением, а добрая моя соседка, Елисавета Григорьевна Путятина, поехала просить вас, милостивую государыню, к себе на именины откушать в пятницу; то я прошу вас, милостивую государыню, сделать одолжение пожаловать ко мне в пятницу ночевать. Я буду стараться успокоить вас: целый этаж в вашем распоряжении, три спальни, и расположится, кажется, будет покойно.*

*По нынешнему же времени в один день никак вам сделать сию поездку будет невозможно; а ваше высокопревосходительство ночлегом своим сделаете мне боль-*

*шое удовольствие, за что я останусь вам благодарным, да и почтенного отца Фотия буду за оное благодарить.*

*С истинным почитанием пребуду навсегда вашего высокопревосходительства*

*Граф Аракчеев<sup>65</sup>».*

Из других писем Аракчеева видим, что он посылает Дарье Алексеевне книжку, — описание грузинских часов, устроенных в память Александра Благословенного, рисунок монумента, воздвигнутого в Грузии и бронзовый крест в память того же императора, благодарит за присылку *конфетов*.

Упомянутый в письме Аракчеева к Дарье Алексеевне Юрьевского монастыря архимандрит Фотий бывал часто гостем на Званке, и Дарья Алексеевна принадлежала к тесному кружку его послушниц. Но только она не отдала ему всей своей воли и не подчинилась всецело его влиянию, подобно графине Орловой-Чесменской. По своему холодному и рассудительному характеру Дарья Алексеевна не была способна к чрезмерному увлечению и, хотя и признавала в Фотии высокую религиозность и оказывала ему почтение, но при этом сохраняла самостоятельность и достоинство. Однажды, когда он вместе с графиней Орловой был на Званке, Дарья Алексеевна стала упрекать его за резкое обращение с князем Голицыным<sup>66</sup> в ее доме. Чтобы выразить ей свое неудовольствие за такую смелость, архимандрит в ее присутствии лег на диван и отворотился от нее лицом к стене. На это Дарья Алексеевна ответила так, что дело дошло до разрыва; но Фотий понял, с кем имеет дело, и пошел на уступки. Отношения опять стали прежние, благодаря тому, что Фотий признал самостоятельность этой духовной дочери. Пожертвования благотворительного характера и самое завещание Дарьи Алексеевны об училище, хотя и в связи с женским монастырем,

показывают отсутствие влияния на нее Юрьевского архимандрита, никогда и не помышлявшего о каких бы то ни было школах.

С графиней Анной Алексеевной Орловой-Чесменской Дарья Алексеевна находилась в дружественных отношениях. Их, по-видимому, соединяли духовное, молитвенное общение и принадлежность к кружку Фотия. Они называли друг друга сестра или *сестрюленька*, что было, несомненно, в духе их религиозного побратимства. Они видались на Званке и в Петербурге. Образчиком их отношений друг к другу служит следующее письмо графини к Дарье Алексеевне, которым обрисовывается дух фотиевского кружка. Почерк графини Анны Алексеевны крупный и скорее мужской, свойственный той, которая в юности была наездницей и своей отвагой приводила в восхищение отца своего, героя Чесмы.

«Рай Божий<sup>67</sup>. 16 марта 1836 года.

Милая и возлюбленная моя сестра. С приближением дня вашего тезоименитства, поздравляю вас от всей души, желаю вам изобильно получить благодать от многомилостивого нашего Бога, а наипаче спасения душевного. Как-то вы спасаетесь в столице в сии светлые дни, милая моя сестрюленька? Я вас все поджидаю в наш Рай Божий, по вашему обещанию, на сей неделе. Приезжайте к нам, моя милая; право, здесь отрадно встретить праздник Господень, столь радостный для всякой души христианской, а особенно для вашей пречистой. Дорога же теперь прекрасная, летняя, почти снегу нет нигде. Кажется мне, что никогда моя милая сестра сей праздник не встречала в нашем Раю Божиим. Отец наш святой и преданный неутомим в своих подвигах духовных! Кажется, всякий год он более и более на себя трудов прибавляет, пребывает же в безмолвии совершенном; только его здоровье все не так-то хорошо, беспокоит его сильный кашель и разные другие недуги, а службу Бо-

жию продолжает постоянно, несмотря на свою слабость. Целую вас от всего моего сердца, милая моя сестра. Уповаю сие скоро исполнить лично по вашему обещанию; будьте здоровы, мирны, радостны и не забывайте вас искренно многолюбящую сестру вашу. *Г. А. Орлова-Чесменская*.

Всем вашим родным прошу сказать мое усердное почтение, и что поздравляю их с нашей милой именинницей»<sup>68</sup>. Двадцать шесть лет прожила Дарья Алексеевна вдовою и на летнее время ежегодно ездила на Званку, куда к ней приезжали погостить племянники и племянницы и многие свойственники. По выходе замуж племянниц у нее в доме стали жить две девицы, друг другу чужие, но бывшие между собою друзьями и названными сестрами. В семействе их звали Любаша и Саша. Первая, Любовь Аникитична Ярцова, была племянница зятя Дарьи Алексеевны, Николая Александровича Львова. Она была известна как писательница книг для детей. Ее «Золотое зеркало» обратило на себя внимание российской академии за хороший язык и полезное содержание<sup>69</sup>. Другая — Александра Павловна Кожевникова. Ее мать, рожденная Яхонтова, была двоюродная сестра Дарьи Алексеевны. Кожевниковы были соседями Державиных по Званке. Они были очень небогаты, и Державины были к ним очень расположены и делали всячески добро их семейству. После племянниц Львовых, вышедших замуж и по возможности посещавших Званку, у Дарьи Алексеевны часто гостили ее двоюродные сестры Бакунины<sup>70</sup>, из которых одна, в замужестве Нилова, позднее была первой начальницею Киевского института благородных девиц. Она оставила по себе память справедливой, добродетельной и вместе строгой начальницы. Эта Прасковья Михайловна была воспета Державиным под именем Парашки<sup>71</sup>. Хозяйство свое Дарья Алексеевна вела расчетливо и успешно. Доходы ее от имений, несмотря на вы-

дел родным Гавриила Романовича, не только не уменьшились, но увеличились. Мы узнаем из переписки, что из Званки посылаются отличные плоды родным, а из Петербурга шлются тетушкой своим племянницам гостинцы в виде новой шляпки, или суммы на приданое внучке, на обмундировку вышедшего в офицеры внука. Из переписки видно, что в особых случаях к тетушке Державиной обращаются за помощью при неурожае, при желании деревенскую холодную церковь сделать теплою и при многих других чрезвычайных обстоятельствах. Не видно, чтобы Дарья Алексеевна сама ездила в имения родных. Ее петербургский дом у Измайловского моста был средоточием родства и свойства ее.

Теперь переходим к воспоминанию, связанному с этим домом, и упомянутому нами в самом начале статьи. Воспоминание это относится к 30-м годам столетия, т. е. ко второму десятилетию вдовства Дарьи Алексеевны.

*Записанное со слов Марии Алексеевны Поленовой.*

«Я родилась в доме бабыньки Державиной, на Фонтанке. Отец мой, после взятия Парижа, вышел в отставку и поселился с моей матерью в тамбовской деревне. Перед моим рождением они поехали в Петербург и остановились, по просьбе Державиных, в их доме. Сами хозяева находились тогда на Званке. Это было среди лета. Я родилась в спальне красной, на том этаже, где была ротонда и боскетная и зала в два света. Все эти парадные комнаты находились в первом этаже большого каменного дома, — в глубине обнесенного каменною стеною с воротами двора. За домом был большой сад и там находился дом, который после занимал дядюшка Константин Матвеевич Бороздин. Нас, родных, около бабушки было всегда очень много. По воскресеньям накрывался огромный стол наверху, в обыкновенных апартаментах. Живо припоминаю кафишенскую — комнату возле буфета и кафи-



шенка Григория. Оттуда мы, дети, любили проникать вниз, в парадные комнаты, по внутренней, как бы потаенной, витой лестнице.

У бабиньки всегда подавалось 10 кушаний, непременно два горячих. Славился у нее пирог с угрем. Мороженое подавали в хрустальной вазе. Помню, что вина были преимущественно люнель и малага, а большим подавали венгерское. Бабушка не любила, когда пропускают блюда. „Кушай всего, непременно, хоть понемножку, а всего“, — говаривала она нам. Кофе пили в диванной. Была особая комната, где мужчины курили. Бабушка Дарья Алексеевна носила парик, по три темно-русой букли с каждой стороны, сверху — высокий чепец, посредине подвязанный большим бантом; воротничок белый стоячий, высокий; юбка шелковая и сверху распашной шелковый же капотик. Тогда уже никто так не одевался, но Дарья Алексеевна держалась одного фасона и никогда ему не изменяла. Бабинька жила замкнуто. Самые частые ее посетители были мы, родные: Воейковы, Бакунины, Ниловы, Львовы, Капнисты, Дьяковы, Бороздины и их свойственники. Из не родственников чаще других с нею видались графиня Анна Алексеевна Орлова-Чесменская, а также баронесса Огер, рожденная Полянская; несколько реже Анна Михайловна Толстая, дочь светлейшего Кутузова. Из кружка, близкого бабушке по Званке, кружка Юрьевского архимандрита Фотия, мне припоминается г. Кознаков. Бывали нередко Michel и Nicolas Бакунины, Понтус Делагарди, мать которого (в стихах Державина: „Люсенька любезна“<sup>72</sup>) была воспитанницею бабушкиной сестры, Екатерины Алексеевны графини Стейнбок, Кавелин, впоследствии воспитатель наследника, и генерал Анненков.

Когда мы, внучки, были подростками, бабушке вздумалось устроить костюмированный бал. Приготовления и репетиции

к нему длились месяц. На две последние репетиции в костюмах было приглашено все общество. Приглашения были приняты с охотой, хотя сама Дарья Алексеевна в свет уже давно не ездила.

Праздник удался как нельзя лучше. Характерные танцы были поставлены знаменитым тогда балетмейстером Огюстом. Были туг мифологические боги и богини, были четыре части света и четыре времени года.

Я была Африкой: корсаж из пальмовых листьев, а на груди огромное солнце из бриллиантов бабушки. Помню, как, танцуя, я все боялась потерять эти драгоценности. Мой кавалер был Николай Александрович Безобразов, впоследствии женатый на Сухозанет. Азией была моя двоюродная сестра, Надежда Федоровна Львова, с Евгением Петровичем Самсоновым: впоследствии она за него вышла замуж. Европу изображали маркиз с маркизой — Шелашников и Marie Безобразова. Америкой — моя двоюродная сестра Мария Федоровна Львова (в замужестве потом за Ростовским, издательница „Семейных вечеров“ и автор „Детских повестей“), с Жан Балабиным (женатым потом на Уваровой; он был брат княгини Репниной и Вагнер). Мои маленькие кузены и кузины были одеты амурами и другими божками, Marie Львова (впоследствии княгиня Прозоровская-Голицына) была пастушкой, мой будущий деверь Матвей Васильевич Поленов — Меркурием. Все вместе составляло как бы кордебалет, выполнивший программу в точности. Успех был так велик, что императрица пожелала повторения маскарада во дворце, но это было очень трудно исполнить, так как многие из родителей не были представлены ко двору.

Дарья Алексеевна имела хорошее состояние: дом в Петербурге, Званку с полным хозяйством и богатыми сенокосами. Вся годовая провизия приходила из Званки в Петербурге и ее

вполне хватало на содержание дома и многочисленной дворни. Сено, овес, мука, масло, яйца, вяленая и сушеная рыба — все это доставлялось с Волхова на барках. Помню, что целая барка ершей прибыла однажды из Званки. Потом у Дарьи Алексеевны было довольно большое имение с овцеводством на Днестре, поместье в Оренбургской губернии, кроме того, имение в Белоруссии и винокуренный завод в Казанской губернии, в бывшем имении Гавриила Романовича, перешедшем, по завещанию его, к его родственнику Миллеру. Именья, по завещанию<sup>73</sup> бабыньки, перешли к ее племянникам, — белорусское к Дьяковым, малорусское к Капнистам, но Званка, вместе с особым капиталом (от продажи петербургского дома), завещана была на общественную пользу. Мать моя и ее сестры получили денежные небольшие капиталы. Бедные родственники, и преимущественно вдовы и девицы, получили также некоторые суммы денег».

На этом оканчивается записка со слов Марьи Алексеевны Поленовой. К этому прибавим следующее. Разделяя большую часть своих имений между родными и близкими, Дарья Алексеевна не забыла никого из тех, которые ей так или иначе служили: назначила кому тысячи, кому сотни, кому десятки рублей; некоторых же из крепостных отпустила на волю.

Дарья Алексеевна с бережливостью, даже со скупостью в хозяйстве соединяла и благотворительность; так, по смерти мужа, всем ненужным ей более слугам и служительницам она дала помещение и содержание до тех пор, пока они не пристроятся. Расчетливая, когда дело шло о мелочах, она не жалела денег на крупные расходы и была щедра к зависевшим от нее людям: так, после смерти мужа она до конца жизни не увеличивала оброка со своих крестьян, хотя ее и уверяли, что, например, оренбургское имение могло бы давать гораздо более. Но что всего замечательнее в этой холод-

ной и расчетливой в мелочах женщине, это — думы ее об общественном благе. В казанском университете, когда стипендии были очень редки, да и не в обычае, она определила проценты с 30 000 р. на воспитание двух или трех бедных дворян. Этим выражена была признательность заведению, воспитавшему Державина. Но другое пожертвование, не вошедшее в завещание и даже, может быть, тайное и от родных, был капитал на учреждение в Москве приюта для освобожденных из заключения. Самое же крупное пожертвование, завещанное к исполнению после ее смерти, был капитал от продажи дома у Измайловского моста и Званка, со всеми строениями, угодьями и доходными статьями. Все это было завещано в пользу приюта для образованных монахинь, которые, составив иноческую общину, занимались бы воспитанием бедных девочек. Замысел Дарьи Алексеевны о приюте на Званке был совершенно усвоен ее ближайшими племянницами. Вера Николаевна Воейкова мне лично передавала, что тетушка ее, Державина, всегда болела об образованных бесприютных девицах, которые ищут крова и занятий. Монахини задуманного ею монастыря должны были найти на Званке покой, удобства и молитвенный подвиг и, вместе с тем, благотворительную обязанность по отношению к малолетним сиротам. Однако же в завещании мысль жертвовательницы была выражена не совсем ясно, без практической почвы. Сама завещательница, предоставляя душеприказчику привести ее мысль в исполнение, как бы не верила в ее осуществление. «Если же, — писала она, — это невозможно будет выполнить, то тогда все это завещанное для приюта имущество должно быть разделено поровну между женскими монастырями Новгородской епархии». Душеприказчиком был назначен просвещенный Константин Матвеевич Бороздин.

Не прошло двух лет со дня кончины Дарьи Алексеевны, как Бороздин представил обер-прокурору святейшего Синода имение и капитал, к тому времени вырученный от продажи петербургского дома.

В своем представлении Синоду Бороздин таким образом поясняет жертву покойной своей тетки:

«Питая особенную привязанность к селу Званка, в котором провела лучшую часть жизни с мужем своим, Державина, проникнутая религиозными чувствами истинной христианки, желала оставить по себе памятник благочестия и любви к ближнему на том самом месте, где вдохновенный Державин воспевал величие Бога, славу царей России и благоденствие их подданных. Эту утешительную для души и сердца ее мысль выразила она в духовном своем завещании, предоставив, впрочем, осуществление оной христианскому усердию своих душеприказчиков как лиц, облеченных полным ее доверием, и благотворному содействию правительства».

Передавая столь значительное движимое и недвижимое имущество в Синод, К. М. Бороздин мог думать, что учреждение монастыря или раздел между существующими женскими монастырями может заглушить мысль о воспитательном учреждении, и потому считал необходимым представить план конкретный, что он и сделал. Надо заметить, что Бороздин жил в Царском Селе и имел там свой дом. В то время только что возникло там учебное заведение для девиц духовного звания, первое в своем роде. В учреждении этого училища принимала деятельное участие великая княжна Ольга Николаевна; ее фрейлиной была дочь Бороздина, Варвара Константиновна. Бороздину близко знакомы были прекрасные начинания этого совершенно нового в России учреждения, и он взял его за образец.

«Если бы Провидение, продлив жизнь завещательницы, — говорит он в своем представлении, — дозволило ей увидеть то учебное заведение, которое под высочайшим покровительством государыни императрицы<sup>74</sup> и под ближайшим попечением ее августейшей дщери устроено ныне в Царском Селе для девиц духовного звания, то она, конечно, со слезами умиления повергла бы к стопам монаршим powerful средства для учреждения при предположенном ему монастыре в селе Званке подобного училища для девиц духовного звания». В этом убеждении сенатор Бороздин на основании полномочия, данного ему самою Державиною и всеми наследниками ее, обращается к обер-прокурору святейшего Синода с просьбою принять настоящее дело в ближайшее попечение и исходатайствовать дозволение о приведении в действо благочестивого желания завещательницы учреждением в селе Званке монастыря Знаменья Божией Матери и при нем училища для девиц духовного звания с принятием сего училища под высочайшее покровительство государыни императрицы и августейшей дщери ее, великой княжны Ольги Николаевны. На устроение и содержание сих заведений он (душеприказчик Бороздин) представляет в распоряжение святейшего правительствующего Синода следующие способы:

1) Наличный капитал 150 000 ассигнациями. 2) Усадьба, оброчные статьи, как-то: запашка, сенокосы, леса и рыбные ловли, и еще годовой оброк с записанных по 8-й ревизии в селе Званке и деревнях Дымке и Загозье до 100 душ крестьян, которых предполагается обратить в обязанные поселене установленным для сего порядком, по наделении их избыточным количеством земель и всяких угодий.

Все это дословно вошло в представление Синоду от обер-прокурора, 7 апреля 1844 г. Но через 7 дней в Синод поступи-

ло донесение митрополита Антония о том, что новгородская духовная консистория, препровождая копию ст. духовного завещания Державиной, указывает на другую сторону завещания, а именно, на продажу Званки и на обращение капитала на хранение в опекунский совет, а процентов на пособие женским монастырям новгородской епархии.

Действительно, это было сказано в завещании на тот случай, если бы не удалось устройство в Званке монастыря и училища. Консистория по истечении двух лет, в которые производилась продажа дома по завещанию, сочла главный проект не удавшимся и представила просьбу настоятельниц монастырей о побуждении душеприказчиков к выполнению завещания. К тому же консистория заявила, что из лесных дач производится порубка, могущая уменьшить цену имения.

С этих пор дело выполнения духовного завещания Державиной по отношению к Званке остановилось на целые двадцать лет. Сперва затеялось дело о порубке леса, причем губернатор указывал на отсутствие управления, а епархиальное начальство требовало опеки. Капитал из Петербурга в билетах был препровожден к викарию новгородской епархии. В 1850 году управляющий новгородской губернией доносит министру внутренних дел, что исполнение завещания останавливается за не отмежеванием земли. В том же году митрополит Никанор разыскивает душеприказчиков после смерти Бороздина и заботится о недоимке с крестьян, обращенных в свободные хлебопашцы. Наконец, 13 марта 1851 года святейший Синод рассматривает все дело. Право завещания утверждено, все действия покойного Бороздина одобрены, но найдено лишь одно затруднение в недоимке в 7000 с свободных хлебопашцев. Постановление Синода, повергнутое на высочайшее усмотрение, состояло из трех пунктов: 1) По-

жертвование (капитал, угодья и земли) принять и представить на высочайшее усмотрение предположения об устройстве монастыря (об училище не упомянуто) в Званке. 2) По уважению к богоугодному пожертвованию оставить без взыскания 7000 руб. недоимки. 3) Устройство крестьян с наделением их землею предоставить министру государственных имуществ. (Подлинное подписали, 20 марта 1851 года, Никанор митрополит Новгородский и С.-петербургский, Григорий архиепископ Казанский, Евгений архиепископ астраханский, Николай епископ тамбовский, протопресвитер Василий Бажанов, обер-священник Василий Кутневич, обер-секретарь Илья Бейер, секретарь Рышков). Но дело опять остановилось на шесть лет. В 1857 году, на основании отношения митрополита Григория, обер-прокурор доносит Синоду о положении дела державинского завещания. Из этого доношения видно, что не поддерживавшийся в течение 15 лет дом в Званке, а равно и все строения пришли в ветхость, лишь церковь оказалась прочною. Решено было дом и строения разобрать, материал сохранить и приступить к постройке двухэтажного каменного корпуса.

Прошло еще семь лет, в течение которых дело опять оставалось без движения, и лишь в 1864 году, 20 октября, обер-прокурор предложил Синоду войти в сношение с наследниками Державиной по исполнению ее завещания. Через два месяца поступил рапорт Синоду митрополита Исидора (от 18 декабря), в котором он доносит, что из ближайших наследников остались в живых лишь две племянницы Державиной: вдова тайного советника Львова и сестра ее, вдова генерал-майора Воейкова, и что он сносился с ними, и они обе горячо стоят за то, чтобы Званка не была продана и чтобы в ней устроено было то или другое благотворительное учреждение. Вскоре после того приступлено было к постройке каменного корпуса в Званке<sup>75</sup>.



Я обращусь к обстоятельствам, мне памятным. Племянница Державиной, Вера Николаевна Воейкова, именно в 1864 году переехала в Петербург из своего тамбовского имения. Помню, как она, по приезде в столицу, часто говорила с огорчением и даже негодованием о том, что вот уже более 20 лет, как завещание ее тетки не исполнено. Помню затем, как она стала ездить к митрополиту Исидору, как дело ее приняла близко к сердцу Татьяна Борисовна Потемкина, и как они обе вместе ездили в лавру к митрополиту, как вслед затем императрица Мария Александровна высказала обер-прокурору желание дать ход этому делу. Свой рапорт Синоду, в коем доносит о том, что в Званке уже началась постройка, митрополит Исидор начинает такими словами: «Во исполнение высочайшей воли государыни императрицы, изъясненной мне в отношении г. обер-прокурора св. Синода, о скорейшем разрешении дела об учреждении монастыря в селе Званке...»

В конце 1867 года митрополит Исидор уже доносил Синоду о том, что постройка окончена, и просил разрешить открыть самое учреждение.

Когда митрополит входил в сношение с племянницами Державиной, он имел мысль продать Званку и употребить деньги вместе с прежним капиталом на устройство женского епархиального училища в Деревяницком монастыре, близ Новгорода. Преосвященный был весьма озабочен устройством училищ для девиц духовенства, и данное Бороздиным направление завещанию было ему по сердцу. Но он должен был уступить настоянию наследниц и строить давно уже предположенный каменный корпус в самой Званке, где, по его мысли, должно было быть устроено младшее отделение новгородского епархиального училища, с начальницей-монахиней, по мысли завещания Державиной. Дело так и устроилось. По рассмотрении устава и по докладе государю

императору, 2 марта 1869 года последовало высочайшее соизволение на устройство в Званке женского монастыря с училищем<sup>76</sup>. Тогда минул 28 год со смерти Дарьи Алексеевны.

В настоящее время державинское женское училище существует и процветает вот уже тридцать третий год.

В нем, по имеющимся у нас официальным сведениям, 107 воспитанниц; из них 96 духовного звания и 11 инословных. Все воспитанницы помещаются в училищном общежитии; 29 пользуются полным содержанием от училища, 23 содержатся на стипендии, а остальные — самокоштные. Плата за содержание в общежитии 100 руб. для дочерей духовенства и 150 для других сословий. Начальницей состоит игуменья. Воспитательниц три, два преподавателя; учебная часть под наблюдением инспектора классов, протоиерея (он же и законоучитель); хозяйство состоит под ведением блюстителя училища по этой части, настоятеля Валдайского Иверского монастыря.

Вскоре после того, как ей удалось двинуть дело Званки, Вера Николаевна Воейкова поехала в Новгород и в Варлаамиевом Хутынском монастыре обновила памятник Державина, прибавив к нему надпись о погребенной возле мужа тетке своей. Дарья Алексеевна скончалась в 1842 году на Званке, и ее тело было перевезено в Хутынский монастырь так же, как и тело мужа за 26 лет до того. Разница была в том, что погребальную барку тянул уже пароход.



В. И. ЛЫКОШИН

## Из «Записок»

Евграф Данилович<sup>1</sup>, сделав предварительно визит Державину, повез меня ему представить; за нами в кабинет внесли огромный ковер, аршин 10 в квадрате, Крюковской фабрики, купленный для подарка ему. Старик принял меня очень благосклонно и, узнав, что я питомец Московского университета, полушутливо сказал, что не нам, молодому поколению, искать покровительства старых поэтов, а им, старикам, надо отыскивать благосклонное внимание авторитетов нового поколения <...>. «Завтра, — прибавил он, — я поеду к Ивану Ивановичу (Дмитриеву, тогдашнему министру юстиции<sup>2</sup>), а послезавтра приезжайте ко мне утром, я сам вас ему сдам на руки; не мешало бы и тебе, Евграф Данилович, побывать сегодня или завтра; а между тем пойдем к Дарье Алексеевне, она напоит нас кофеем». Войдя в домашнюю гостиную верхнего этажа, я увидел мой ковер уже разостланным во всю комнату. Добрая хозяйка приняла нас очень приветливо и при прощании сказала мне, чтобы я у них чаще бывал.



М. И. ГОГОЛЬ

## Из воспоминаний

(письмо к С. Т. Аксакову)

С Державиным мы проживали несколько времени в имении Трощинского<sup>1</sup> и в Обуховке у Василия Васильевича Капниста, куда он приезжал<sup>2</sup> с женой своей, родной сестрой Капнистовой жены Александры Алексеевны, также из дому Дьяковых, которая была ангельской доброты. <...> Когда Державины остановились в селе далеко от дому В. В., то Дарья Алексеевне вздумалось явиться к сестре в виде нищей, — она была уверена, что ее не узнают, так давно не видевши. Пришла к ней в изорванном салопе, велела доложить о себе и введена была в спальню хозяйки. Та усадила ее и с большим усердием расспрашивала, в чем может быть ей полезной, начала заботиться о ее наряде, показывала разные и просила выбрать, что ей лучше понравится. В это время Дарья А. увидела в окошко спускающуюся с горы к крыльцу дома карету своего мужа, сбросила в минуту свое лохмотье и сказала: «Саничка, неужели я так переменилась, что ты меня не узнала», и начала извиняться, что обманула ее, и тогда они бросились друг друга обнимать, а между тем и Гаврила Романович пришел, и все сбежались с разных домиков, разбросанных по

огромному саду, смежному с лесом на берегу Псла, — дети Василия В., родные, живущие у них постоянно, разные бедные и гости, в том числе и Дмитрий Прокофьевич Трощинский, бывший министр юстиции. И как угощаемы были от радужных хозяев, сколько было разнообразно удовольствий, сколько сюрпризов! Д. П. и Державин помогали разным остроумным выдумкам. Даже зимой в обширной оранжерее делали дубовые леса, обернув колонны дубовой корой с ветками, и все это было чудесно иллюминировано, и дорога, туда ведущая, в далеком расстоянии от дома вся освещена. Когда оставались Державины и Капнисты — четверо старичков одни, то А. А. разыгрывала разные гимны на фортепиано и пела херувимскую песнь, хотя дрожащими уже голосами, но довольно стройно, называя друг друга: Василий Васильевич Дарию А. Дашенькой, а она его Васенькой...

В оранжерее представляемы были, между прочим, Филемон и Бавкида В. В. с старшей своей дочерью Катериной В. И когда спадывала с них изорванная одежда, то они в новом своем виде подходили к Трощинскому с приличными приветствиями в стихах; иногда экспромтом сочиняли комедии и играли в Кибинцах в театре Трощинского, во дворе его выстроенном; в нем играли и дворовые люди довольно хорошо, но больше были благородные актеры, дети В. В., иногда и он сам. Князь Хилков был большой комик, и жена его играла, и мы все, случающиеся там, муж мой и я. В. В. уверил всех, что я буду хорошо играть, и для поддержания себя находил игру мою отличной. Когда подавали Д. П. афишку о действующих лицах, то он с восторгом брал свой лорнет и, найдя мое имя, был всегда доволен, потому что В. В., сидя возле его, говорил ему о каждом нашем движении. — За обеденным столом кратко загадывали шарады, а после обеда шарады были в действии: Аркадий Гаврилович Родзянко приготавливал ино-

гда по заказу В. В. разные маленькие пьесы. Когда, случилось, по окончании театра в последний раз на масляной, вздувается Д. П. еще просить что-нибудь сыграть, то он ровно в 2 часа сочинил комедию, и в тот же вечер играли, и все были им довольны. Кажется, целой стопы бумаги было бы мало для описания всего, сколько там было разнообразных удовольствий, какие были замысловатые маскарады 2 недели праздников в Рождество Христово и в разное время представления в зале разных родов. Родзянкиных было в семействе с разными живущими душ 14, Трощинских и Капнистов также, и все они проживали по месяцу вместе, каждый день были балы после театра; мы с мужем моим, которого Д. П. очень любил, жили безвыездно у него; нельзя было проситься домой, в последнее его время сердился до болезни, когда узнавал о помышлении нашем ехать домой, и гостям трудно было уезжать, чтобы его не тревожить, и когда начиналось провожанье гостей, то старик бывал очень не в духе; и ненадолго оставалось в доме без больших собраний — скоро опять съезжались. В эти промежутки двери анфиладой отворялись, играла музыка, иногда целый оркестр, иногда квартеты. Разыгрывали из Бетховена и Моцарта и прочих тогда бывших в славе музыкантов.

Державин любил гулять в саду, взяв под руки двух хорошеньких девиц, красавицу блондинку, приехавшую с ним племянницу его<sup>3</sup>, и мою сестру<sup>4</sup>, брюнетку, учившуюся в Обуховке у Александры А. Капнистовой и ее старшей дочери. А теперь, кто б мог вообразить, увидя сестру мою, что она в греческом вкусе была красавицей, — это развалины хорошенького домика.



А. П. КОЖЕВНИКОВ

## Некоторые черты Званской жизни

**Званка.** Имение это находится на берегу р. Волхова в 120 верстах от Петербурга и в 70 верстах от Новгорода. Только после 2-го супружества Г. Р. начал жить, т. е. проводить лето на Званке; первоначально одно село и маленькая деревенька Залози душ в 40 составляли это поместье<sup>1</sup>, впоследствии присоединили покупкою деревни: Дымна, Антушево, Авадьево и Подшивалово, так что все пространство протяжением 9 верст по Волхову и до большой московской дороги составляло собственность Державиных и состояло в том имении до 400 душ.

Большой двухэтажный деревянный дом, службы для большой дворни, мастерские, фабрики и все прочие принадлежности были выстроены Д. А. Как для действия фабрик, так и для снабжения села водою, под горой близ реки была устроена паровая машина, посредством которой действовал и фонтан, устроенный перед домом, наверху горы.

Гавриил Романович хозяйством совершенно не занимался, это все состояло на попечении супруги его, хозяйство шло хорошо, и дом был как полная чаша, со всеми удобствами бояр того времени.

Прелестное местоположение, река, близость столицы, комфорт и достаток делали жизнь самую приятную.

**Семейный круг на Званке.** Не имея детей, Державины добротой своей, участием, любовью ко всем и независимым положением всегда были патриархальные главы огромного родства, а поэтому и на Званке жизнь добродетельных старцев была украшена семейным кругом. В доме его постоянно жили 3 племянницы Львовы: Елизавета, Вера и Прасковья — дочери Николая Александровича Львова, дочь брата Д. А. Александра Николаевна Дьякова, дочь двоюродной ее сестры Екатерины Петровны Кожевниковой (урожденной Яхонтовой) Александра Павловна и впоследствии Любовь Аникитична Ярцева<sup>2</sup>. Племянники Львовы, Дьяковы и Капнисты, служащие в Петербурге, беспрестанно приезжали на Званку — и многие друзья и приятели дома приезжали на Званку праздновать день Гавриила 13 июля — из числа более обычных были Алексей Николаевич Аленин с семейством, П. Л. Вельяминов и Ф. П. Львов. Семейство Павла Александровича и Екатерины Петровны Кожевниковых, живя в 30 верстах от Званки в имении их Пристани, также на берегу Волхова, и двоюродный брат Д. А. Петр Петрович Яхонтов, живший в таком же расстоянии, по близкому родству очень часто приезжали с семействами увеличивать многолюдный семейный круг Званки. Г. Р. особенно любил Павла Александровича Кожевникова за светлый его ум и Екатерину Петровну, которую называл Миротворица, он особенно чтит это достоинство человека (должно быть оттого, что по пылкости характера часто изменял ему) и несколько раз в лето приезжал в имение их Пристань, благодетельствовал недостаткам и детям — и своил<sup>3</sup> их, как тех, которым мы делаем добро. Правда и ум всегда к нему имели доступ.

**Ближайшими соседями Державиных были:** Тырков Алексей Дмитриевич (впоследствии губернский предводитель дворянства) и его родственник князь Шихматов, женат на родной



его сестре. Их имение Вергеж находится в 7 верстах от Званки, и они очень часто приезжали, в последний вечер жизни Державина они оба играли с ним в бостон.

Пуятин Василий Ефимович — отец нынешнего гр. Пуятинина — имение их было за рекой, купленное под поселение, Пшеничище.

Граф Аракчеев, в 18 верстах его село Грузино. Но с этим не только не было дружбы или знакомства, напротив того, непримиримая вражда, начавшаяся со времени оставления Державиным поста министра юстиции. Соседи по смежности земель заречной деревни Державина Антушево; долго длился процесс их размежевания, кончившийся вот как: помещик Иван Григорьевич Воеводский имел также имение на Волхове в 40 верстах от Державина сельцо Теремец при 20 душах крестьян (бывшее после во владении Клейнмихеля, ныне прожив. (?) Рождественского); он был отставной сержант кавалергардский времен Екатерины II, в косую сажень ростом. Невзирая на то, что он был мелкопоместный помещик, по дружбе его с Кожевниковым он был вхож и в дом Державина. Г. Р. любил его беседу про времена Екатерины, любил слушать его анекдоты про давно минувшее и, беседуя, старцы молодели. Г. Р. свыше всего любил старых своих друзей — сослуживцев и современников.

Раз, это было в Пскове, куда Державин поехал для покупки имения (белорусского от Левенгагена) и остановился в доме родственника его жены и его приятеля Николая Петровича Яхонтова. При одном выезде со двора, возвратясь домой, он увидел у подъезда дожидавшего его старого сержанта, который был с ним где-то в пугачевской кампании и сказал, что, узнав о приезде его, он желал его видеть. Державин так обрадовался этой встрече, что привел его в гостиную, посадил его около дивана, говорил с ним, не обращая

внимания на то, что комната была полна гостей, и тогда только отпустил, когда приехал к нему отдать визит губернатор, который и застал его беседующим с ветераном. Он тогда только вспомнил и извинился за нарушение этикета, пожал руку приятеля своего Яхонтова.

Вот почему он и писал Потемкину:

А там на костылях согбенный пришел  
Бесстрашный воин тот,  
Которого рука избавила тебя от смерти<sup>4</sup>.

Но Воеводский не одним этим имел право на расположение Д. Он снискал себе во всем крае титул примирителя за его правду. К нему приходили крестьяне из чужих отдаленных деревень искать суда и правды, ровно как и помещики-соседи.

Аракчеев и Державин, не видя конца своей тяжбы, избрали посредником Воеводского. Он приехал на место с землемером, положил, как делу быть, и не поехал ни к тому, ни к другому. Они оба подписали без возражения то, что он определил, оба написали ему благодарные письма, и оба прислали по подарку. Державин прислал вороно-пегого рысака с его оренбургского завода, а Аракчеев — медвежью дорожную шубу, так что земля, из-за которой был процесс, стоила менее подарков. Вот кабы таких мировых судей...

Но неприязнь Аракчеева не кончилась со смертью Державина. Чтобы сделать неприятность вдове его, Аракчеев, не взирая на то, что все поселения делались на том берегу Волхова, прислал к Д. А. Д. генерала Фон-Фрикена (бывшего впоследствии главным начальником военных поселений) сказать, что государю угодно купить Званку под поселение. При всей ее кротости Д. А. отвечала: «Я знаю, что этого желает гр. Аракчеев, но скажите ему, что Званка есть мое вдовье убежище, и я Званки не продам». Тогда Фон-Фрикен сказал ей, что это воля государя. «А ежели это воля государя, то он

во власти взять ее... и тогда вдова Державина укроет остаток дней своих в другом угле, но доложите, что я Званки не продам!» И с того времени не было и помина о продаже Званки. Конечно, государю ничего об этом не было известно. Когда же Аракчеев упал, он первый приехал к Д. А. искать примирения и был до конца дней самым приветливым соседом<sup>5</sup>.

**Доктора.** Как в городе, так в особенности на Званке, всегда был домовый доктор, вот которых я помню:

Илья Иванович Трофимов, имя его Державин упоминает в стихотворениях:

Врач Тайки и меня  
Любезный друг Илья...<sup>6</sup>

Карл Григорьевич Бейтель — прусак, умный практик и веселый человек. Долго был при доме и поездках на Званку и в других вояжах с Державиным и до самой смерти был лекарем дома в Петербурге (есть рассказ, как он поднял со стола умершего доктора в одну из поездок Державина)<sup>7</sup>.

Максим Фомич (фамилии не помню) был последним доктором, при котором и скончался Г. Р., он был только 2 года в доме Державина.

Доктора жили со своими женами на Званке и обедали за общим столом, а ввечеру составляли партию его бостона.

**Секретарь.** Евстафий Михайлович Абрамов<sup>8</sup>. При всей слабости его к рюмочке был весьма дельный человек, а на Званке неоцененный. Кроме письма его в кабинете Д. он всем был нужен как руки: устроить ли дамскую работу, или театр, или иллюминацию, фейерверк, — он всегда был главный деятель всего. За то все его и любили и прощали ему его слабость. Он должен был помнить все то, что знал Державин, и делать все то, что не умели сделать другие. Ежели когда Д. А., недовольная его ненормальным положением или поте-

рянным экилибром<sup>9</sup> что-нибудь скажет Г. Р., то он всегда заступался, говоря: «Не замай, матушка, что тебе, делай, как будто не замечаешь. Он бедный человек, его одеть надо», — и Е. М. являлась новая пара платья, и это делала Д. А. Александр Н. Львов более других его покровительствовал за то, что он был главным исполнителем его затей, за то, что он его и жег, и топил, и Абрамов говорил: «Я с А. Н. прошел сквозь огни и медные трубы». Был он в большой дружбе с боярской барыней Анисьей Сидоровной, приданой Д. А. 70-летней девой, конечно, это была любовь платоническая, ограничивавшаяся кофеем, рюмочкой, и удили вместе рыбу. Бывало Д. А. сверху лестницы закричит по старинному обычаю: «Девочка! Девчонка!» — и оставшаяся одна старуха, когда молодежь разбежится, поднимаясь по лестнице, отвечала: «Сейчас, сударыня!».

**Кабинет Державина.** Державин на Званке, как и везде, вел жизнь кабинетную и был другом природы и человечества. Целое утро проводил он в кабинете, читая, сочиняя стихи или рассматривая какие-нибудь дела, присланные ему от государя, сказать мнение его (это бывало и после отставки).

Как видно на плане<sup>10</sup>, в углу его кабинета находился в виде печи шкаф, в котором потаенная лестница вела в верхний этаж в комнату его секретаря, который занимался вверху перепискою и ходил по этой лестнице на призыв Державина. Простая мебель, диван с подушками, на которых он несколько раз отдыхал. Книги и стена над диваном, убранная ружьями охотничьими, лук и колчан со стрелами, которые ему напоминали оренбургский край, и он заставлял своего человека метать стрелы с горы на реку, сидя на балконе. У меня сохранились две стрелы, уцелевшие от этого лука, а колчан подарен Бороздиным одному из Миллеров, кадету. В этом кабинете найдена грифельная доска с последним его стихотворением

«Река времен в своем течение...». И молитвенник, раскрытый, когда он, не окончив молитвы, положил его на стол, уходя к смертному одру. На плане видны красными точками последние его шаги до спальни.

В полдень в самый жар он оставлял свой халат, надевал, смотря по погоде, больше белый пикейный сюртук, шляпу, палку и отправлялся с барышнями на прогулку по берегу реки Волхов и ходил очень скоро и далеко. Любил он заходить в купальню, в которой няяды его купались и при его приходе погружались в воду до головы, ему это позволялось, и он это очень любил.

Всегда невоздержан в пище, но сдержанный диетой, соблюдаемую Д. А., он нередко на нее сердился, а один раз вышел в сердцах из-за стола один и раскладывал свой пасьянс. А когда жена, придя со всеми, начала извиняться, говоря, что он сердит на нее, то он удивленно сказал: «За что? — и прибавил: — А я давно и забыл». Был горяч, но отходчив. Стол был всегда сытный, но простой, на сладкое подавали плоды, чего он не мог кушать, но наслаждался тем, что другие кушают. (Кроме арбуза, никогда ничего не ел.) И всегда требовал, чтобы это было. В гостиной его место было на диване, где также лежали подушки, и он раскладывал свой пасьянс Блокаду и Пирамиду. Под вечер в той же комнате за карточным столиком общие шутки, как он говорил «тара-бара про комара», — разговор о полученных письмах, газетах и ч. ч. О делах говорил поутру.

**Евгений.** Все изящное и все искусства были доступны душе его. Он любил их, как все, возвышающее человека, но поэзия и литература были воздухом, которым он дышал. Он был повадлив, добродушен, правдив, любил шутки и принимал участие в общих разговорах... но оживлялся при чтении стихов, при разборе их и молодец. Религиозный разговор,

особенно с человеком, равносильным ему взглядом на высокий этот предмет, был для него неистоим, но никогда он в нем не увлекался, а искал только свет истины. Он на Званке очень сблизился с преосвященным Евгением (впоследствии митрополитом), который часто приезжал оживить его своею беседою. Написанная им для Евгения «Жизнь Званская» есть самый верный очерк, он более правдивостью картин отличается, нежели поэтическим достоинством, — это самый верный очерк жизни его на Званке, причем он не только верно описал настоящее, но безошибочно предсказал и будущую судьбу Званки<sup>11</sup>.

**Балкон.** Перед гостиной комнатой находился балкон, и это было любимое его место. Вид с балкона был во все стороны, и чудная природа много навевала ему вдохновений. Тут он сидел и в обществе, и один, то любуясь течением реки с беспрестанно плывущими судами, то слушая хор музыки (домашней), который по праздникам играл в саду возле балкона, то слушал вокал L<sup>12</sup>; тут стояли 6 чугунных пушек и телескоп, в который он любил смотреть на отдаленные виды. На второй террасе крыльца бил фонтан.

**Сообщение по Волхову.** Близ берега реки стояла его сельская флотилия. Большая лодка с домиком, называемая «Гавриил», и небольшой ботик, всегда его сопровождавший, называемый «Тайка», по имени его любимой собачки болонки Тайки. В то время пароходов еще не было, проселочные дороги были плохи, и главное сообщение по Волхову было на пристанских лодках бечевою. Так он и плавал к соседям на своем «Гаврииле».

**Церковь.** Церкви в селе Званки при нем не было и ездили за 5 верст в приходскую церковь св. Николая, что была в деревне Соснинской Пристани. При жизни его Д. А. не хотела строить церкви по какому-то предрассудку. Но по кончине

его Д. А. в первый же год приступила к постройке каменной церкви на Званке<sup>13</sup>, которая и была освящена в 1821 году архиереем и архимандритом Фотием, — и была сделана приходскою церковью всех деревень Державиной. И обеспечена содержанием как церкви, так и священника, взнесенным при ее жизни в кредитное место капиталом, — Никольскую церковь 5 тысячами и на Званскую 50 тысяч. Аминь.

Монастырь женский. Долго думала Д. А., как сделать, чтоб Званка на долгое время осталась местом благочестия и памятником пребывания в ней великого поэта. Делая духовное завещание, она изъяла ее из раздела имения между родственниками и решила устроить в ней женский монастырь; хотя она в последние годы жизни часто виделась с митрополитом архимандритом Фотием, но это желание ее устройства монастыря не было следствием влияния, в особенности женского монастыря никто не советовал ей делать — это была собственная ее неперемнная идея, которую она настойчиво преследовала: выстроила при них в Званке два каменные здания, предназначая их для келий будущего монастыря, завещала Званку с землями и деревнею Дымна под монастырь и назначила из ее имения передать в епархиальное ведомство 150 т. руб. Антушева крестьян думала сделать приписными к монастырю, но несчастная эта мысль совершенно не удалась. Правительство не разрешило крестьян делать приписными и они были отчислены в число крестьян Г. Н.<sup>14</sup> с половиною земель. Епархиальное ведомство, получив деньги, нашло недостаточными этих средств для устройства монастыря, отдало всю Званку в управление приходского священника, и она была совершенно разорена, все расхищено и высокие дома разобраны на дрова и тем исполнилось пророчество Державина:

Разрушится мой дом,  
Засохнет лес и сад...<sup>15</sup>

При всей приятности жизни на Званке был один пребольшой недостаток: от множества окружавших заливов и озерков там было много комаров, что нельзя было придумать костюм для спасения от них. Державин говаривал:

Царство комарье,  
Царица в нем Дарья.

или

Так боярыня на Званке  
С стеклом капор из серпанки  
Сшив, гуляет в фонаре.

При кончине Державина находились: Д. А., Праск. Н. Львова, Ал. Ник. Дьяков, Ал. П. Кожевникова, доктор Максим Фомич.

3 июля Семен Васильевич Капнист приезжал из Петербурга на Званку ко дню рождения Г. Р. и уехал 5-го.

7-го числа Державин чувствовал боль под ложечкой.

8-го утром доктор дал ему рвотный порошок, который его облегчил. Утром чувствовал себя хорошо.

В 11 часов в жаркий день ходил с барышнями гулять на Пристань и сделал до 8 верст обычной прогулки. За обедом ел уху. Вечеру приехали Тырков и кн. Шихматов, играли в бостон. Когда они уехали, он попросил ухи покушать и во время общего ужина пошел в свой кабинет по обыкновению молиться. Ужин еще не кончился, как он вышел, не докончив молитву, и пошел в спальню, сказав, что боль в желудке опять возобновилась. Это было часов в 11. Доктор за ним последовал, припадки усилились, барышни пошли в спальню его. Дарья Алекс. ходила поспешно по комнатам, входя по временам к нему. В 1 с  $\frac{1}{4}$  его не стало. За минуту она послала сказать племянницу Д. А., чтобы она успокоила, что рвота его обычна. Но она не дошла, как он скончался, переворачиваясь на другой бок.

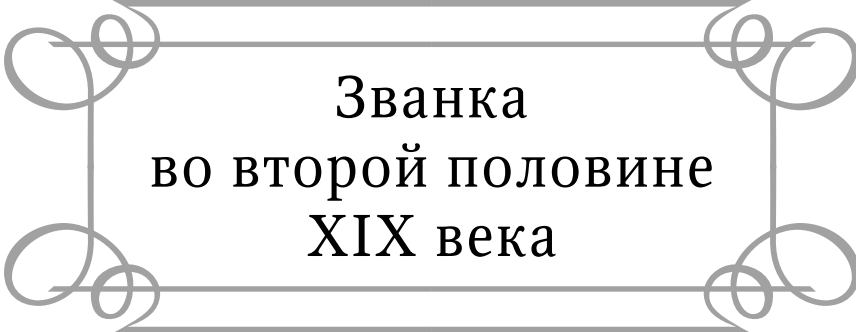


Умер без причастия. Утро еще застало необрунным карточный стол, за которым он играл. Молитвенник на столе был не закрыт (в кабинете).

И племянницы при смертном одре стояли в тех же еще васьльковых венках, которыми они ввечеру любовались.

Так внезапно была его кончина. Хорошо, что он заранее к ней приготовился!

При кончине Д. Алексеевны были: Александра П. Кожевникова, Любовь Аникитична Ярцева, Никита Аникитич Ярцев, Александр Павлович Кожевников, Елиз. Ник. Львова, Мар. Фед. Львова, Леонид Фед. Львов, священник Павловск. корпуса отец Василий Лавров, Алексей Дм. Тырков, доктор из Грузина Николай Семенович Воронов. Скончалась 1842 года 16 июня в 1-м часу пополудни исповедовалась и соборовалась. Графиня Орлова приехала 18 числа и после панихиды уехала на другой день.



Званка  
во второй половине  
XIX века





В. Я. СТОЮНИН

## Званка

(Из путевых впечатлений)

Разрушится сей дом, засохнет бор и сад,  
Не вспомняется нигде и имя Званки...

*Державин*

Двадцатого июня 1850 года я увидел в первый раз берега Волхова. Большею части путешественников случается смотреть на эту историческую реку с крутых берегов новгородских, мне же пришлось приветствовать ее в семидесяти верстах от Новагорода, на Соснинке.

Бросив первый взгляд на это большое селение, расположенное по обоим берегам Волхова, глаза ваши легко могли бы обмануть вас: вы назвали бы его городком и даже довольно недурным. На отлогом берегу большая площадь, посреди нее несколько ларей с весами, около них суетятся крикливые бабы, торгующие съестным; по сторонам три гостиницы, каждая из них занимает двухэтажный деревянный дом недурной наружности; наконец, весьма заметная деятельность по всему берегу, две пристани для пароходов — все это невольно подтверждает первое впечатление вашего глаза. Но внимательно осмотревшись кругом, те же глаза и разуверят вас:

они не увидят здесь ни колоколен, ни присутственных мест, ни почтового двора, ни думы, ни караулен — значит, это не город. Это просто пристань для барок, идущих по вышневолоцкой системе. Отсюда ходят ежедневно два парохода в Новгород, вверх по Волхову, но я уже не застал их и потому должен был избрать одну из трех гостиниц для своего ночлега. До заката солнца оставалось еще часа три. Желая чем-нибудь разнообразить свое время, я подозвал молодого крестьянина, который помог мне стащить мой чемодан в лучший, по его мнению, трактир. Целый час этот молодец занимал меня своими умными, прямо русскими суждениями, своими рассказами. Переходя от предмета к предмету, он вдруг упомянул о Званке<sup>1</sup>. Это слово прозвучало в моих ушах как давно знакомое и пробудило воспоминание. Желая увериться, не обманулся ли я в звуках, я переспросил своего рассказчика.

— Да, Званка, — снова повторил он, — поместье покойного *Державинова*.

При слове *Державинова* сомнение мое совершенно исчезло.

— Далеко ли отсюда это селение? — сказал я.

— Верст пять!

— Так ступай скорей, достань мне лошадь, я хочу туда съездить.

Я сказал это с такой поспешной решимостью, с таким нетерпением, что крестьянин, как будто удивленный, посмотрел на меня во все глаза, не зная, чему приписать причину такой внезапной перемены.

— Да ведь *Державинов*-то давно умер, — заметил крестьянин: и жена его умерла, вот уж лет восемь, а в доме никто не живет, заперт, и ключи у священника.

— Хорошо, братец, хорошо, только достань мне скорей лошадь, и все тут.

Но крестьянин не вдруг двинулся с места: ему жаль было расстаться с чаем, который, по его словам, он любил лучше вина и пива. Допив стакан с прежней расстановкой и хладнокровием, которое вовсе не согласовалось с моей горячностью, он медленно встал и пошел не торопясь, полагая, вероятно, что я раздумаю; между тем как нетерпение мое разгоралось все более и более. Как не видеть жилища нашего поэта, куда он на закате своих дней каждую весну переселялся из шумного Петербурга! Как не посмотреть на те окрестности, которыми часто любовался поседельный певец Екатерины; как не взглянуть благоговейно на те стены, откуда его прекрасная душа вольным голубем понеслась на небо, оставя земле свое бренное тело, а миру небренную славу? Это было бы непростительное равнодушие, и за него каждый Русский имел бы полное право упрекнуть меня.

Спустя четверть часа крестьянин привел мне оседланную лошадь; не стану описывать вам моего буцефала<sup>2</sup>. В конце селения я переправился через небольшую речку на пароме. Потом, расспросив о дороге, я поехал мелкой рысью по берегу Волхова; но вдруг новая беда: у меня отвалилось стремя и не понимаю, как я остался цел и не сломил себе ноги. Сопутник мой, крестьянин, истый Санчо Панса, заметил издали мое несчастье и подбежал на помощь. Привязав стремя и опасаясь, чтоб не случилось новой беды, он вызывался сопровождать меня до самой Званки, и тут, на берегах Волхова, я узнал на деле всю неосновательность нашей старинной русской пословицы, что «пеший конному не товарищ». Однако я не согласился исполнить его настойчивое желание и поехал один. Было около девяти часов. По левую сторону от меня катился Волхов, по правую шелестел мелкий лес; серые облака обложили все небо, и вечер был темнее, чем можно было ожидать. В другое время, может быть, сам Волхов сде-

лался бы предметом моей думы, может быть, я призадумался бы, смотря на его пустынные берега, но теперь я думал только о Державине, готовясь проникнуть в его опустелое жилище. Мне всегда представлялся век Екатерины каким-то чудесно-героическим веком, и теперь мое воображение рисовало мне живую поэтическую картину: я смотрел на тех русских исполинов и богатырей, с которыми для могущественной царицы Севера не было ничего невозможного; все они с благоговением окружали озаренный славою престол ее, все они старались угадать и исполнить ее малейшее желание. С ясным, пламенным взором прикасался восторженный бард к золотым струнам своей настроенной лиры, и чудно-вдохновенная песнь неслась в самые отдаленные края России; бард воспевал мудрость и добродетель своей монархини, подвиги ее героев и богатырей. Этот бард был Державин. Он умел чувствовать глубоко и пламенно; обращал он взоры на престол, где сияла, по его словам, *венценосная добродетель*, и чувство его кипело восторгом; оно, можно сказать, превращалось в могучие исполинские образы, как могучи и велики были самые дела, вдохновлявшие его. И потомство недаром назвало его певцом Екатерины: он боготворил ее как идеал мудрости и правды, к которой стремился всю свою жизнь; желал обессмертить этот живой идеал в своих песнях, и чрез то сам сделался бессмертным. В минуту своего вдохновения он понимал свое высокое призвание, верил в силу своего гения и имел полное право говорить с настойчивой уверенностью о своей славе в потомстве, как например, в этих стихах:

Твои дела суть красоты.  
Я пел, пою и петь их буду,  
И в шутках правду возведу;  
Татарски песни из-под спуду,

*Званка*

Как луч, потомству сообщу;  
Как солнце, как луну поставлю  
Твой образ будущим векам;  
Превознесу тебя, прославлю...<sup>3</sup>  
<...>  
В могиле буду я, но буду говорить<sup>4</sup>.

И Екатерина осыпала Державина щедротами, желая постоянно слышать звуки его лиры. Он хотел содействовать ей в благих стремлениях и видел средство к этому не в своем поэтическом даре, не в своих песнях, а искал его в одних лишь служебных трудах. При таком стремлении он часто оставлял свои поэтические занятия.

Кто вел его на Геликон  
И управлял его шаги?  
Не школ витийственных содом:  
Природа, нужда и враги.

«Объяснение четырех этих строк, — писал Державин к графу Хвостову, — составит историю моего стихотворства, причину оною и необходимость»<sup>5</sup>.

Следовательно, не наука, не систематическое воспитание, а горькие обстоятельства жизни развили и образовали талант его. Все это чаще доставляло Державину случай уединяться и звучному слову передавать волнения своего сердца. Так была ли счастлива доля нашего поэта? конечно, нет! Не найдя счастья в шумном свете, Державин, уже поседелый, оплакивая смерть своей вдохновительницы-монархини, искал спокойствия в уединении, в Званке, где и провел большую часть заката своей жизни. И вот к этому-то жилищу теперь подъезжал я, размышляя о жизни Державина. Ее продолжение, дальнейшие ее подробности я думал прочитать на стенах его дома, на всем, что там после него сохранилось, даже на самых деревьях и дорожках его сада, и не скажу, что без осо-



бенного волнения сердца я погонял свою клячу. Наконец передо мной показался довольно обширный пригорок, поросший лесом, а вскоре потом из-за деревьев мелькнул белый двухэтажный домик. «Это и есть Званка», — подумал я, — и остановился у небольшой хижинки, которая стояла на краю пригорка у самой дороги. Лай собаки возвестил мой приезд; в дверях показался крестьянин. Я спросил его, где живет священник.

— Да вон там сам батюшка, — сказал он, — и я повернул своего буцефала в ту сторону, куда мне указал крестьянин. Вскоре в самом деле между деревьев показался священник, возвращавшийся с вечерней прогулки. Я обратился к нему и просил его удовлетворить моему желанию — видеть дом Державина.

— Мне весьма приятно слышать, — говорил священник в ответ на мои слова, что вы нарочно приехали посмотреть дом Гаврилы Романовича, и я с удовольствием исполню ваше желание; но предупреждаю вас, что вы с сожалением выйдете из этого дома, и, может быть, скажете: все в мире суета суествий. Память о Державине осталась в его сочинениях, но не здесь, не в этом доме.

Эти слова удивили меня и приготовили к встрече чего-то печального. Священник пошел в свой домик за ключами, а я между тем стал припоминать то стихотворение Державина, где он описывает свою званскую жизнь преосвященному Евгению:

Стекл заревом горит мой храмовидный дом,  
На гору *желтый* всход меж *роз* осиявая,  
Где встречу *водовет* шумит лучей дождем<sup>6</sup>...

Дом снаружи в самом деле храмовидный; белый, простой, двухэтажный, окруженный высокими деревьями, он мне показался и веселеньким, и красивеньким; но всход к нему был

теперь не желтый, а серый; вместо песку лежала здесь пыль, из-под которой местами проглядывала мелкая трава; трудно угадать, где были розы: теперь только одна крапива, чертополох, да опустившиеся ветви деревьев выются по краям востока. Далее, позади дома, — небольшой, почти квадратный дворик; видно, что когда-то он был усыпан песком; посреди него еще заметно место, где стояла большая чаша, из которой бил фонтан. Потом с левой стороны дома, в виде флигеля — домашняя деревянная церковь, построенная уже после Державина. Между тем как я осматривался кругом, священник уже стоял у двери; ржавый замок едва-едва повиновался силе его ключа, а растрескавшаяся дверь с трудом уступила усилию наших плеч и, наконец, заскрипела на своих перержавевших петлях — видно было, что давно никто сюда не заглядывал. Из небольшой передней, наполненной сором, мы вошли в большую полукруглую залу. Заколоченные окна придавали ей какой-то мрачный вид; пыльный потолок поддерживают в полукружии несколько колонн, окрашенных под серый мрамор; влево от них большая печь рассыпалась уже до половины; по всему полу валялась штукатурка, осыпавшаяся со стен и потолка; только один развалившийся стул да цепочка от люстры, еще не снятая с крючка, свидетельствовали, что здесь когда-то жили люди. Со всем этим удушливый воздух производил самое тяжелое впечатление. А в этой зале лет сорок назад бывали пиры, да еще какие!..<sup>7</sup> Сюда съезжалось множество разряженных бар, в раззолоченных каретах и не на один день; здесь гремела веселая музыка; исполняли матлот<sup>8</sup> и гавот<sup>9</sup>; с кухни, из кладовых, с погребов приносилось много разных блюд и вин; всем было здесь весело; а Гавриле Романовичу — веселее всех. Здесь-то составлялись те веселые домашние игры, о которых так простодушно рассказывал сам Державин:

Внутри дома, тешимся столиц увеселеньем:  
Велим талантами родных своих детя́м  
    Блистать: музыкой, пляской, пеньем.  
Амурчиков, харит плетень, иль хоровод,  
Заняв у Талии игру и Терпсихоры,  
Цветочные венки пастух пастушке вьет,  
    А мы на них и пялим взоры.

Там с арфы звучныя порывный в души гром,  
Здесь тихогрома<sup>10</sup> с струн смягченны, плавны тоны  
Бегут, — и в естестве согласия во всем  
    Дают нам чувствовать законы!<sup>11</sup>.

А теперь здесь и душно, и мрачно, и пусто. Справа дверь ведет в другие комнаты; не стану описывать их, потому что они представляют то же разрушение. Молча прошел я остальные комнаты, и с душевною грустью возвратился в круглую залу.

— А вот здесь был кабинет Гаврилы Романовича, — сказал священник, указывая на дверь с левой стороны.

Кабинет Державина! Я бросился туда; но и там кроме сору не нашел ничего: крошечная угловая комната выходит одним окном во двор, другим в сад; оба они заколочены; слева в стене переднего угла вделана дверь, откуда поднимается маленькая лестница в верхний этаж. Вот все, что мог заметить в этой комнате мой жадный глаз. А Державин ее называл святилищем Муз, и, верно, она заслуживала такое название.

Оттуда прихожу в святилище я муз,  
И с Флакком, Пиндаром, богов восседши в пире,  
К царям, к друзьям моим, иль к небу возношусь,  
    Иль славлю сельску жизнь на лире.

Иль в зеркало времен, качая головой,  
На страсти, на дела зрю древних, новых веков,  
Не видя ничего, кроме любви одной  
    К себе и драки человек.

Далее говорит он:

Все суета сует! я, воздыхая, мню,  
Но, бросив взор на блеск светила полудневна,  
О, коль прекрасен мир! Что ж дух мой бремению?  
Творцом содержится вселенна.

<...>

Дворовых между тем, крестьянских рой детей  
Сбираются ко мне не для какой науки,  
А взять по несколько баранок, кренделей,  
Чтобы во мне не зрели буки<sup>12</sup>.

Какая милая старческая заботливость. Я себе воображаю, с каким добродушным взором, каким шуточно-веселым отцом стоял Державин у этого окошка, перед которым собралась группа беспечных крестьянских ребятишек за баранками и кренделями.

Не больше минуты стоял я в этой пустой, будто ограбленной комнате; но будь она тем же святилищем Муз, каким была в то время, когда Державин, задумавшись над «Рекой времен»<sup>13</sup>, чертил на аспидной доске свои последние десять стихов<sup>14</sup> как бы заключительную страницу своих произведений, — я, верно, пробыл бы в ней целые часы. Я также задумался бы над этой исторической картой, просмотрел бы и ту толстую тетрадь<sup>15</sup>, куда он обыкновенно вписывал свои стихотворения, перебрал бы всю его библиотеку и после всего этого представил бы самого старца-поэта, с его открытым морщинистым челом, с его светлым лицом, где в складках морщин блестело старческое добродушие, наконец, в его любимом татарском халате. Он, как живой, предстал бы тогда предо мною и прогнал бы всю мрачность, которая теперь налегла на его дом.

Из нижнего этажа я поднялся в верхний; там, над залую, находится почти такая же комната и в таком же виде; только не заколочены окна.

— Здесь Гаврило Романович играл на бильярде, — сказал мне священник. Я осмотрелся кругом, но не нашел ни бильярда, ни следов его. Отсюда через правую дверь я вошел в другую комнату о двух окнах с балконом. Здесь-то, наконец, я нашел несколько вещей, которые могут свидетельствовать, что богато было когда-то убрано жилище Державина. Это представляли мне два прекрасных мраморных столика, роскошный диван, обитый красивой материей, несколько таких же кресел старинного стиля. Тут же стояли на высоких пьедесталах три или четыре бюста; из них один императрицы Екатерины, другой императора Александра. По стенам видны следы висевших картин; и я полагаю, что это та самая *светлица*, которую описывает Державин:

На кровле ж зазвенит как ласточка, и пар  
Повеет с дома мне манжурской иль левантской<sup>16</sup>,  
Иду за круглый стол: и тут-то раздобар  
О снах, молве градской, крестьянской;

О славных подвигах великих тех мужей,  
Чьи в рамах по стенам золотых блистают лица  
Для вспоминанья их деяний, славных дней,  
И для прикрас моей светлицы,

В которой поутру иль ввечеру порой  
Дивлюся в Вестнике<sup>17</sup>, в газетах иль журналах  
Россиян храбрости, как всяк из них герой,  
Где есть Суворов в генералах!

В которой к госпоже, для похвалы гостей,  
Приносят разные полотна, сукна, ткани,  
Узорны образцы салфеток, скатертей,  
Ковров и кружев, и вязани.

*Званка*

Где с скотен, пчельников и с птичников, прудов  
То в масле, то в сотах зрю золото под ветвями,  
То пурпур в ягодах, то бархат-пух грибов,  
Сребро, трепещуще лещами.

В которой, обзрев больных в больнице, врач  
Приходит доносить о их вреде, здоровье,  
Прося на пищу им: тем с по́ливкой калач,  
А тем лекарствица в подспорье.

Где также иногда по палкам, по костям  
Усатый староста иль скопидом брюхатый  
Дают отчет казне, и хлебу, и вещам,  
С улыбкой часто плутоватой.

И где, случается, художники млады  
Работы кажут их на древе, на холстине,  
И получают в дар подачи за труды,  
А в час и денег по полтине.

И где до ужина, чтобы прогнать как сон,  
В задоре иногда, в игры зело горячи,  
Играем в карты мы, в ерошки, в фараон,  
По грошу в долг и без отдачи<sup>18</sup>.

В этом описании вполне видна жизнь поэта-помещика. Впрочем, Державин сам не любил заниматься хозяйством; здесь он хотел наслаждаться совершенно спокойною жизнью, чуждой всяких житейских забот, хотел жить в полной свободе, веселиться, когда приходила минута веселья, погружаться в думы, когда налетала минута задумчивости. Такая беззаботная, просторная жизнь казалась ему раем после столичных треволнений. Здесь он чувствовал себя другим человеком и даже сознался, что, наконец, нашел покой и счастье. Возможно ли сравнить что, — говорит он,

С уединением и тишиной на Званке?  
Довольство, здравие, согласие с женой,  
Покой мне нужен — дней в останке.

*В. Я. Стоюнин*

Восстав от сна, взвожу на небо скромный взор;  
Мой утреннюет дух правителю вселенной;  
Благодарю, что вновь чудес, красот позор  
Открыл мне в жизни толь блаженной.

Пройдя минувшую и не нашедши в ней,  
Чтоб черная змия мне сердце угрызала,  
О! коль доволен я, оставил что людей  
И честолюбия избег от жала!

Дыша невинностью, пью воздух, влагу рос,  
Зрю на багрянец зарь, на солнце восходяще,  
Ищу красивых мест между лилей и роз,  
Средь сада храм жезлом чертяще.

Иль, накормя моих пшеницей голубей,  
Смотрю над чашей вод, как выют под небом круги;  
На разноперых птиц, поющих средь сетей,  
На кроющих, как снегом, луги.

Пастушьего вблизи внимаю рога зов,  
Вдали тетеревей глухое токованье,  
Барашков в воздухе, в кустах свист соловьев,  
Рев крав, гром жолн и коней ржанье<sup>19</sup>.

Все хозяйство и управление им Державин возложил на свою супругу. Она уже ведалась и с старостой, и с крестьянами, наблюдала за работами, вела счета, и он был доволен ее распоряжениями, потому что за столом всегда находил вкусные русские блюда и чернопенное пиво, за десертом прекрасные сочные плоды. Здесь мы опять не можем не выписать несколько стихов его:

Идет за трапезу гостей хозяйка с хором.  
Я озреваю стол — и вижу разных блюд  
Цветник, поставленный узором.

Багряна ветчина, зелены щи с желтком,  
Румяно-желт пирог, сыр белый, раки красны,

*Званка*

Что смоль, янтарь — икра, и с голубым пером  
Там щука пестрая<sup>20</sup>: прекрасны!

Прекрасны потому, что взор манят мой, вкус;  
Но не обилием иль чуждых стран приправой,  
А что опрятно всё и представляет Русь:  
Припас домашний, свежий, здоровый.

Когда же мы донских и крымских кубки вин,  
И липца, воронка<sup>21</sup> и чернопенна пива  
Запустим несколько в румяный лоб хмелин, —  
Беседа за сладьми шутлива.

Но молча вдруг встаем: бьет, искрами горя,  
Древ русских сладкий сок до подвенечных бревен;  
За здравье с громом пьем любезного царя,  
Цариц, царевичей, царевен.

Тут кофе два глотка; схрапну минут пяток;  
Там в шахматы, в шары иль из лука стрелами...<sup>22</sup>

Державин любил своих крестьян, как отец, часто вступал с ними в беседы, в ласковые разговоры, и крестьяне смотрели на него, как на отца, и ловили случай — прибегать к нему в своих нуждах. Державин жил очень согласно со своей супругой, и если иногда происходили у них ссоры, то единственно из-за крестьян.

В этой же комнате меня особенно заинтересовал балкон. Правда, чтоб войти туда, я должен был употребить все предосторожности: боясь провалиться, должен был с порога ударить несколько раз ногой по жестяным листам пола, которые давно уже растрескались и скоробились; должен был слегка подойти к белым деревянным перилам, которые грозят скорым падением. Здесь когда-то сиживал наш поэт и смотрел вдаль на Волхов, синеющий между деревьев; здесь он углублялся в свои думы; носился в прошлом, оплакивал свою



вдохновительницу: он замечал, что переживал почти всех, кого пламенно и восторженно воспевал в своих одах; и что прежний жар его погасал. Он только отрадно смотрел на того, кому пророчески-восторженно предназначал и высокую добродетель, и великие подвиги почти при самом его рождении. Это порфирородное отроча<sup>23</sup> теперь в полной силе мужества восставало на спасенье Европы. Здесь поэт задумывался над смутными делами Запада<sup>24</sup> и грустно вопрошал себя, когда и чем они кончатся. Впоследствии он еще мог собрать свои последние дряхлые силы и стихом выразить свою радость о блестящем конце этих смут. С грустным чувством, в каком-то печальном стихе выразил Державин свои старческие думы:

Но нет как праздника, и в будни я один,  
На возвышении сидя столпов перильных,  
При гусях под вечер, челом моих седин  
Склоняясь, ношусь в мечтах умильных;

Чего в мой дремлющий тогда не входит ум?  
Мимолетаючи суть все времени мечтаны:  
Проходят годы, дни, рев морь и бурей шум,  
И всех зефиров повеваны.

Ах! где ж, ищу я вкруг, минувший красный день?  
Победы слава где, лучи Екатерины?  
Где Павловы дела? Сокрылось солнце, — тень!  
Кто весть и впредь полет орлиный?

Вид лета красного нам Александров век:  
Он сердцем нежных лир удобен двигать струны;  
Блаженствовал под ним в спокойстве человек,  
Но мечет днесь и он перуны.

Умолкнут ли они? — Сие лишь знает тот,  
Который к одному концу все правит сферы;  
Он перстом их своим, как строй какой ведет,  
Кто благу общему склоняя меры.

*Званка*

Он корни помыслов, он зрит полет всех мечт  
И поглумляется безумству человеков:  
Тех освещает мрак, тех помрачает свет  
И dneшних и грядущих веков.

Грудь россов утвердил, как стену, он в отпор  
Темиру новому под Пультуском, Прейш-лау;  
Младых вождей расцвел победами там взор  
И скрыл орла седого славу.

Так самых светлых звезд блеск меркнет от ночей.  
Что жизнь ничтожная? Моя скудельна лира!  
Увы! и даже прах спашнет моих костей  
Сатурн крылами с тленна мира<sup>25</sup>.

Замечательно, что в этом уединении, среди веселья и легкой грусти, Державин особенно заботится о своей лире и о своей славе, боясь забвения; он как будто иногда был недоволен своими прежними произведениями и хотел создать что-то новое, вековое. Бросаясь на трагедии<sup>26</sup>, он в то же время хотел идти и по следам Анакреона. Таким образом, и здесь он является в странном противоречии с самим собою: он живет одной жизнью, а в стихах думает представить себя совершенно иначе; он влюбляется, ласкается к девушкам, смотрит на жизнь легко и беззаботно, мечтает о пирушке, но все это шуткой, на бумаге, а не в самом деле, и только для того, чтоб приобрести себе новую славу. Он сам высказывает это в одном своем стихотворении:

Не колыхнет Волхов темный,  
Не шелохнет лес и холм,  
Мещет на поля чуть бледный  
Свет луна, и спит мой дом.

Как, я мнил в уединенье,  
В хижине быть славу мне?  
Не живем, живя в забвеньи;  
Что в могиле, то во сне.

*В. Я. Стоюнин*

Нет! талант не увядает  
Вечного забвенья в тьме;  
Из-под спуда он сияет:  
Я блесну на вышине.

Так! пойду хотя в забаву  
За певцом Тииским вслед;  
И, снискать его чтоб славу,  
Стану забавлять я свет.

Стану шуткою влюбляться,  
На бумаге пить и есть,  
К милым девушкам ласкаться  
И в седирах будто цвезть.

Я пою, — Пинд стала Званка,  
Совосплещут музы мне;  
Возгремела балалайка,  
И я славен в тишине<sup>27</sup>.

В другие минуты Державин вдохновлялся мыслью, что потомство почтит его память и никогда не забудет его имени, тогда он настойчиво и самоуверенно говорил себе:

Буду я, буду бессмертен!<sup>28</sup>

Это желание жить вечно в памяти людей у Державина превратилось в какую-то страсть, которая ни на минуту не оставляла его. Его иногда страшила мысль, что враги и завистники чернят его имя, и что, может быть, потомки поверят им, но тогда перед ним являлась история в образе Клио, напоминала ему свое беспристрастие, и поэт примирялся с собою. Прославив свое имя и не видя перед собой ничего, кроме могилы, он стал заботиться о своей биографии как о могильном памятнике и даже возлагал этот труд на преосвященного Евгения, епископа новгородского. В нем он нашел себе друга; с его же славой хотел сплести и свою, чтоб и после смерти

*Званка*

жить вместе в памяти людей. В одном своем стихотворении он таким образом обращается к нему:

О мой Евгений! коль Нарциссом  
Тобой я чтусь, — скалой мне будь;  
И как покроюсь кипарисом,  
О мне твердить не позабудь.  
Пусть лирой я, а ты трубою  
Играя, будем жить с тобою,  
На Волхове как чудный шум  
Тьмой гулов удивляет ум.

Увы! лишь в свете вспоминая  
Бессмертен смертный человек:

<...>

Так, знатна часть за гробом мрачным  
Останется еще от нас,  
А паче свитком беспристрастным  
О ком воскликнет Клиин глас.  
Тогда и Фивов разоритель<sup>29</sup>  
Той самой Званки был бы чтец,  
Где Феб беседовал со мной.  
Потомство воззвучит — с тобой<sup>30</sup>.

Или в другом месте:

Разрушится сей дом, засохнет бор и сад,  
Не вспомнется нигде и имя Званки;  
Но сов, сычей из дул огнезеленый взгляд  
И разве дым сверкнет с землянки.

<...>

Так, разве ты, отец! святым своим жезлом  
Ударив об доски, заросши мхом, железны,  
И свитых вокруг моей могилы змей гнездом  
Прогонишь — бледну зависть — в бездны.

Не зря на колесо веселых, мрачных дней,  
На возвышение, на понижение счастья,  
Единой правдою меня в умах людей  
Чрез Клии воскресишь согласья

*В. Я. Стоюнин*

Так, в мраке вечности она своей трубой  
Удобна лишь явить то место, где отзвывы  
От лиры моя шумящею рекой  
Неслись через холмы, доли, нивы.

Ты слышал их, и ты, будя твоим пером  
Потомков ото сна, близ севера столицы,  
Шепнешь в слух страннику, в дали как тихий гром:  
«Здесь бога жил певец, — Фелицы»<sup>31</sup>.

Заметим, что Державин особенно славился именем «певца Фелицы», и на этом названии основывал свое бессмертие. Еще в 1794 году в стихотворении «Мой истукан» он находит во всей своей жизни только одну заслугу — ту, что он пел Фелицу. Здесь поэт задумывается над своим бюстом, сделанным художником Рашетом, и спрашивает себя, достоин ли он такого изображения, которое нужно заслужить славными делами в жизни. Он припоминает всю свою прошедшую жизнь, но таких дел не находит в ней и в отчаянии он восклицает:

Разбей же, мой второй создатель,  
Разбей мой истукан, Рашет!  
Румянцева лица ваятель  
Себе мной чести не найдет... —

но вдруг за этим он останавливает художника: его озаряет мысль, что он певец Фелицы, и вот новое торжественное восклицание:

Хвались моя, хвались тем лира!  
Хвались и образ мой скудельный  
В храм славы вознеся с собой.

Он решается, наконец, позволить разбить свой бюст только тому,

Кто с большим дарованьем  
Мог добродетель прославлять,

Пусть тот не медля и решится,  
И мой кумир им сокрушится<sup>32</sup>.

Все это я припоминал, стоя на балконе Державина; но не слышал ни рожка, ни песен, которые своими томными, заунывными звуками погружали поэта в различные думы: теперь все было тихо и безмолвно. Отсюда я прошел по другим комнатам и встретил там чрезвычайное опустение; в одних окнах выбиты стекла, в других вырваны рамы: не знаю, буря или люди не пощадили жилища певца Фелицы! С грустным чувством вышел я отсюда и направил свои шаги в сад. Здесь, разумеется, нет и следов того сада, который описывает Державин: дорожки заросли травой, ветви деревьев опустились так, что можно ходить, только нагнув голову; многие кустарники посохли; на куртинах лежит гнилой лист — все гармонирует с запустелой внутренностью дома — все так дико, дико. Здесь, в нескольких шагах от дома, насыпан небольшой холм; под ним зарыта любимая собачка Державина. Она всегда была спутницей своего господина. Часто случалось, говорил мне священник, что Державин, гуляя по саду, задумывался и, задевая головой о ветви деревьев, не слышал, как с него сваливалась шляпа, — это замечала только его спутница — собака! Она схватывала зубами потерянную шляпу, бросалась за своим господином, и если он не обращал на нее внимания, она оставляла свою ношу и громким лаем давала знать о своей находке.

Вокруг холма посажены шесть лип; теперь они, чахлые и тощие, почти не дают никакой тени, но прежде под их сенью постоянно стояла скамейка и стол, где Державин любил заниматься письмом и чтением. Иногда он гулял по саду, вооруженный большими ножницами и подстригал ветви деревьев, которые задевали за его голову.

Из сада я опять спустился на берег. Вечер был не совсем светлый, как июньский вечер, но он был тих, безмолвен и прекрасен над синим зеркальным Волховом; спокойствие это нарушалось только жужжанием комаров, которые выются здесь тучами. Такая тишина, такое безмолвие теперь бывает здесь постоянно, но послушать рассказов, что бывало здесь при Гавриле Романовиче; каким шумом часто оглашался этот берег; какими картинами привлекал он взоры пловца. Впрочем, и сам Державин упоминает об этом, описывая званскую жизнь преосвященному Евгению:

Иль в лодке вдоль реки, по берегу пеш, верхом,  
Качусь на дрожках я соседей с вереницей;  
То рыбу удами, то дичь громим свинцом,  
То зайцев ловим псов станицей.

Иль стоя внемлем шум зеленых, черных волн,  
Как дерн бугрит соха, злак трав падет косами,  
Серпами злато нив, — и, ароматов полн,  
Порхает ветер меж нимф рядами.

Иль смотрим, как бежит под черной тучей тень  
По копнам, по снопам, коврам желто-зеленым,  
И сходит солнышко на нижнюю степеню  
К холмам и рощам сине-темным.

Иль, утомись, идем скирдов, дубов под сень;  
На берегу Волхова разводим огонь дымистый;  
Глядим, как на воду ложится красный день,  
И пьем под небом чай душистый.

Забавно! в тьме челнов с сетью как рыбаки,  
Ленивым строем плыв, страшат тварь влаги стуком;  
Как парусы суда и ляжкой бурлаки  
Влекут одним под песнью духом.

*Званка*

Прекрасно! тихие, отлогие берега  
И редки холмики, селений мелких полны,  
<...>  
Стоят над током струй безмолвны.

Приятно! как вдали сверкает луч с косы  
И эхо за лесом под мглой гамит народа,  
Жнецов поющих, жниц полк идет с полосы,  
Когда мы едем из похода.

Стекл заревом горит мой храмовидный дом,  
На гору желтый всход меж роз осиявая,  
Где встречу водомет шумит лучей дождем,  
Звучит музыка духовая.

Из жерл чугунных гром по праздникам ревет;  
Под звездной молнией, под светлыми древами  
Толпа крестьян, их жен вино и пиво пьет,  
Поет и пляшет под гудками<sup>33</sup>.

Поговорив еще несколько времени с умным священником, я простился с ним и отправился в обратный путь. Бросив повод, я дал полную волю своему буцефалу: он тотчас же воспользовался этой волей, и, наклонив голову, побрел ленивым шагом, как будто чувствуя, что несет человека, который совершенно не был расположен понукать его. Я ехал, весь погруженный в думы. Волхов синел безмолвно. Званка оставила во мне грустное воспоминание: в моем уме беспрестанно повторялся стих:

Разрушится сей дом, засохнет бор и сад.

Наконец, после часовой езды я доехал до того места, где нужно было переправляться на пароме. Меня перевезли два рыбака, которые собирались на ночную ловлю. Один из них, седой старик, с любопытством спрашивал меня, не родственник ли я покойного Гаврилы Романовича. Когда я ему ответил



«нет», то он не мог понять, что заставило меня ездить на пустую Званку. Почти со слезами на глазах вспоминал он о Державине. «Такого доброго человека, — говорил он, — не сыщешь и век; и какой был благодетель для нашего брата, никого не обидел, всем делал добро; за то добром все и поминают его. Не знаю за что, а любил меня покойник; бывало, наловишь рыбы, настреляешь дичи, принесешь к нему на кухню, а он только узнает, позовет к себе, говорит-говорит, расспрашивает так ласково, что душе любо, а потом прикажет накормить и отпустит с Богом. А какое изобилие было у него в доме — что посуды, что разных запасов, что карет, что лошадей; а коров, гусей, кур, уток и всякой живности уж и говорить нечего; не любил ни в чем недостатка покойник, жил настоящим баринoм, ведь был тайный советник, а с нашим братом обращался просто как отец. Бывало, ни с кем не поедет в Новгород, как только со мной; или вздумает так покататься по реке, — тотчас меня, распустим парус и целый час катаемся. Иной раз ветер; он обманом заведет на лодку жену, покойницу, велит отчалить: она боится, кричит от страха, а он смеется себе, да подсмеивается».

Еще много чего говорил многословоохотный старик и не мог нахвалиться добрым Гаврилом Романовичем. Он не знал Державина как поэта, но знал как добрейшего барина. На мой вопрос, знает ли он, чем славится Державин, он отвечал: «и он был тайный советник, ездил во дворец, и покойная государыня любила его».

Слышал ли он, спросил я, что Державин писал стихи, по которым и теперь все знают и почитают его? Но он, кажется, не понял моего вопроса.

— Читал ли ты песни, которые сложил Державин? — спросил я его, наконец.

— Нет, барин, я не умею читать! — отвечал простодушно рыбак. И так, Державин живет на берегах Волхова только как

добрый человек, как отец и благотворитель. Но придет ли то время, которым он так заманчиво льстил себя, как, например, в этих стихах:

Необычайным я пареньем  
От тленна мира отделюсь,  
С душой бессмертною и пеньем,  
Как лебедь, в воздух поднимусь.

<...>

С Курильских островов до Буга,  
От Белых до Каспийских вод,  
Народы, света с полукруга,  
Составившие россов род,

Со временем о мне узнают:  
Славяне, гунны, скифы, чудь,  
И все, что бранью днесь пылают,  
Покажут перстом — и рекут:  
«Вот тот летит, что, строя лиру,  
Языком сердца говорил,  
И, проповедуя мир миру,  
Себя всех счастьем веселил».

Или:

Слух пройдет обо мне от Белых вод до Черных,  
Где Волга, Дон, Нева, с Рифея летет Урал;  
Всяк будет помнить то в народах неисчетных,  
Как из безвестности я тем известен стал,

Что первый я дерзнул в забавном русском слоге  
О добродетелях Фелицы возгласить,  
В сердечной простоте беседовать о боге  
И истину царям с улыбкой говорить<sup>34</sup>.

Но теперь в таком образе не знают Державина даже там, где он жил много лет и где, как человек, оставил по себе добрую память. На другой день, рано утром, я вышел на площадь; здесь крестьяне также спрашивали меня, не родствен-

ник ли я покойного Гаврила Романовича. Что было отвечать им? сказать «нет», значит возбудить в них любопытство, — зачем же я ездил в дом Державина; тогда нужно объяснять им чувство, которое влекло меня к жилищу поэта. Но в этом случае я боялся, что они не поймут меня и, признаюсь в своем самозванстве, я назвался родственником Державина. Здесь я имел случай снова услышать похвалы ему и все в одном и том же выражении: «добрый был человек покойный Гаврило Романович». Значит, и название доброго человека может долго жить в народной памяти; значит и его имя отец с любовью передаст сыну! Утешительная мысль! и дай Бог, чтоб имена всех добрых людей не забывались так же, как не забылось имя Державина: добрая память в народе — самая лучшая награда для доброго сердца; пред ней ничто все великолепные памятники.

— Спустя несколько недель после этого я проезжал через Новгород. Здесь я вспомнил рассказ званского священника, что в девяти верстах от города, в монастыре Варлаама Хутынского, живет девяностолетний священник отец Никифор, который погребал Державина. Мне хотелось повидать этого старца; и я остановился в Новгороде на целые сутки. На другой день утром я был в келье отца Никифора, но, к несчастью, нашел его больным; он был так слаб и от болезни, и от старости, что с трудом мог говорить. К тому же ему изменяла и самая память, так что я очень немного узнал от него о Державине. Отец Никифор был священником какого-то села, недалеко от Званки; впоследствии его перевели в самую Званку, когда, после смерти Державина, супруга его построила там церковь. Державин часто приглашал к себе отца Никифора, просил его служить в своем доме всенощные, молебны; любил запросто беседовать с ним за чашкой чаю, как говорил мне старец; иной раз поэт брал свою толстую те-

традь, куда он обыкновенно вписывал свои стихи, и читал ему духовные оды или переложение псалмов. Все прочее, о чем мне говорил отец Никифор, я уже слышал в самой Званке. Я желал узнать от него что-нибудь о последних минутах Державина, но он и сам не знал о них: его не было при постели умирающего поэта. Он только помнил его погребение: гроб Державина с печальным великолепием везли на большой лодке вверх по Волхову к Хутынскому монастырю; его сопровождало множество духовенства и родственников; много и так добрых русских людей провожало доброго человека, много лодок тянулось тогда по Волхову, и все они после обедни и погребения возвратились в Званку для богатых поминок; не было только хозяина. Вот все, что помнил, что сообщил мне отец Никифор.

Оставив его келью, через минуту я стоял перед могилой Державина. Поэт особенно любил Хутынскую обитель, которая привлекала его и своей живописной местностью, и жилищем друга его, Евгения. Хутынский монастырь стоит на горе, на самом берегу Волхова; этот-то холмистый берег особенно живописен: здесь природа блестит не роскошью, а какой-то милой простотой и разнообразием; от каменных стен монастыря тянутся улицами по разным направлениям красивые сельские домики; за ними волнуется по холмам золотая рожь и зеленая трава. Державин любил сельские картины; здесь он находил их, находя вместе с тем и радушный прием, и мирное отдохновение в келье своего друга. Здесь-то, сидя на балконе, он мог любоваться близкими и отдаленными видами, и душа его чувствовала сладкий покой, который составлял единственное желание поседелого старца. «Здесь так хорошо, — говорил он, — что я хотел бы навсегда тут остаться».

И точно, прах его покоится здесь уже тридцать четыре года. В храме святого Варлаама с левой стороны вы увидите

железную решетчатую дверь; через нее входите в другую, маленькую церковь св. архангела Гавриила. Здесь, в простенке между первыми двумя окнами, считая от алтаря, стоит большой гранитный четырехугольный пьедестал, а на нем урна, с которой спускается пелена и до половины закрывает ее. На нижней половине гранита представлена лира, украшенная цветами; на лире, в самом ее низу, изображена гробница на высоком катафалке; а подле его ступенек, облокотившись на них, сидит с поникшею головой Муза. Над урной висит образ, перед которым постоянно теплится лампада. Это могила Державина; о ней вам скажет медная доска, находящаяся на верхней части гранита.

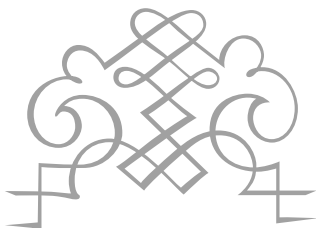
Поклонившись праху поэта, я не думал мечтать ни о суете мирской, ни о брэнной славе, не думал вдохновляться элегическим чувством, подобно многим, посещавшим могилы великих людей; я только думал, что весьма прилично было бы здесь вырезать те стихи, в которых Державин так верно определяет себя:

Не умел я притворяться,  
На святого походить,  
Важным саном надуваться  
И философа брать вид;  
Я любил чистосердечье,  
Думал нравиться лишь им,  
Ум и сердце человечье  
Были гением моим.  
Если я блистал восторгом,  
С струн моих огонь летел,  
Не собой блистал я — богом;  
Вне себя я бога пел.  
Если звуки посвящались  
Лиры моя царям, —  
Добродетельми казались  
Мне они равны богам.  
Если за победы громки

*Званка*

Я венцы сплетал вождям, —  
Думал перелить в потомки  
Души их и их детям.  
Если где вельможам властным  
Смел я правду брякнуть вслух, —  
Мнил быть сердцем беспристрастным  
Им, царю, отчизне друг<sup>35</sup>.

Никто не оскорбит твоей памяти, стоя над твоим гробом,  
а всякий скажет, подобно мне: «Мир твоему праху!»





Я. К. ГРОТ

## Званка и могила Державина

Кто понять поэта хочет,  
Пусть идет в страну поэта, —

сказал Гёте. Если это справедливо в отношении к иностранному писателю, то еще справедливее, когда речь идет о соотечественнике. Едва ли можно вполне изучить какого-либо деятеля, не побывав в местах, где происходила его деятельность. Как непосредственное общение с живым человеком необходимо для полного постижения его личности, так и посещение мест, где некогда жил умерший, сближает вас с ним, воскрешая перед вами хотя часть обстановки, в которой он действовал. Причем на местах сохраняются часто не только драгоценные для биографии предания, но и важные письменные документы, с которыми почти невозможно ознакомиться издалека.

С этими мыслями посетил я прошлого года некоторые приволжские губернии, где родился Державин и потом, во время пугачевщины, находился в командировке, также Тамбовскую, которую он управлял; а нынешним летом ездил в Петрозаводск, где началось его губернаторское поприще<sup>1</sup>.

По возвращении из Петрозаводска отправился я по Николаевской железной дороге до Волховской станции, чтобы от туда побывать в имении Державина *Званке* и в Хутынском монастыре, где он похоронен. Званка, находящаяся на левом

берегу Волхова в пяти верстах от станции, принадлежала собственно второй жене Державина, урожденной Дьяковой; здесь он проводил лето в последние годы жизни, здесь он и умер 9-го июля 1816 года. Вдова его, Дарья Алексеевна, прожила еще до лета 1842 года. Частое сообщество с архимандритом Фотием и графиней Орловой в Юрьевом монастыре обратило и ее помыслы к богоугодным делам: в завещании она изъявила волю, чтобы в этом имении положено было начало женскому монастырю, духовному училищу или чему-либо подобному. Вероятно, однако ж исполнение этого плана встретило непреодолимые препятствия, ибо несмотря на то, что к Званке присоединена была для той же цели значительная наличная сумма, мысль завещательницы до сих пор не осуществлена. Пока время шло после ее смерти, запустелая званская усадьба все более и более разрушалась. Наконец, в 1858 г., вследствие осмотра строений особою комиссией, оказалось нужным господский дом разобрать, чтоб уберечь годный еще материал от дальнейшего действия течи, что и было исполнено. В этом я мог удостовериться на месте. Едущий на пароходе по Волхову тщетно стал бы искать на возвышенном берегу двухэтажный дом с мезонином, представленный на рисунке, который был приложен в 1810 году к «Вестнику Европы» (№ 2). Берега Волхова от Новгорода вообще низки и ровны, но здесь земля подымается довольно длинным овальным холмом, посредине которого возвышался дом; фасад его к реке был снабжен балконом на столбах и каменною лестницей, перед которою бил фонтан; снизу, по уступам холма был устроен покойный вход. Теперь ничего этого уже нет; видны только остатки крыльца, на месте же самого дома лежат разбросанные кирпичи и сложена груда камней. Рано исполнилось предвещание поэта, высказанное им в «Жизни Званской», стихотворении 1807 г., посвящен-



ном Евгению Болховитинову, в то время епископу старорусскому и викарию Новгородскому:

Разрушится сей дом, засохнет бор и сад.

Зато не оправдался следующий за этим стих:

Не вспомняется нигде и имя Званки.

Оно известно всякому образованному русскому. Проезжающий по Волхову с любопытством ищет следов усадьбы Державина и, не находя их, с грустью размышляет, как русские не умеют ценить и охранять остатки своего прошлого, с которыми соединяются славные воспоминания, составляющие в других странах предмет народной гордости.

Влево от дома (если стоять на берегу, лицом к реке) был сад, теперь совершенно заросший: только на отдельном крутом холме видны деревянные столбы бывшей тут беседки, около которой еще и до сих пор растет зелень с одичалыми цветами. Здесь поэт любил сидеть и обдумывать свои создания<sup>2</sup>; здесь, любуясь Волховом, он заставил его говорить:

Я мирный гражданин, торговый,  
И беспрестанно в хлопотах;  
За старым караваном новый  
Ношу лениво на плечах.  
Наполнен барками, судами,  
На парусах и бечевой,  
Я русских песен голосами  
Увеселяю слух лишь свой.

(Волхов Кубре, 1804)

Уцелели только немногие строения: баня, где иногда отводилось помещение части многочисленных гостей, съезжавшихся на Званку; каретный сарай и часовня. Стоявшая внизу, вправо от усадьбы, ткацкая совершенно исчезла. Но сзади места, где был господский дом, виден теперь навес, под которым сложены разобранные бревна и доски его, и там же два

каменные небеленые флигеля, построенные для келий предполагавшегося монастыря. Все здесь тихо, пустынно, мрачно, а было время, когда на этом самом месте кипела жизнь, привольная и шумная.

Быт и хозяйство Званки, несмотря на известную расчетливость Дарьи Алексеевны, были устроены на широкую ногу: дом и сад часто оглашались веселым разговором оживленного общества, громом музыки и даже пушек. К таким-то дням относится то, что Державин говорит о своей усадьбе:

Стекл заревом горит мой храмовидный дом,  
На гору желтый всход меж роз осиявая,  
Где встречу водомет шумит лучей дождем,  
Звучит музыка духовая.

Или описываемый им тут же обед, состоявший из блюд, которые:

Прекрасны потому, что взор манят мой, вкус;  
Но не обилием иль чуждых стран приправой,  
А что опрятно всё и представляет Русь:  
Припас домашний, свежий, здоровый.

Когда же мы донских и крымских кубки вин,  
И липца, воронка и чернопенна пива  
Запустим несколько в румяный лоб хмелин, —  
Беседа за сладкими шутивая.

Но молча вдруг встаем: бьет, искрами горя,  
Древ русских сладкий сок<sup>3</sup> до подвенечных бревен;  
За здравье с громом пьем любезного царя,  
Цариц, царевичей, царевен.

Но в обыкновенные дни:

Возможно ли сравнять что с вольностью златой,  
С уединением и тишиной на Званке?

Поэт сам описывает нам, как он проводил один из таких дней то в поле, то в «светлице», где он «дивится в «Вестни-

ке», в газетах, иль журналах, россиян храбрости», куда к нему приходит врач сельской больницы,

Где также иногда по палкам, по костям  
Усатый староста иль скопидом брюхатый  
Дают отчет казне, и хлебу, и вещам,  
С улыбкой часто плутоватой.

.....  
Дворовых между тем, крестьянских рой детей  
Сбираются ко мне не для какой науки,  
А взять по несколько баранок, кренделей,  
Чтобы во мне не зрели буки.

Местные предания подтверждают эту черту в сельской жизни Державина. Крестьяне, помнящие его, говорят, что он был для них истинным отцом: бедным покупал лошадей, коров, давал хлеб и строил дома. В последние годы жизни он вставал в 6 часов утра, выходил на крыльцо, где его ожидали до тридцати человек мальчиков и девочек, садился среди них, заставлял читать молитвы и раздавал разные сладости. Часов в 11 уходил он в кабинет или в беседку, о которой мною было уж упомянуто, и занимался с небольшими перерывами всю остальную часть дня, нередко под звуки музыки или хора певчих из своих крестьян. Обыкновенною его одеждой в деревне был простой, из домашней материи халат, подпоясанный ниже живота, так как он любил носить за пазухой собачку, с которой не расставался до самой смерти своей. В праздничные дни после обеда крестьяне и крестьянки собирались около господского дома, составляли хороводы и веселились до вечера. Державин из своих рук потчевал водкой крестьян и раздавал ленты, платки и лакомства крестьянкам. Когда в саду поспевали яблоки, то почти в каждый праздник в заключение гулянья выносили несколько мешков яблок, высыпали под гору, и крестьяне с шумом бросались подбирать их. Хозяин был он плохой и, прогуливаясь в поле, не обращал

никакого внимания на работы. Тогда как появление колоссального образа жены его уже издали наводило страх на ленивых. Преосвященный Евгений был в 1807 г. на Званке и написал по этому случаю стих:

Средь сих болот и ржавин  
С бессмертным эхом вечных скал  
Бессмертны песни повторял  
Бессмертный наш певец Державин.

В память этого-то посещения и был нарисован вид Званки, с которого, как сказано выше, и появился в «Вестнике Европы». Евгений получил его при следующих стихах Державина:

На память твоего, Евгений, посещения  
Усадьбы маленькой изображен здесь вид.  
Гораций как бывал Мещеном в восхищенье,  
Так был обрадован мурза-пиит.

Те и другие стихи написаны на обороте подлинного рисунка, принадлежащего Киевской духовной семинарии, но, к сожалению, не совсем верного, что и неудивительно: рисовал его доморощенный художник, секретарь Державина, тот же Астафий Михайлович Абрамов, который переписывал все его бумаги. Что касается до эха, о котором упоминает Евгений в приведенных стихах, то никто из вышеписанных жителей, кого я расспрашивал об *отголоске*, не мог удовлетворить мое любопытство: «А что тебе в нем, — спросила меня в свою очередь баба на Соснинской пристани, — по нашему это значит *чудится*, то есть недоброе». «Какой отголосок? — заметил, в свою очередь, один из крестьян. — Оно, может статься, и было в старину, как везде бывает, а теперь какой там лес, весь вырублен, как везде бывает».

Единственное население Званки в настоящее время составляет семейство священника, живущее в убогом старом

домике на самом берегу Волхова; единственное здание, возвышающееся в величии и славе, — церковь, построенная уже после Державина, в 1821 году, но еще им самим заложённая. Глядя на нее, как не вспомнить восклицания, вырвавшегося из груди поэта в «Жизни Званской»:

Всё суета сует! я, воздыхая, мню,  
<...>  
Да будет на земли и в небесах Его  
Единого во всём вседействующа воля!  
Он видит глубину всю сердца моего,  
И строится моя им доля.

Приход этой церкви, сверх Званки, составляют деревни Дымна и Залозье, лежащие рядом с нею, да Атушево на противоположном берегу реки; население этих деревень простирается всего до двухсот душ<sup>4</sup>. Бывшей господской земли в Званке считается около 900 десятин, в числе которых одного леса до 600, дохода со всех статей имения можно получить рублей 2700 слишком. Таким образом, сумма в 250 рублей, ныне платимая за содержание Званки в аренде, представляется чересчур умеренною. В околотке слышал я, что если б пришлось продать это имение, то следовало бы взять за него от 75 до 100 тысяч. Припомнив, что вдова Державина сверх того пожертвовала в духовное ведомство 150 т. руб., нельзя не пожелать, чтобы на такие огромные средства, наконец, сооружен был памятник благотворительности, достойный и усердия дательницы и славного имени бывшего владельца Званки. Державинским должно бы по справедливости называться будущее учреждение. А как бы хорошо было, если бы из этих денег возникло училище! До сих пор берега Волхова не щеголяют грамотностью, как мог я заметить из разговора с двумя крестьянскими мальчиками на Соснинской пристани (почти у самой железной дороги), где я нанимал лошадей

для поездки на Званку. «А вы от кого туда едете?» — спросил меня один из них, с видом некоторой мнительности. «От академии», — сказал я, чтоб еще более озадачить востроглазого собеседника: «А ты слыхал про академию?» — «Слыхал», — отвечал он тоном несколько нерешительным. «Слыхал, слышал, — ты про все слыхал» — заметил, смеясь, его товарищ. «А знаете ли вы грамоте?» — «Нет, грамоте не знаем». — «Что ж так? разве вас здесь некому учить?» — «Нет, учитель-то есть». — «Так, значит, учить есть кому да некому учиться?» — «Нет, мы бы учиться и рады, да какой у нас учитель? Совсем глухой, ничего не слышит: у него станешь что спрашивать, а он тебя розгой драть!»

По выходе в отставку (с 1804) Державин каждой весной переезжал на Званку и оставался тут до глубокой осени. Здесь всегда бывал пир горой в дни его рождения и именин, 3-го и 13-го июля, на которые съезжались сюда из Петербурга и других мест родные его, приятели и знакомые. В последнее лето, вступая в 74-й год жизни, он страдал подагрой. День рождения был отпразднован благополучно, но до именин ему не суждено было дожить. Подагра стала подыматься. По докторскому предписанию он принимал рвотное каждое утро. 8-го числа, в субботу ему было гораздо лучше: он ходил гулять и прошел версты четыре. Под вечер сел он вместе с другими ужинать, но, поев ухи, почувствовал себя нехорошо и ушел к себе в кабинет. Когда около него собрались родные, решено было обратиться к петербургскому врачу Симпсону, и Державин продиктовал Абрамову письмо к Семену Васильевичу Капнисту (брату писателя). В этом письме, подписанном самим больным за несколько часов до смерти его, подробно описаны признаки болезни для передачи их доктору. Из слов письма видно, что Державин вовсе не подозревал опасности своего состояния. «Боюсь, — говорил он — чтоб как не уси-

лилась эта болезнь, хотя не очень большая, но меня, а особенно домашних много беспокоящая. Расскажи это ему (т. е. доктору) все подробно и попроси средства, чем бы избавиться». Но когда часов в 10 вечера больной лег в постель, то сделался жар и бред. Окончание письма написано Абрамовым уже от себя и содержит просьбу Дарьи Алексеевны, чтобы кто-нибудь из Капнистов, племянников ее, поспешил приехать на Званку<sup>5</sup>. Ночью часу во 2-м Державина не стало. Незадолго перед тем он спросил: который час? и уснул. Хотели посмотреть, лучше ли ему, и увидели, что он перестал дышать. В 5 часов утра догорели свечи, перед которыми он читал молитвенник, лежавший еще раскрытым перед его изголовьем.

На противоположном берегу Волхова, верстах в 55 от Званки, лежит Хутынъ монастырь. Туда поздно вечером повезли тело Державина на траурной лодке; гроб стоял на катафалке под балдахинем. Тихо плыла мрачная лодка при мерцании факелов, мерном плеске весел и погребальном пении. Таинственна казалась эта ночная картина, достойная воображения навек уснувшего поэта, умевшего рисовать смерть такую могучею кистью.

Державин похоронен в приделе соборной церкви<sup>6</sup> монастыря, против местного образа Пресвятыя Богородицы; над гробом, на каменном постаменте высечена надпись. В стороне, против стеной ниши за чугунною решеткой стоит мраморный памятник: над высоким четверугольным пьедесталом, передняя сторона которого покрыта медною доскою с надписью, возвышается мраморная же урна, а у подошвы, над ступенями медная лира. Вверху ниши, пред образом Спасителя горит неугасимая лампада. Таким образом, здесь благодаря совестливости монастырского начальства строго исполняется распоряжение вдовы Державина, назначившей на содержание лампады и на поминовение мужа проценты с 3000 рублей, пожертво-

ванных ею на этот предмет. Только зимою холод и сырость не дают гореть лампаде. Не такова была участь другого подобного распоряжения, сделанного самим Державиным в селе Егорье-ве (Казанской губернии, Лаишевского уезда), где я был прошлого года. Там похоронены родители Державина. В 1785 г. он определил на вечные времена небольшую ежегодную сумму с лежащих в околотке имений своих на поминовение раз в неделю предков его. К удивлению моему, нынешний молодой священник села Егорьево даже и не знал ничего о таком распоряжении и, услышав о нем в первый раз от меня, тщетно перерыл весь церковный архив для отыскания поданной бумаги. Мне неизвестно, нашлась ли она после моего отъезда.

Перед гробницу Державина приходят на память слова его: «В могиле буду я, но буду говорить»<sup>7</sup>.

Тому, кто без предубеждения разверяет написанное им, он скажет много и верного, и разительного, много такого, что и в применении к настоящему времени не потеряло своего глубокого смысла, да и никогда не утратит его. Понимая многообъемлющие способности русского народа, он указывал ему великую роль в будущем Европы. В оде «На взятие Измаила» поэт, изобразив в могучих образах ход судеб этого народа, мечтает об участии его в водворении прочного европейского мира и, наконец, восклицает:

Чего не может род сей славный,  
Любя царей своих, свершить?  
Умейте лишь, главы венчанны!  
Его бесценну кровь щадить.  
Умейте дать ему вы льготу,  
К делам великим дух, охоту  
И правотой сердца пленить.  
Вы можете его рукою  
Всегда, войной и не войною,  
Весь мир себя заставить чтить.





ИОСИФ, АРХИМАНДРИТ

## Державинская Званка

Кто из знакомых с литературою отечественной поэзии не слышал о Званке, где провел последние годы своей жизни и где скончался в 1816 году (8-го числа июля) славный певец «Фелицы» и автор знаменитой оды «Бог» Гавриил Романович Державин? Не здесь, впрочем, была задумана и написана эта ода, переведенная почти на все европейские языки и даже на японский (бывшим в плену у японцев капитаном Головинным); она была задумана, как известно, во время пасхальной утрени в Зимнем дворце и написана в городе Нарве, куда нарочито уединялся автор в 1781 году от развлечений столицы. Судя по местоположению Званки на левом берегу Волхова, вдали от городского шума, среди сельской тишины, можем утверждать, что и Званское уединение не менее Нарвского способствовало набожному чувству маститого поэта возлетать «несытым некаким пареньем в высоты» и располагало его в подобные минуты, — при живом представлении «безмерной разности» между непостижимым Божеством и постигаемым существом своей личности, — «благодарны слезы лить». Этим религиозно-нравственным стремлениям человеческого духа, сознанным и глубоко прочувствованным великим поэтом, вполне соответствуют возникшие в его любимой Званке учреждения, о которых мы намерены сообщить добы-

тые нами сведения, именно: женский монастырь и училище для девиц духовного происхождения.

Существенная задача каждого училища (мужского и женского, светского и духовного) состоит в пробуждении духовных стремлений к высшему миру; а жизнь монастырская немислима без сердечного сокрушения и слезных молитв. При посещении Званки, 9-го числа июля сего года, нам удалось собрать точные сведения об устройении здесь женского монастыря и училища; просим извинения у почитателей великого поэта в том, что мы будем излагать эти сведения самою сухою прозою официальных бумаг. В 1839 году (через 23 года по смерти Державина) супруга д. тайного советника Г. Р. Державина, Дарья Алексеевна Державина, урожденная Дьякова, составила духовное завещание, по которому ее благоприобретенное имение — село Званка, со всеми угодьями и капиталом в 150 тысяч рублей ассигнациями, уступалось духовному ведомству для устройства женского монастыря и училища для девиц, с наименованием последнего «Державинским». Было ли здесь какое участие Юрьевского архимандрита Фотия, или влияние примера известной благотворительницы графини Анны Алексеевны Орловой-Чесменской, мы не знаем; но во всяком случае не можем не воздать похвалы за столь крупное пожертвование.

Это завещание, как составленное законным порядком, по смерти Державиной было засвидетельствовано в Петербургской гражданской палате 12 июля 1842 года. Душеприказчик Державиной, сенатор Бороздин, в 1844 году подал в Святейший Синод прошение об исходатайствовании дозволения на учреждение в селе Званке женского монастыря во имя Знамения Божией матери и при оном училища для бедных девиц духовного звания с наименованием его «Державинским». По всеподданнейшему докладу Св. Синода от 13-го числа марта

1851 года последовал высочайший указ в 11-й день августа того же года: «принять в духовное ведомство пожертвованные Державиною угодья и земли села Званки для учреждения в сем месте женского монастыря с училищем для девиц духовного звания; крестьян же села Званки обратить в казенное ведомство».

По принятии в духовное ведомство всего означенного пожертвования бывший митрополит Новгородский и Петербургский Григорий в декабре 1859 года представил Св. Синоду соображения об открытии в селе Званке женской обители с третьим классом женских монастырей и училище для 35 девиц духовного звания. На основании сих соображений составлены были при духовно-учебном управлении два проекта — один на возведение вновь каменного корпуса с присоединением к нему двух оставшихся каменных флигелей для помещения женского монастыря, и другой — на возведение каменного здания для училища, — всего на 71 тысячу рублей. Проекты сии были препровождены в конце 1860 года к нынешнему митрополиту Исидору для дальнейших распоряжений.

По рассмотрении проектов и предположений завещательницы, высокопреосвященный митрополит донес Св. Синоду: 1) переданной душеприказчиком Державиною сенатором Бороздиным суммы едва достаточно для устройства одних помещений для монастыря и училища; а на содержание монахинь, воспитанниц и необходимого для них причта никаких надежных источников не имеется в виду; 2) имение, состоящее из леса и земли, не обещает значительных доходов; 3) на доходы с богомольцев монастырь по местным условиям располагать также не может; 4) при заведении училища в монастыре, удаленном от города, всегда встречаться может затруднение в добывании свежих припасов для содержания воспитанниц,

а еще больше будет затруднений в приискании учителей. По сим соображениям, находя неудобным устройство монастыря в отдаленном от города селе Званке, при таких ограниченных средствах, владыка предложил на усмотрение Св. Синода следующие свои соображения: 1) имение Званку продать, — что допускается и завещанием<sup>1</sup>; 2) находящийся близ города Новгорода Деревяницкий мужеский монастырь преобразовать в женский и при нем устроить училище для девиц духовного звания; 3) малочисленную братию Деревяницкого монастыря перевести в Отенский монастырь Новгородской епархии с наличным капиталом и другими хозяйственными вещами, а капитал Отенского монастыря (57,150 руб.) обратить на усиление способов к содержанию предполагаемого училища; 4) при преобразовании Деревяницкого монастыря в женский усвоить сему последнему званию штатного третьеклассного монастыря, с оставлением при оном нынешнего штатного жалованья и всех угодий (кроме капиталов), ему ныне принадлежащих (это уже разрешено высочайшею властью, хотя не по этому представлению, как увидим; для прочих епархий, где не знают, как поддержать малолюдные мужские монастыри, указан здесь пример очень благодетельный, именно — преобразовать их в женские монастыри с устройством в них приютов для сирот епархиального духовенства); 5) часть денег, назначенных Державиною на обстройку зданий в Званке, употребить на перестройку зданий Деревяницкого монастыря.

При таких предположениях представляются следующие выгоды для училищного монастыря: 1) монастырь и училище могут быть достаточно обеспечены и упрочены сосредоточением суммы, жертвуемой Державиною — капитала Отенского монастыря, — штатного жалованья Деревяницкого монастыря и доходов с его угодий, — наконец, той суммы, какая

получится от продажи Званки; 2) перестройки в Деревяницком монастыре потребуют менее издержек, нежели устройство зданий в Званке; 3) местность монастыря, не слишком удаленная от города (в 3-х верстах), весьма благоприятна для учебного дела, тогда как в Званке нельзя иметь учителей без достаточного жалованья и без особого помещения для них.

Столь практические и благодетельные соображения не могли быть приведены в исполнение по решительным заявлениям наследников покойной Дарьи Алексеевны Державиной. Ближайшими наследниками Державиной, от которых Св. Синод пожелал иметь последний отзыв об указываемом способе исполнения завещательных распоряжений их родственницы, оказались в живых: вдова тайного советника Елисавета Николаевна Львова, — вдова генерал-майора Вера Николаевна Воейкова и племянник их Алексей Васильевич Капнист. Первая из них от 12 числа декабря 1864 года письменно сообщила, что как она, так и сестра ее Воейкова и племянник их Капнист, находящийся в Риме, «не желают изменять воли завещательницы Державиной, которая хотела именно в своем имении Званке основать женскую обитель и в ней училище для девиц духовного звания, желая сим добрым и полезным делом обессмертить память своего мужа, действ. тайного советника Г. Р. Державина, любившего отдыхать от служебных своих занятий именно на Званке, где он и скончался».

Таким образом Державинская Званка не обратилась в частную усадьбу какого-либо землевладельца; в ней открыт с 1866 года (ровно чрез 50 лет по смерти Державина) женский монастырь с училищем для девиц духовного звания. Первою игуменьей монастыря и начальницею училища были монахиня Поликсения, вызванная из Тверского Христорождественского монастыря, дочь генерал-лейтенанта Н. А. Уша-

кова. Под ее личным надзором устроился двухэтажный каменный дом посреди двух каменных флигелей и приспособлен для трех классов в верхнем этаже и для рекреационной залы, столовой и спальных комнат — в нижнем этаже. Работы были ведены экономически и в общей сложности не превышали двадцати тысяч рублей серебром, взятых из Державинского капитала; этот капитал с течением времени увеличился, так что из него теперь отчислено неприкосновенных 78 300 рублей, дающих ежегодный процент по 3422 рубля 50 к. на содержание училища. Для той же цели служит ежегодная плата за сенокосные луга по 650 рублей. Общий расход по содержанию училища и монастыря в течение года, по мере получаемых доходов, не может превышать пяти тысяч рублей; неизбежные дефициты пополняются частными благотворителями. Каменная церковь, устроенная в прежние времена для села Званки, стоит отдельно от училищного и монастырского помещения. Монастырские келии деревянные; монахинь и указных послушниц 9 и кроме того 15 послушниц живут по паспортам. Одна из послушниц настолько имеет сведений в пении и музыке, что состоит преподавательницею пения для воспитанниц училища (послушница Журавлева). Нынешняя начальница училища и монастыря, игуменья Софья, служила при первой игуменье, с самого основания этих учреждений в селе Званке, в звании ее помощницы; с февраля 1877 года — по смерти игуменьи Поликсены — утверждена в должности начальницы с возведением в сан игуменьи. Помощницею по училищу и казначею по монастырю считается ныне монахиня Аркадия, окончившая курс в Петербургском Екатерининском институте. Учащий персонал состоит из трех учителей семинарского образования и трех воспитательниц, окончивших курс в местном училище; всех воспитанниц находится 46. Из них в первом классе 20, — в сред-

нем — 14 и в высшем — 12. Можно пожелать, чтобы епархиальное духовенство измыслило средства для удержания учителей по крайней мере на 6 лет и для привлечения сюда особого законоучителя с высшим образованием, кроме священства местного, обязанного исполнять требы для соседних поселян и совершать службы для монашествующих. Такое же точно училище, по особому ходатайству митрополита Исидора, открыто для сирот духовного звания с 1875 года в Деревяницком монастыре, преобразованном в женский.



# Комментарии





В публикуемый сборник вошло большинство сохранившихся мемуарных текстов о Державине. Значительная их часть изображает поэта в последние годы его жизни либо состоит из разновременных дневниковых записей. Поэтому группировать основной материал по тематическим разделам, периодам жизни Державина, а также характеру связей с поэтом авторов воспоминаний показалось нецелесообразным. В то же время интересно проследить процесс постепенного формирования в сознании читателей целостного представления о личности Державина, отраженный хронологией появления мемуаров в печати. В связи с этим некоторые тексты публикуются в их первоначальной редакции как факт литературной жизни определенной эпохи (например, очерк С. Н. Глинки «Мое первое свидание с Державиным»). Часть мемуаров печатается с уточнениями по рукописям (воспоминания П. Н. Львовой, Е. Н. Львовой, С. В. Скалон, А. П. Кожевникова).

Тексты публикуются по современным нормам орфографии и пунктуации. Ссылки на произведения Г. Р. Державина даются по изд.: Сочинения Державина с объяснит. примеч. Я. Грота: в 9 т. СПб., 1864—1883 (с указанием тома и страницы).

## Предисловие

<sup>1</sup> См. с. 28—29, 39 наст. изд.

<sup>2</sup> См. с. 61 наст. изд.

<sup>3</sup> См. с. 110 наст. изд.

<sup>4</sup> Упомянутый портрет кисти А. А. Васильевского автор воспоминаний увидел на выставке в Академии художеств и так описал его: «Знаменитый старец был изображен в малиновом бархатном тулупе, опущенном соболями, в палевой фуфайке, в белом платке на шее и в белом же колпаке. Дряхлость и упадок сил выражались на морщиниватом лице его» (см. с. 123 наст. изд.).

<sup>5</sup> См. с. 123—124 наст. изд.

<sup>6</sup> См. с. 131 наст. изд.

<sup>7</sup> Об этом см.: *Елизаветина Г. Г.* Журнальные отклики 1860-х годов на публикацию «Записок» Г. Р. Державина // *Творчество Г. Р. Державина. Специфика. Традиция: научные статьи, доклады, очерки, заметки.* Тамбов, 1993. С. 35–43.

<sup>8</sup> См.: План академического издания сочинений Державина: Записка Я. К. Грота. СПб.: тип. Императорской Академии наук, 1859; То же // Санкт-Петербургские ведомости. 1859. № 103.

<sup>9</sup> Опубликовано в 1903 г. в журнале «Русский вестник» (Т. 238. Февраль. С. 549–580).

## ВОСПОМИНАНИЯ, ДНЕВНИКОВЫЕ ЗАПИСИ, ОЧЕРКИ

П. И. ШАЛИКОВ

**Министр, Поэт, добрый человек, Патриот**

(Достопамятность в моей жизни)

Шаликов Петр Иванович (1768–1852), писатель-сентименталист, последователь Н. М. Карамзина. Автор поэтических сборников «Плоды свободных чувствований» (М., 1798–1801. Ч. 1–3.) и «Цветы граций» (М., 1802). Подражая Карамзину, написал «Путешествие в Малороссию» (М., 1803–1804. Ч. 1–2) и «Путешествие в Кронштадт» (М., 1805). В 1819 г. были напечатаны «Повести князя Шаликова». Издавал журналы «Московский зритель» (1806), «Аглая» (1808–1810, 1812), «Дамский журнал» (1823–1833), редактировал газету «Московские ведомости» (с 1813 или 1824 по 1836 г.).

Летом 1810 г. побывал в Петербурге, где посетил Державина. (Живя летом в новгородском имении Званка, Державины иногда приезжали в Петербург.) Мемуарный очерк о встрече с поэтом напечатал в своем журнале «Аглая» за подписью N. N. и с пометой «С Севера на Юг. 1810 июля 10 дня»

(1810. Ч. XII. Октябрь. С. 22–28). Внимание на этот очерк, повторно опубликовав его, обратил А. С. Курилов в статье «Начало державиноведения в России» (Г. Р. Державин и русская литература. М., 2007. С. 34–37).

Текст печатается по журнальной публикации.

<sup>1</sup> Не холодное равнодушие,  
Не гордыня  
Жестокие сердца смиряет.  
*Ж.-Ж. Руссо*

<sup>2</sup> Немецкий писатель К. Ф. Мориц, автор «Путешествия немца по Англии в 1782 году» («*Reisen eines Deutschen in England im Jahr 1782*») (1783).

<sup>3</sup> Гораций (Кн. III. Ода I).

<sup>4</sup> *Дмитриев И. И.* К портрету Г. Р. Державина (1803).

<sup>5</sup> По-видимому, имеются в виду моралистические «наблюдения», появившиеся в альманахе Шаликова «Аглая», и путевые очерки, которые он публиковал также в «Вестнике Европы».

<sup>6</sup> Цитата из стихотворения И. И. Дмитриева «На высококомаршую милость, оказанную императором Павлом Первым потомкам Ломоносова» (1798).

## А. В. ХРАПОВИЦКИЙ

### Из «Дневника. 1782–1793»

Храповицкий Александр Васильевич (1749–1801), статс-секретарь императрицы Екатерины II, сенатор, мемуарист, поэт и переводчик. Начало его дружеских отношений с Державиным относится к концу 1770-х гг. В 1793 и 1797 гг. они обмениваются литературными посланиями-декларациями (I, 541–546, II, 45–51, 715–716). С 18 января 1782 г. до 2 сентября 1793 г. Храповицкий служит статс-секретарем Екатерины II. Находясь на этом посту, ведет «Памятные записки» («Дневник»). С 12 декабря 1791 до 2 сентября 1793 г. его сослуживцем (в такой же должности) был Державин.

Впервые «Памятные записки» (с пропусками) были опубликованы П. П. Свиньиным в журнале «Отечественные записки» в 1821–1828 гг. (записи о Державине, с пропуском критических замечаний в адрес тещи поэта:

1823. Ч. XVI. С. 73, 368; 1824. Ч. XVII. С. 57, 59–60; Ч. XVIII. С. 249. 1825; Ч. XXIV. С. 198–199, 343, 345, 348–349, 350–351; 1826. Ч. XXVII. С. 408. 1828; Ч. XXXIII. С. 155, 161). В 1858 г. в журнале «Библиографические записки» (№ 5. С. 139–141) появилась публикация «О Державине (Из дневника Храповицкого)», сделанная «по рукописному экземпляру Записок, находящемуся в библиотеке графа А. С. Уварова». В эту публикацию включены записи с 15 декабря 1791 по 30 апреля 1792 г.; восстановлены пропуски текста, за исключением предпоследней фразы в записи от 4 марта 1792 г. Полный текст Дневника опубликован Н. Барсуковым в 1874 г. (повторно как Приложение к журналу «Русский архив» в 1901 г.).

Текст печатается по: Дневник А. В. Храповицкого. 1782–1793. По подлинной его рукописи, с биографической статьей и объяснительным указателем Николая Барсукова. СПб., 1874. С. 204–205, 294, 296–297, 300–301, 386–387, 389–392, 394–395, 397, 408, 430, 434.

<sup>1</sup> Это утешит его (*фр.*).

<sup>2</sup> Можно найти место (*фр.*).

<sup>3</sup> Названия залов Екатерининского дворца в Царском Селе.

<sup>4</sup> Он не должен быть доволен беседой со мной (*фр.*).

<sup>5</sup> Об этом деле см.: *Державин Г. Р.* Записки. М., 2000. С. 137–139, 142, 152.

<sup>6</sup> У меня каменное сердце (*фр.*).

<sup>7</sup> Державин был награжден орденом св. Владимира 2-й степени 2 сентября 1793 г., при переводе его на службу в Сенат.

<sup>8</sup> Ярославский помещик, несправедливо, по мнению Державина, обвинявшийся в разбое. Об этом деле см.: *Державин Г. Р.* Записки. С. 138, 158, 159.

## А. С. ПУШКИН

### Державин

Воспоминание А. С. Пушкина о встрече с Державиным на лицейском экзамене впервые опубликовано В. А. Жуковским и П. А. Плетневым в «Современнике» (1837. Т. VIII. С. 242), где он завершал (под № XXXV) подборку «Анекдотов и замечаний» («Table-talk»).

Текст печатается по: *Пушкин А. С.* Собр. соч.: в 16 т. М.; Л., 1937–1959. Т. 12. С. 158.

И. И. ДМИТРИЕВ

**Державин**

(Из записок «Взгляд на мою жизнь»)

Дмитриев Иван Иванович (1760–1837), поэт, один из создателей литературы русского сентиментализма; министр юстиции (1810–1814), близкий друг Державина.

Над записками, озаглавленными «Взгляд на мою жизнь», работал в 1823–1826 гг. Опубликованы М. А. Дмитриевым, племянником автора, в 1866 г. Фрагмент «Державин» напечатан им же в журнале «Москвитянин» в 1842 г. (Ч. 1. № 1. С. 149–164).

Текст печатается по журнальной публикации. Комментарии М. А. Дмитриева не приводятся.

<sup>1</sup> «Санкт-Петербургский вестник» издавался Г. Л. Брайко с 1778 по июль 1781 г.

<sup>2</sup> «Собеседник любителей российского слова» издавался кн. Е. Р. Дашковой и О. П. Козодавлевым с июня 1783 по сентябрь 1784 г.

<sup>3</sup> Ода «Фелица» написана в 1782 г. и опубликована в первой книжке «Собеседника любителей российского слова» 20 мая 1783 г.

<sup>4</sup> Александром Ивановичем Дмитриевым (1759–1798), офицером, поэтом и переводчиком. О нем см.: *Канунова Ф. З.* Дмитриев А. И. // Словарь русских писателей XVIII века. Вып. 1 (А–И). Л., 1988. С. 268–269.

<sup>5</sup> В 1790 г., к которому относится описываемое событие, Державину было 47 лет.

<sup>6</sup> Державин находился под судом Сената, который «виновным его ни в чем не нашел», с 18 декабря 1788 по 4 июня 1789 г.

<sup>7</sup> Очаков был взят 6 декабря 1788 г. Великолепный праздник готовился по случаю взятия Измаила (11 декабря 1790 г.).

<sup>8</sup> «Описание празднества, бывшего по случаю взятия Измаила у его светлости господина генерал-фельдмаршала и великаго гетмана князя Григория Александровича Потемкина-Таврическаго, в присутствии ея императорского величества и их императорских высочеств, в Петербурге в доме близъ Конной гвардии, 1791 г. апреля 28 дня» (СПб., 1792).

<sup>9</sup> «Московский журнал» издавался Н. М. Карамзиным в 1791–1792 гг.

- <sup>10</sup> Потемкин скончался 5 октября 1791 г.
- <sup>11</sup> Ода «На коварство» (I, 315–332) впервые была напечатана в Сочинениях Державина (М., 1798).
- <sup>12</sup> Державин стал сенатором 2 сентября 1793 г.
- <sup>13</sup> Ода «Любителю художеств» (1791).
- <sup>14</sup> В оде «Приглашение к обеду» (1795).
- <sup>15</sup> Поэма И. Ф. Богдановича, законченная в 1783 г.
- <sup>16</sup> *Карамзин Н. М.* О Богдановиче и его сочинениях // Вестник Европы. 1803. Ч. 9. № 9. С. 3–18; № 10. С. 75–111.
- <sup>17</sup> Второе название «Выбор гувернера» (1792).
- <sup>18</sup> Фонвизин скончался 1 декабря 1792 г.
- <sup>19</sup> «На победу российского флота над турецким» (1770).
- <sup>20</sup> «Его сиятельству графу Григорию Григорьевичу Орлову. Генваря 25 дня 1771».
- <sup>21</sup> «На кончину князя Григорья Александровича Потемкина Таврического 1791 года, октября 5 дня».
- <sup>22</sup> «На рождение дочери».
- <sup>23</sup> Феклу Андреевну Козлову.
- <sup>24</sup> В журнальной публикации 1842 г. не напечатан конец фразы: «для совершения отважного дела: получить верховную власть или погибнуть».
- <sup>25</sup> Дж. Бельмонти (?–1771).
- <sup>26</sup> Письмо имп. Екатерины II А. П. Сумарокову от 15 февраля 1770 года // Чтения Общества истории и древностей российских. 1860. Кн. 2. С. 238.
- <sup>27</sup> Элегия «Все меры превзошла теперь моя досада...» (1770). Впервые была напечатана Н. И. Новиковым в Полном собрании всех сочинений А. П. Сумарокова: в 10 ч. М., 1781–1782. Ч. 9. С. 93.
- <sup>28</sup> Впервые была напечатана Н. И. Новиковым в Полном собрании всех сочинений А. П. Сумарокова: в 10 ч. Ч. 9. С. 134.
- <sup>29</sup> «На Сороку в защищение Кукушек» (III, 249–250).
- <sup>30</sup> Офицерский чин Державин получил 1 января 1772 г.
- <sup>31</sup> Далее в журнальной публикации не напечатаны слова: «и слегка подгулявший».

А. И. НЕСТЕРОВ

**Первое и последнее мое свидание с Державиным**

(июня 25-го 1813 г.)

Нестеров Аполлон Иванович (?)\*, поэт. В письме Нестерову от 6 мая 1812 (впервые опубликовано в журнале «Москвитянин» 1841. № 3. С. 117) Державин с похвалой отозвался об адресованном ему стихотворении «На постановление статуи Екатерины Великой в зале Московского дворянского собрания» («Я видел истукан священный...») и выразил согласие написать гимн на тот же случай, если кто-либо из старшин Московского дворянского собрания «отнесется к нему о том» (VI, 229–230). К сожалению, статуя Екатерины не уцелела «в общем разгроме Москвы» 1812 г.

Стихотворение Нестерова было прочитано на заседании Вольного общества любителей словесности, наук и художеств в Петербурге 8 августа 1812 г.

25 июня 1813 г. Аполлон Нестеров в Москве встречался с Державиным, отправлявшимся на Украину. Воспоминание об этой встрече он опубликовал в журнале «Москвитянин» (1843. № 10. С. 421–424).

Текст печатается по журнальной публикации.

<sup>1</sup> Цитата из стихотворения И. И. Дмитриева «Освобождение Москвы» (1795).

<sup>2</sup> Державины приехали в Москву 24 июня 1813 г. и уехали 28 июня. См.: *Морозова Н. П.* 1813-й год в жизни Г. Р. Державина // Г. Р. Державин и его время. Вып. 9. СПб., 2014. С. 126–127; *Иванов О.* Державин в доме Полторацких // Литературная учеба. 1993. Кн. 2. Март — Апрель. С. 219–227.

<sup>3</sup> *Нестеров Ап.* На смерть спасителя Отечества («Какое скорбное виденье!..») // Друг юношества. 1813. Июнь. С. 169–172; То же // Собрание стихотворений, относящихся к незабвенному 1812 году. М., 1814. С. 217–219.

---

\* Державин в письме Нестерову высказал предположение, что тот является сыном его тамбовского приятеля, землемера Якова Никитича Нестерова. В то же время в журналах 1810–1817 гг. публиковались стихотворения Аполлона Ивановича Нестерова. Известно также сочинение Ап. Нестерова «Отец-убийца дочери, или Следствие скорого мщения» (М., 1806).



<sup>4</sup> *Нестеров Ан.* Певцу Фелицы после первого моего с ним свидания в Москве июня 25 1813 («Сбылось сердечное желание...») // Вестник Европы. 1814. Ч. 74. № 8. С. 279–281. См. также: *Кукушкина Е. Д.* Стихотворные послания Державину (По рукописным материалам Российской национальной библиотеки) // XVIII век. Сб. 18 /под ред. Н. Д. Кочетковой. СПб., 1993. С. 170–171.

<sup>5</sup> *Нестеров Ан.* При гробе Державина («При томном месяца мерцанье...») // Вестник Европы. 1816. Ч. 90. № 21. С. 17.

## С. Н. ГЛИНКА

### Первое свидание с Державиным

Глинка Сергей Николаевич (1776–1847), писатель, журналист, автор мемуаров. В его журнале «Русский вестник» (1808–1824) Державин напечатал несколько стихотворений. Над «Записками» Глинка работал в 1830–1840-е гг. и тогда же публиковал их частями. В 1844 г. в журнале «Современник» (Т. XXXIV. № 5. С. 149–153) был напечатан мемуарный очерк «Первое свидание с Державиным», события которого относятся к 1796 г. В полном тексте «Записок», опубликованном в 1895 г. (современное переиздание: М., 2004), этот эпизод изложен в иной стилистической редакции.

В «Записках» содержатся еще два эпизода, связанные с Державиным: о присылке Л. А. Нарышкину домашних коврижек (относится, вероятно, к 1782 г.) и о журнальной полемике 1808–1809 гг.

Текст очерка печатается по публикации в журнале «Современник» (1844. Т. XXXIV. № 5. С. 149–153); остальные эпизоды по: Записки Сергея Николаевича Глинки. СПб., 1895. С. 4, 246–247.

<sup>1</sup> Журнал, издававшийся С. Н. Глинкой в 1808–1824 гг.

<sup>2</sup> Возможно, имеется в виду «Журнал для чтения воспитанникам военно-учебных заведений» (1836–1856).

<sup>3</sup> *Глинка С. Н.* Песнь великой Екатерине. СПб., 1796.

<sup>4</sup> Цитата из трагикомедии П. Корнеля «Сид».

### Из «Записок»

<sup>1</sup> Глинкам принадлежало село Сутоки Духовщинского уезда Смоленской губернии.

<sup>2</sup> Трагедия была написана в 1808 г.

<sup>3</sup> Журнал, издававшийся А. Е. Измайловым совместно с А. П. Бенитским и П. А. Никольским в 1809—1810 гг.

<sup>4</sup> Ода «Купидон» (1797).

<sup>5</sup> Оpubл. анонимно в 1808 г. (Ч. IV. С. 212), с примеч. в конце текста: «Издатель Рус. вестн. благодарит почтенную особу за сообщение из Петербурга сей лирической драмы. Хотя знаменитый сочинитель не подписал своего имени, но читатели легко отгадают оное по кисти пламенной и живописной». Стихотворение («пастушеская мелодрама с речитативом и хорами») «Обитель Добрады» (1808) написано по случаю ожидания императрицей Марией Федоровной приезда в Павловск ее дочери вел. кн. Марии Павловны, супруги наследного принца саксен-веймарского Карла Фридриха.

## А. С. СТУРДЗА

### Из статьи «„Беседа любителей русского слова“ и „Арзамас“ в царствование Александра I и мои воспоминания»

Стурдза Александр Скарлатович (1791—1854), дипломат, писатель, исследователь политических и религиозных вопросов.

Принимал участие в чтениях «Беседы любителей русского слова». На восьмом ее заседании (23 марта 1812 г.), проходившем в доме Державина на Фонтанке, А. С. Шишковым был прочитан «новый труд» Стурдзы «Опыт о преподавании российскому юношеству греческого языка». Выдержки из этой книги опубликованы в журнале «Чтения в Беседе любителей русского слова» (Чтение 8. СПб., 1813. С. 72—78). Позднее автор стал участником «Арзамаса».

Г. Р. Державин был знаком с сестрой Стурдзы Роксандрой Скарлатовой. Восхищенный чтением ею оды «Бог», поэт написал стихотворение «Полигимнии» (1816).

А. С. Стурдза является автором нескольких мемуарных работ, в том числе сочинения «„Беседа любителей русского слова“ и „Арзамас“ в царствование Александра I и мои воспоминания», впервые опубликованного в 1851 г. в журнале «Москвитянин» (Ч. VI. № 21. Кн. 1. С. 1—22). Перепечат. в кн.: Арзамас: в 2 кн. М., 1994. Кн. 1. С. 42—59.

Текст печатается по журнальной публикации (с. 4—8).

<sup>1</sup> Из любви к греческому (*фр.*).

*И. Ф. Тимковский*

## И. Ф. ТИМКОВСКИЙ

### Из «Записок: Мое определение в службу»

Ч. 3. Шувалов

Тимковский Илья Федорович (1773—1853), юрист, профессор Харьковского университета, писатель. В 1802 — начале 1803 г. служил в Министерстве юстиции под началом Г. Р. Державина. По его поручению составил «Проект третейского совестного суда» (VII, 348—376). С 1838 г., выйдя в отставку, жил в родовом имении Турановка Черниговской губернии, где «занимался писанием воспоминаний, а также сельским хозяйством».

Воспоминания Тимковского печатались в журнале «Москвитянин» в 1851 г. (Ч. III. № 9—10. Кн. 1—2) и 1852 г. (Ч. V. № 17, 18, 20), позднее перепечатаны в исправленном виде в «Русском архиве» (1874. Т. 1. № 6).

Текст печатается по: [Тимковский И. Ф.] Записки Ильи Федоровича Тимковского. Мое определение в службу. Сказание в трех частях (Писано в 1850 году) // Русский архив. 1874. Т. 1. № 6. Стб. 1443—1444, 1447—1448.

<sup>1</sup> Спор состоялся по поводу срока военной службы для дворян, не дослужившихся до офицерского чина. Державин и военный министр С. К. Вязмитинов считали, что, согласно «Указу о вольности российского дворянства», этот срок должен составлять 12 лет. С. Потоцкий возражал против такого срока в отредактированном В. Н. Каразиным «Мнении», получившем поддержку дворян и большинства сенаторов.

С. П. ЖИХАРЕВ

### Из «Записок современника» и «Воспоминаний старого театрала»

Жихарев Степан Петрович (1788—1860), чиновник, театральный драматург-переводчик, поэт, мемуарист. С Г. Р. Державиным общался в 1806—1816 гг., когда служил в Петербурге. Был членом-сотрудником второго (державинского) разряда «Беседы любителей русского слова», в «Чтениях» которой напечатано его стихотворение «К другу, в его уединение» (1812. № 6. С. 60—64). Две баллады Жихарева и стихотворение «Крылатые пролетают годы...» Державин использовал в качестве примеров в трактате «Рас-

суждение о лирической поэзии» (Державин Г. Р. Продолжение о лирической поэзии. Часть 3-я / публ. В. А. Западова // XVIII век. Сб. 15: Русская литература XVIII века в ее связях с искусством и наукой / под ред. А. М. Панченко. Л., 1980. С. 268–271, 272–273). В историю литературы Жихарев вошел как автор «Записок современника» (состоят из «Дневника студента» и «Дневника чиновника») и примыкающих к ним «Воспоминаний старого театрала». Эти тексты являются литературно обработанной композицией из дневниковых записей автора 1805–1807 гг. и писем к его двоюродному брату кн. С. С. Барятинскому. Местонахождение неопубликованных дневников Жихарева за другие годы неизвестно. Впервые «Дневник студента» печатался в журнале «Москвитянин» (1853. № 3–5, 8; 1854. № 1, 18, 19), «Дневник чиновника» и «Воспоминания старого театрала» — в «Отечественных записках» (1855. № 3–10; 1854. № 9–10).

Текст печатается по: Жихарев С. П. Записки современника. М.; Л., 1955. С. 12, 93, 107, 118–119, 133, 168, 201, 276–278, 282, 286, 292, 303, 307–308, 317, 330–331, 341, 348–349, 352–353, 356, 370–372, 379–380, 429–430, 489–490, 504–505, 515, 574–576.

<sup>1</sup> Стихотворение «Лето» (1804), опубликованное в журнале «Вестник Европы» (1805. № 18. С. 107).

<sup>2</sup> Дмитриев И. И. К Г. Р. Державину (впервые: Вестник Европы. 1805. № 23. С. 202). В ответ на это послание Державин написал стихотворение «Цыганская пляска» (опубл. в ч. 22 (с. 134) «Вестника Европы» за 1805 г.).

<sup>3</sup> «Добрыня, театральное представление с музыкою, в пяти действиях» (1804).

<sup>4</sup> Цитата из стихотворения Державина «Время» (1805). Строка 3 в подлиннике: «Коль отер сиротски слезы».

<sup>5</sup> Полный текст и ответ на него см.: (VIII, 837, 840).

<sup>6</sup> Цитата из стихотворения Державина «К первому соседу» (1780).

<sup>7</sup> Впервые опубл. отд. изданием в 1806 г.

<sup>8</sup> Портрет Державина был написан в 1801 г. по программе, изложенной в стихотворении «Тончию» (II, 397–404). При жизни Державина находился в его доме на Фонтанке. Сегодня хранится в Государственной Третьяковской галерее.

<sup>9</sup> Трагедия, сочиненная С. П. Жихаревым.

<sup>10</sup> Цитата из оды «Фелица» Державина.

<sup>11</sup> Местонахождение бюста в настоящее время неизвестно.

<sup>12</sup> Завадовский.

<sup>13</sup> В оде «На счастье» (1789) есть строфа, в которой высмеивается Завадовский. В «Объяснениях» на свои Сочинения Державин пишет о нем: «...быв в канцелярии графа Румянцева, прославился сочинением пышных от него реляций и педантическим слогом указа при издании учреждения о управлении губерний и прочими речами, от лица сената императрице говоренными. Он вошел в родство через брак к большим боярам и в роскошных пирах повторял часто известную оду Горация, которая начинается Б е а т у с, т. е. Б л а ж е н» (III, 626).

<sup>14</sup> «Ябеда» была напечатана (с цензурными купюрами) и поставлена на сцене в 1798 г., но вскоре запрещена. В 1805 г. Александр I вновь разрешил постановку пьесы.

<sup>15</sup> Задуманные собрания переросли позднее в литературное общество «Беседа любителей русского слова» (1811–1816).

<sup>16</sup> Это стихотворение под заглавием «К Филалету» было напечатано в журнале «Сын отечества» (1816. Ч. 31. № XXXI. С. 205–207) и в «Учебной книге российской словесности» (СПб., 1822. Ч. 1–4) Н. И. Греча.

<sup>17</sup> Цитата из стихотворения «На выступление корпуса гвардии в поход» (1807).

<sup>18</sup> Г. Г. Политковскому.

<sup>19</sup> К этой фразе С. П. Жихаревым сделано обширное примечание о неудавшейся попытке Державина передать (через усыновление) свою фамилию Л. Н. Львову.

<sup>20</sup> «Молитва по высочайшем отсутствии в армию его императорского величества» (1807). Император Александр I отбыл из Петербурга в действующую армию 16 марта 1807 г.

<sup>21</sup> Поэма «Октябрьская ночь, или Барды» (1807). Подражание поэме немецкого переводчика Оссиана Михаэля Дениса «Die Oktobernacht. Eine alte Nachahmung Ossians» («Октябрьская ночь. Древнее подражание Оссиану»).

<sup>22</sup> «Гони природу в дверь — она влетит в окно» (*фр.*).

<sup>23</sup> Слово «швермер» (*нем.* Schwärmer — мечтатель, гуляка) употреблено здесь в значении, существовавшем в пиротехнике: змейка, ракета.

<sup>24</sup> Примеч. С. П. Жихарева: «Трагедию, присланную на просмотр кн. Шаховскому Иваном Семеновичем Захаровым, известным сочинителем „Похвального слова женам“, и посвященную ему каким-то приказным писакою. В ней Андромаха для освобождения из заключения Гектора, своего

супруга, подкупает темничного стража за три тысячи червонных, в то время когда кулисы, как сказано в выноске, должны были представлять молнию и гром».

<sup>25</sup> П. И. Соколов.

<sup>26</sup> С. П. Жихарев.

<sup>27</sup> Львова.

М. А. ДМИТРИЕВ

### Мелочи из запаса моей памяти

<О Державине>

Дмитриев Михаил Александрович (1796—1866), поэт, критик, переводчик, мемуарист; племянник И. И. Дмитриева. С юности был знаком с широким кругом известных литераторов. Из кратких рассказов о них, анекдотов, зарисовок составил книгу «Мелочи из запаса моей памяти». В нее он включил и рассказы о Державине, слышанные как от И. И. Дмитриева, так и от других лиц. Впервые отрывки из книги публиковались в журнале «Москвитянин» в 1853 г., отд. изданием — в 1854 г. Второе издание, значительно дополненное по рукописи, с указателем, увидело свет в 1869 г. Современное издание: *Дмитриев М. А.* Московские элегии. Стихотворения. Мелочи из запаса моей памяти <в сокращении>. М., 1985.

Текст печатается по: *Дмитриев М. А.* Мелочи из запаса моей памяти. 2-м тиснением. М.: Изд. «Русского архива», 1869.

<sup>1</sup> Цитата из оды Державина «Призывание и явление Пленеры» (1794).

<sup>2</sup> В оде «Любителю художеств» (1791) есть строки:

Лазурны тучи, краезлаты,  
Блистающи рубином сквозь...

<sup>3</sup> Использован в оде «Евгению. Жизнь Званская» (1807).

<sup>4</sup> Придворного банкира Сутерланда.

<sup>5</sup> Великий князь Павел Петрович.

<sup>6</sup> См.: Анакреоновы стихотворения. С присовокуплением краткого описания его жизни. Перевод с греческого Ивана Мартынова. СПб., 1801. — Перевод сделан белыми стихами.

<sup>7</sup> См.: Стихотворение Анакреона Тийского. СПб., 1794.

<sup>8</sup> Примеч. М. А. Дмитриева: «Оно было напечатано в „Москвитянин“ М. А. Дмитриевым».

<sup>9</sup> Державин Г. Р. Оды, переведенные и сочиненные при горе Читалагае 1774. СПб., [1776 ?].

<sup>10</sup> Примеч. М. А. Дмитриева: «См.: <Санкт-Петербургский вестник>. 1780. Т. 6. С. 315».

<sup>11</sup> Издание было напечатано в 1808 г.

<sup>12</sup> Сочинения Державина: [в 5 ч.]. СПб.: в тип. Шнора, 1808—1816. Т. 5 напечатан в тип. В. Плавильщикова.

<sup>13</sup> Сочинения Державина: [в 4 ч.]. СПб.: [изд. А. Смирдина], 1831.

<sup>14</sup> Сочинения Державина: [в 2 т.]. СПб.: изд. Александра Смирдина, 1847. (Полн. собр. соч. русских авторов).

## С. Т. АКСаКОВ

### Из очерка «Яков Емельянович Шушерин и современные ему знаменитости»

Воспоминания С. Т. Аксакова о Шушерине были впервые опубликованы в 1854 г. в журнале «Москвитянин» (№ 10. Май. Кн. 2. С. 85—118; № 11. Июнь. Кн. 1. С. 119—152) с подзаголовком: «Отрывок из воспоминаний. (Посвящается М. С. Щепкину)». Текст датирован мартом 1854 г.

Печатается по: Аксаков С. Т. Собр. соч.: в 5 т. М., 1966. Т. 2. С. 355.

<sup>1</sup> Цитата из оды «Бог» (1784).

## С. Т. АКСаКОВ

### Знакомство с Державиным

Аксаков Сергей Тимофеевич (1791—1859), писатель, чиновник, мемуарист. Учился в Казанской гимназии и Казанском университете, который окончил в 1807 г. и переехал в Москву, а оттуда в 1808 г. в Петербург. Здесь он служил до 1811 г., сначала переводчиком в Комиссии составления законов, затем в Экспедиции о государственных доходах. Позднее бывал в Петербурге наездами. Приехав зимой 1815 г., он познакомился с Державиным

и общался с ним до середины марта 1816. Воспоминаниям об этом периоде посвящен очерк «Знакомство с Державиным», работа над которым была закончена в мае 1852 г. Познакомившись с рукописью в 1853 г., И. С. Тургенев писал автору: «Посылаю вам статью вашу о Державине. Она чрезвычайно интересна и любопытна — и хотя великий поэт является в ней в чуть-чуть комическом свете, тем не менее общее впечатление трогательно — словно из другого мира звучит этот голос. Непременно надобно напечатать эту статью» («Вестник Европы». 1894. № 2. С. 480). Впервые очерк был опубликован в книге Аксакова «Семейная хроника и Воспоминания» (1856).

Текст печатается по: Аксаков С. Т. Собр. соч.: в 5 т. Т. 2. М., 1966. С. 304–325.

<sup>1</sup> Аркадия Тимофеевича Аксакова (1803–1860).

<sup>2</sup> М. А. Гарновский — адъютант и доверенное лицо князя Г. А. Потемкина. За финансовые махинации оказался в тюрьме. Дом его по указу Павла I был выкуплен казной под казармы Измайловского и Лейб-егерского полков.

<sup>3</sup> Сыновья близкого друга и родственника Державина В. В. Капниста, племянники супруги поэта.

<sup>4</sup> Примеч. С. Т. Аксакова: «Эта картина впоследствии была в Москве у родного племянника Державина, А. Н. Львова, скончавшегося в 1849 году». В настоящее время хранится в Государственной Третьяковской галерее.

<sup>5</sup> Примеч. С. Т. Аксакова: «Перевод Филоктета».

<sup>6</sup> Трагедия Державина «Ирод и Мариамна» была поставлена на сцене Императорского театра 23 ноября 1808 г., опубликована в 1809 г.

<sup>7</sup> Семеном Васильевичем Капнистом, жившим у Державиных с марта 1814 г.

<sup>8</sup> Трагедия «Евпраксия» (1808).

<sup>9</sup> Трагедия «Атабалибо, или Разрушение Перуанской империи».

<sup>10</sup> Опера «Грозный, или Покорение Казани» (1814).

<sup>11</sup> Примеч. С. Т. Аксакова: «Недавно узнал я, что напечатана трагедия „Василий Темный“».

<sup>12</sup> Четверостишие «Суд о басельниках»:

Эзоп, Хемницера зря, Дмитрева, Крылова,  
Последнему сказал: ты тонок и умен;



Второму: ты хорош для модных, книжных тем.

С усмешкой первому сжал руку — и ни слова (III, 520).

<sup>13</sup> Ода «Аристиппова баня» (1811).

<sup>14</sup> Примеч. С. Т. Аксакова: «Урожденная Дьякова, вторая супруга Державина».

<sup>15</sup> Примеч. С. Т. Аксакова: «Может быть, не всем известен этот технический термин. На „считке“ автор или доверенное от него лицо читает вслух всем актерам пиесу, приготовляемую к представлению. Этим чтением дается смысл и тон, который автор желает сообщить своей пиесе; актеры и актрисы обязаны соотноситься с ним. Так по крайней мере бывало прежде».

<sup>16</sup> Примеч. С. Т. Аксакова: «„Мизантроп“ вскоре был дан в бенефис г-жи Валберховой. Державин поручил мне взять для него бенуар, но, кажется, сама бенефициантка отвезла билет и атласную афишу знаменитому нашему барду. „Мизантроп“ был разыгран весьма посредственно и даже нетвердо. Я говорил об этом Шаховскому на предпоследней репетиции; он отвечал мне, что теперь нет времени хорошенько поставить пиесу, но что впоследствии она пойдет отлично. Брянский был положительно нехорош в роли Крутона (Альсеста), но, правду сказать, я не знаю, почему влюбленный Альсест у Мольера называется мизантропом? Скорее, можно назвать его филантропом, потому что он, с начала до конца пиесы, горячится, выходит из себя от гнева на людей за их дурные поступки. Где же тут ненависть? Это, скорее, любовь. Мизантропа, в настоящем смысле, Брянский играл недурно: то есть был холоден и груб; но характер Альсеста, ярко нарисованный Мольером, требовал совсем другого исполнения. М. И. Валберх, или Валберхова, играла Прелестину (Селимену, *grande coquette*) также без одушевления. Кн. Шаховской это чувствовал и на репетиции беспрестанно бормотал: «Марья Ивановна, *montez la scene, montez la scene*» <больше подъема>. Скажут, может быть, что кокетка и должна быть холодна, но в сценическом исполнении речь идет не о холодности в душе, а об одушевлении, об оживлении, так сказать, целой роли. Притом есть огонь внешний, искусственный, огонь кокетства, без которого никакая красота не увлекла бы Альсеста. Сосницкий, не помню в какой роли, был просто карикатурен».

<sup>17</sup> Примеч. С. Т. Аксакова: «Карамзин жил тогда в Петербурге, на Фонтанке, в доме Муравьевой».

<sup>18</sup> Примеч. С. Т. Аксакова: «Я бывал у Карамзина не как любитель словесности или словесник, а как его земляк, сосед и дальний родственник».

<sup>19</sup> Примеч. С. Т. Аксакова: «Из оперы „Водовоз“».

<sup>20</sup> Примеч. С. Т. Аксакова: «Статья эта написана прежде всех других моих статей, а именно в мае 1852 года».

<sup>21</sup> Журнал, издававшийся А. Измайловым в 1818–1826 гг.

## В. И. ПАНАЕВ

### О Державине

#### Из моих воспоминаний

Владимир Иванович Панаев (1792–1859), поэт, крупный чиновник, двоюродный внучатый племянник Державина. Обучался в Казанской гимназии и Казанском университете. В августе 1815 г. приехал в Петербург, где общался с Державиным. На смерть поэта откликнулся «Кратким похвальным словом Державину» (сочинено 23 октября 1816 г.), которое произнес на заседании Вольного общества любителей словесности, наук и художеств 11 января 1817 г. (опубл.: *Сын Отечества*. 1817. № V. С. 177–193). Литературную известность получил после выхода сборника «Идиллии Владимира Панаева» (СПб., 1820).

Над «Воспоминаниями» работал в 1858–1859 гг. Фрагмент «О Державине» был опубликован в учено-литературном сборнике «Братчина» (1859. Ч. 1. С. 105–128), составленном из статей выпускников Казанского университета и изданном на собранные бывшими его студентами средства.

Текст печатается по этому изданию.

<sup>1</sup> Двоюродная племянница Державина Надежда Васильевна Страхова в 1783 г. вышла замуж за Ивана Ивановича Панаева (1753–1796), офицера, впоследствии чиновника, известного в творческих кругах Петербурга поэта.

<sup>2</sup> Примеч. В. И. Панаева: «Записки Державина, писанные им в 1812 году и в высшей степени любопытные, хранятся у девицы Бороздиной, дочери покойного Константина Матвеевича Бороздина, которому передала их Дарья Алексеевна, вдова Державина». Впервые были опубликованы П. Бартевым в журнале «Русская беседа» (1859), затем отдельно (М.: Издание журнала «Русская беседа», 1860).

<sup>3</sup> Примеч. В. И. Панаева: «Этот экземпляр принадлежит ныне мне».

<sup>4</sup> Державин был назначен министром юстиции 8 сентября 1802 г.

<sup>5</sup> *Хемницер И. И.* Басни и сказки. СПб., 1799.

<sup>6</sup> Примеч. В. И. Панаева: «Письмо это и еще другое отыскал в бумагах Державина после его кончины и доставил мне домашний секретарь его Аврамов, находившийся при нем в продолжение многих лет и остававшийся в его доме по самую смерть свою, согласно завещанию Державина. Другое письмо, более любопытное и начинавшееся дружеским упреком: *неужели я никогда не буду иметь удовольствия читать вашей Фелицы*, передано мною М. П. Погодину, для богатого собрания его автографов, находящегося ныне в Императорской Публичной библиотеке». Об Аврамове см.: *Морозова Н. П.* Секретарь Г. Р. Державина Е. М. Аврамов // Г. Р. Державин и его время. Вып. 8. СПб., 2013. С. 4–13.

<sup>7</sup> Примеч. В. И. Панаева: «В Записках Гавриила Романовича не упоминается об этой дуэли. Может быть, случай был ничтожный, пожалуй, за карты, потому что в молодости своей, как и сам в Записках признается, вел он азартную игру; часто проигрывал, но однажды выиграл 50 000 рублей».

<sup>8</sup> Примеч. В. И. Панаева: «Кроме случаев, сообщенных мне дядею моим, из упомянутых записок Державина видно, как много полезного сделано было или предложено им в течение многолетней его службы, в какой постоянной борьбе за правду находился он с сильными людьми своего времени, как смело отстаивал ее предлицом Екатерины, Павла и Александра».

<sup>9</sup> Примеч. В. И. Панаева: «Яков Иванович Бередников, впоследствии известный археолог, член Археологической комиссии и Академии наук. В молодости своей он два раза приезжал в Казань слушать лекции в тамошнем университете». О нем см.: *Плетнев П. А.* Я. И. Бередников и ученые его труды. СПб., 1854.

<sup>10</sup> Бакунин Александр Михайлович. О нем см.: *Степанов В. П.* Бакунин А. М. // Русские писатели. 1800–1917. Т. 1. А–Г. М., 1992. С. 141–142; Из литературного наследия А. М. Бакунина / публ. К. Ю. Лаппо-Данилевского // Литературный архив. Материалы по истории русской литературы и общественной мысли. СПб., 1994. С. 94–117.

<sup>11</sup> Опубликовано В. И. Панаевым в журнале «Библиотека для чтения» (1822. Кн. 4. С.95–104).

<sup>12</sup> Слова песни, посвященной П. Х. Витгенштейну.

<sup>13</sup> Примеч. В. И. Панаева: «Дядя мой, по первому моему уведомлению об этом портрете, купил его за 400 руб. По разделу достался он брату моему Александру; у меня же прекрасная с него копия». О судьбе портретов

Державина работы А. А. Васильевского и копий с них см.: *Морозова Е. В.* Один из «казанских» портретов Г. Р. Державина // Державин и культура казанского края: материалы Всерос. науч. конф., посвящ. 265-летию со дня рождения Г. Р. Державина (г. Лаишево, 26–28 июня 2008 г.). Казань, 2008. С. 168–172.

<sup>14</sup> Примеч. В. И. Панаева: «Кутерьма от Кондратьев».

<sup>15</sup> Буква дореволюционного алфавита ъ, которую писали в конце слов.

<sup>16</sup> Примеч. В. И. Панаева: «„Беседа любителей русского слова“. Так называлось литературное общество, собиравшееся в доме Державина».

<sup>17</sup> Примеч. В. И. Панаева: «Из этого отзыва можно заключить, что корифеи „Беседы“ сомневались в достоинстве творения Карамзина и не скрывали того перед Державиным».

<sup>18</sup> У Державина: стада.

<sup>19</sup> Цитата из оды «Арфа» (1798).

## М. Ф. РОСТОВСКАЯ

### Воспоминание о Гаврииле Романовиче и Дарье Алексеевне Державиных

Ростовская Мария Федоровна\* (1814–1872), писательница, издатель; внучка Н. А. Львова (дочь Елизаветы Николаевны и Федора Петровича Львовых), внучатая племянница Д. А. Державиной. В 1858–1862 гг. была основным сотрудником журнала «Подснежник», издававшегося В. Н. Майковым. Через два года совместно с Майковым начала издавать иллюстрированный журнал для детей и подростков «Семейные вечера» (1864–1888), редактором которого была с 1865 по 1870 г. и в котором в 1864 г. («Семейные вечера. Старший возраст» № 3. С. 151–180) опубликовала «Воспоминания о Г. Р. Державине и Д. А. Державиной», во многом основанные на семейных преданиях и опубликованных мемуарных источниках.

Текст печатается по журнальной публикации.

<sup>1</sup> Кто ты, мое прекрасное дитя? (*фр.*)

---

\* Подробнее о ней см.: *Дзюбанов С. Д.* Внучка Н. А. Львова М. Ф. Ростовская // Г. Р. Державин и его время. Вып. 10. СПб., 2015. С. 59–103.

<sup>2</sup> Мраморная доска с этой надписью экспонируется сегодня в Музее-усадьбе Г. Р. Державина.

<sup>3</sup> «Записки» Г. Р. Державина были впервые опубликованы П. И. Бартеневым в журнале «Русская беседа» в 1859 г. и отдельно им же в 1860 г.

<sup>4</sup> Имение Державиных в Новгородской губернии.

<sup>5</sup> Отсутствующие всегда неправы (*фр.*).

<sup>6</sup> Об имении Званка см.: *Никитина А. Б.* Об усадьбе Г. Р. Державина Званка // Памятники культуры. Новые открытия. 1984. Л., 1986. С. 508–522.

<sup>7</sup> Об учреждении монастыря в Званке и судьбе этого имения см.: *Иосиф*, архимандрит. Державинская Званка // Древняя и новая Россия. 1879. № 10. С. 199–202; см. также с. 368–374 наст. изд.; *Калинин Н. Н.* История Званки. Званско-Знаменский монастырь // Державинский сборник—2008. Петрозаводск, 2008. С. 102–110.

<sup>8</sup> О нем см.: *Морозова Н. П.* Секретарь Г. Р. Державина Е. М. Аврамов // Г. Р. Державин и его время. Вып. 8. СПб., 2013. С. 4–13.

<sup>9</sup> О деле Якоби см.: *Державин Г. Р.* Записки. М., 2000. С. 142–149, 152.

<sup>10</sup> Цитата из оды «Видение мурзы» (1783–1784).

<sup>11</sup> *Екатерина II.* Сказка о царевиче Хлоре. СПб., 1781 (печаталась также в 1782 и 1783 гг.).

<sup>12</sup> Село Державино (Смоленское) в Бузулукском районе Оренбургской области.

<sup>13</sup> Журнал «Собеседник любителей российского слова» (июнь 1783 — сентябрь 1784 г.).

<sup>14</sup> Была напечатана под заглавием: «Ода к премудрой киргизкайсацкой царевне Фелице, писанная татарским мурзою, издавна поселившимся в Москве, а живущим по делам своим в Санктпетербурге. Переведена с арабского языка 1782».

<sup>15</sup> См.: *Державин Г. Р.* Записки. М., 2000. С. 118–125.

<sup>16</sup> См.: Там же. С. 127.

<sup>17</sup> Русско-турецкая война 1787–1791 гг.

<sup>18</sup> *Державин Г. Р.* Записки. С. 154.

<sup>19</sup> Портрет написан в 1813 г., хранится в Государственной Третьяковской галерее.

Ф. Ф. ВИГЕЛЬ

**Из «Воспоминаний»**

Вигель Филипп Филиппович (1787–1856), чиновник, мемуарист, член «Арзамаса».

Современники упрекали Вигеля как автора «Воспоминаний» в резкости и пристрастности оценок отдельных исторических лиц. В то же время для его мемуаров характерна спокойная, неторопливая манера повествования.

«Воспоминания» впервые были опубликованы (с цензурными пропусками) в 1864–1865 гг. в журнале «Русский вестник». Полный текст восстановлен в изд.: *Вигель Ф. Ф.* Записки / ред. и вступ. ст. С. Я. Штрайха. Т. 1–2. М., 1928.

Текст печатается по первой публикации в «Русском вестнике» (1864. Т. 52. № 8. С. 477; Т. 54. № 11. С. 166–167; 1865. Т. 55. № 1. С. 190).

<sup>1</sup> Стихотворение «Видение в какой-то ограде, изданное обществом ученых людей».

С. Т. АКСАКОВ

**Из «Воспоминаний о Дмитрие Борисовиче Мертваго»**

(из письма В. П. Безобразову от 20 января 1857 года)

Письмо С. Т. Аксакова внуку Д. Б. Мертваго В. П. Безобразову с воспоминаниями о Дмитрие Борисовиче Мертваго впервые опубликовано в 1857 г. в журнале «Русский вестник» (Т. 8. Март. Кн. 1. С. 125–134). Публикуя его повторно в книге «Разные сочинения» (М., 1858. С. 363–376), Аксаков внес в текст незначительные стилистические исправления. Впоследствии было напечатано П. И. Бартеневым в качестве предисловия к «Запискам Дмитрия Борисовича Мертваго» (Русский архив. 1867. № 8–9).

Печатается по: *Аксаков С. Т.* Воспоминания о Дмитрие Борисовиче Мертваго: Письмо к В. П. Безобразову // Русский вестник. 1857. Т. 8. Кн. 1. С. 129–130.

<sup>1</sup> Акварельный вид Званки был выполнен секретарем Державина Е. М. Аврамовым в 1807 г., стихотворная надпись сочинена другом поэта архиепископом Евгением (Болховитиновым). В журнале «Вестник Евро-

пы» (1810. Ч. 49. № 2) была напечатана гравюра с этой акварели, известен также отдельно напечатанный гравированный лист большего размера.

## Д. Б. МЕРТВАГО

### Из «Записок»

Мертваго Дмитрий Борисович (1760—1824), крупный чиновник, мемуарист. Был безукоризненно честным и умным администратором, благодаря чему сделался близким Державину человеком. Поэт покровительствовал ему в делах службы.

Согласно семейному преданию, Мертваго начал писать «Записки» в 1807 г. по настоянию Державина, с которым познакомился в 1792 г. Работа над их основной частью была закончена в 1813 г. Впервые опубл. П. И. Бартеневым в 1867 г. в качестве приложения к журналу «Русский архив» (Вып. 8—9). В 1868 г. в «Русском архиве» (№ 1. Стб. 123—136) напечатаны «Дополнения к Запискам Д. Б. Мертваго». Совр. изд.: *Мертваго Д. Б. Записки (1760—1824)* / изд. подг. С. Д. Дзюбановым, Г. Г. Мартыновым. СПб., 2006.

Текст печатается по: Записки Дмитрия Борисовича Мертваго // Русский архив. 1867. Приложение к № 8—9. Стб. 65—68; Дополнения к Запискам Д. Б. Мертваго // Русский архив. 1868. № 1. Стб. 124, 126.

<sup>1</sup> Державин служил в должности статс-секретаря Екатерины II с 12 декабря 1791 по 2 сентября 1793 г.

<sup>2</sup> «Объяснения бывшего тамбовского губернатора Державина о делах по губернии и истинных причинах, от чего проистекли на него неудовольствия правящего генерал-губернаторскую должность генерал-поручика и кавалера Гудовича и потом тяжкие ему обиды и несправедливые на него Сенату доносы. Июля 27 дня 1789 года» (VII, 137—186).

<sup>3</sup> В июле 1789 г. Державин, находившийся под судом, был оправдан Сенатом и императрицей.

<sup>4</sup> Екатерина Яковлевна Державина.

<sup>5</sup> Платон Александрович Зубов.

<sup>6</sup> Александра Андреевича Безбородко.

<sup>7</sup> Написано 4 июня 1802 г. (V, 136).

<sup>8</sup> На должность министра юстиции Державин был назначен 8 сентября 1802 г.

<sup>9</sup> См.: «Проект постановления о содержании в казенном ведомстве крымских соляных озер» и «Объяснение на опровержение плана о содержании крымских соляных озер в казенном управлении» (VII, 420–438).

<sup>10</sup> Написано 3 ноября 1802 г. (VI, 139–140).

<sup>11</sup> Василий Алексеевич Злобин, откупщик.

<sup>12</sup> Е. Я. Державина скончалась 15 июля 1794 г.

## Г. И. ДОБРЫНИН

### Из «Истинного повествования, или Жизни Гавриила Добрынина, им самим писанной, 1752–1823»

Добрынин Гавриил Иванович (1752–1824), сын священника, служил в Севской духовной консистории, с 1777 г. чиновником в Белоруссии (Рогаचेво, Могилеве, Витебске). Автобиографические записки начал писать в 1787 г. К этому времени относится и воспоминание о Державине.

Рукопись «Истинного повествования...», обнаруженная в середине 1860-х гг., была опубликована М. И. Семевским в «Русской старине» (1871. № 2–10) и вызвала большой интерес.

Текст печатается по: [Добрынин Г. И.] Истинное повествование... // Русская старина. 1871. С. 198–199.

<sup>1</sup> Путешествие Екатерины II в Крым длилось со 2 января 1787 по 11 июля 1787 г.

## Ф. П. ЛУБЯНОВСКИЙ

### Из «Воспоминаний»

Лубяновский Федор Петрович (1777–1869), сенатор, мемуарист, поэт. В 1796 г., к которому относится описываемое событие, Лубяновский служил инспекторским адъютантом кн. Н. В. Репнина.

«Воспоминания. 1777–1834» печатались в «Русском архиве» (1872. Кн. 1) и тогда же вышли отдельным изданием (М., 1872).

Текст печатается по: Лубяновский И. Ф. Воспоминания // Русский архив. 1872. № 1. Стб. 150.



- <sup>1</sup> Похорон императрицы Екатерины II, скончавшейся 6 ноября 1796 г.
- <sup>2</sup> Репнину.
- <sup>3</sup> Примеч. П. И. Бартенева: «Не в „Библиотеке для чтения“, а в „Русской беседе“». — В журнале «Русская беседа» в 1859 г. были опубликованы «Записки» Державина, где поэт с негодованием пишет об оказанном ему кн. Репниным приеме.
- <sup>4</sup> Державин впал в немилость за «дерзкий ответ» императору Павлу I.

## А. Л. ВИТБЕРГ

### **Из «Записок академика Витберга, строителя храма Христа Спасителя в Москве»**

Витберг Александр Лаврентьевич (Карл Магнус, 1787—1855), художник и архитектор, автор первого проекта храма Христа Спасителя в Москве, мемуарист.

Текст печатается по: [Витберг А. Л.]. Записки академика Витберга, строителя храма Христа Спасителя в Москве // Русская старина. 1872. Т. V. Кн. 4. Апрель. С. 551—552.

- <sup>1</sup> По-видимому, в 1812 г.

## Д. Д. РЯБИНИН

### **Прошение, поданное императору Александру I черниговским протоиереем Кубецким**

Рябинин Дмитрий Дмитриевич (1826—1895), воронежский чиновник, автор статей историко-литературного характера и мемуарных работ. Помимо «Русской старины» печатался в журналах «Исторический вестник», «Русский архив», «Вестник Европы», газете «Воронежский телеграф».

Текст был опубликован в журнале «Русская старина» (Листки из записной книжки «Русской старины»). 1874. Т. XI. Вып. 9. С. 376). В конце его: Сообщ. Д. Д. Рябинин.

Текст печатается по журнальной публикации.

**Н. И. ЦЫЛОВ**

**Старинные острословия**

Цылов Николай Иванович (1799—1879), генерал-майор, писатель. Окончил Первый кадетский корпус, служил на Кавказе, затем в 19-й артиллерийской бригаде и Артиллерийском училище, где преподавал с 1828 по 1840 г. Был полицмейстером Царского Села, с 1863 г. служил в Вильно, в 1868—1870 гг. городским головой. Цылов известен главным образом как автор многочисленных справочных пособий и карт, в том числе Царского Села и С.-Петербурга. В 1850 г. был избран в действительные члены Императорского Географического общества. Написал «Воспоминание об А. П. Ермолове» (СПб., 1867), печатал разнообразные материалы во многих журналах.

Текст был опубликован в журнале «Русская старина» (Листки из записной книжки «Русской старины». 1873. Т. VII. Вып. 5. С. 376). В конце: Сообщ. Н. И. Цылов.

Печатается по журнальной публикации.

**Е. Н. ЛЬВОВА**

**Из «Некоторых анекдотов людей известных,  
умных и по душе приятных»**

Львова Елизавета Николаевна (1788—1864), дочь Н. А. Львова, племянница Д. А. Державиной. С 1807 г. (после смерти родителей) жила в доме Державиных на Фонтанке. Летом 1809 и 1810 гг. в Званке записывала под диктовку Державина «Объяснения» на его сочинения. Сделала по просьбе поэта подстрочный перевод трагедии Расина «Федра». Елизавете Николаевне посвящены оды Державина «Лизе. Похвала розе» (1802), «Оковы», «Ива» (1810). В августе 1810 г. вышла замуж за овдовевшего Ф. П. Львова, отца десяти детей, и «сделалась удивительною по высоким качествам матерью и женою».

В 1854 г. для внуков (детей Алексея Федоровича Львова, у которого жила после смерти мужа) начала записывать мемуарные рассказы, озаглавленные в авторской рукописи «Некоторые анекдоты людей известных, умных и по душе приятных. 1854. 12 октября» (ИРЛИ. Ф. 265, оп. 2. № 1497—1499). Она начинается словами: «Давно я хотела, друзья мои Федя и Паша, бывшие мои Перлока и Пинпина (но вы уже большие и не след вас так более называть) писать для вас некоторые анекдоты людей известных. Сегод-

ня и решила это исполнить, будучи под влиянием сильной привязанности и преданности к дорогому царю нашему Николаю Павловичу».

Анекдоты имеют сплошную нумерацию, каждая часть рукописи (третья из четырех утрачена) — оглавление. Впервые были опубликованы с сокращениями в журнале «Русская старина» (1880. Т. 27—29. № 3, 6, 8, 9, 11; о Державине: Ч. 28. № 6. С. 347—348) под заглавием «Рассказы, заметки и анекдоты из записок Елисаветы Николаевны Львовой».

Текст печатается по рукописи ИРЛИ: Ч. 1. С. 12—15. № 5; С. 79. № 26; С. 84. № 29; Ч. 2. С. 82. № 54; Ч. 4. С. 74. № 123. Пагинация авторская.

<sup>1</sup> Федор и Прасковья, дети А. Ф. Львова, пасынка Е. Н. Львовой.

<sup>2</sup> Ф. П. Львов.

<sup>3</sup> *Львов Ф. П.* Ода на смерть Гаврилы Романовича Державина. Июля 8 дня 1816 («Зачем, о лира, тон унылый?..») (Впервые опубл.: Соревнователь просвещения и благотворения. 1823. Ч. XXII. № 4. С. 65—68).

<sup>4</sup> Дата указана ошибочно. Александр вернулся в Петербург в июле 1814 г.

<sup>5</sup> Этот текст записан 19 ноября 1854 г.

## П. Н. ЛЬВОВА

### Записки

Львова Прасковья Николаевна (1793—1839), младшая дочь Н. А. Львова, племянница Д. А. Державиной, с 1819 г. супруга К. М. Бороздина. После смерти родителей воспитывалась (с 1807 г.) у Державных. В 1813 г. ездила с ними в Обуховку к Капнистам и в Киев. Вела дневник, частью записей которого стали рассказы о занятиях Державиных в Званке, этой поездке и последних днях жизни поэта. Они служат важным биографическим источником для всех исследователей творчества и биографии Державина.

Рукопись «Записок Прасковии Николаевны Львовой», объемом 36 л. (69 с. в авторской пагинации), хранится в ИРЛИ (Пушкинский Дом) РАН (Д. 15.886 / ХСVIII62). Она написана на бумаге с белой датой «1832» и лите-рами «А. Б. Ф.» (Александровская бумажная фабрика Елизаветы Кайдановой) рукой младшей дочери П. Н. Львовой Варвары (1820—1849, в замужестве Воейковой). Проверка текста и вставки сделаны рукой П. Н. Львовой. На каждой странице отмечены ошибки и поставлена оценка (по-французски). Например: «4 fautes — assez bien» («4 ошибки — достаточно хорошо»).

«Записки», по всей видимости, являются выписками воспоминаний о Державине из более обширного «Дневника», возможно, сделанными по просьбе Ф. П. Львова, который готовил к печати «Объяснения на сочинения Державина, им самим диктованные родной его племяннице Е. Н. Львовой в 1809 году» (СПб., 1834). Их автограф и «Записки Прасковьи Николаевны Львовой» были переданы ее сестрой Елизаветой Николаевной в 1859 г. Я. К. Гроту (VIII, 986), собиравшему материалы для академического издания Сочинений Державина. Отметив, что «Записки» служили *ученическим упражнением* (IX, 219), Грот посчитал их автографом П. Н. Львовой (VIII, 986). Значительные выписки из них как в переводе, так и во французском оригинале Яков Карлович привел в примечаниях к «Жизни Державина», напечатанных в 1883 г. (VIII, 950–951, 980–981, 986–1004; IX, 219–224). Полностью текст был опубликован Е. Д. Кукушкиной, благодаря чему в научный оборот были введены важнейшие биографические факты. (XVIII век. Вып. 18 / под ред. Н. Д. Кочетковой. СПб., 1993. С. 267–298).

В настоящей публикации перевод печатается с уточнениями по рукописи, сделанными Б. А. Градовой, которой выполнена и новая атрибуция почерка. Русский текст французского оригинала выделен курсивом.

<sup>1</sup> *Ла Порт Жозеф де*. Всемирный путешественник, или Познание Старого и Нового Света, то есть описание всех по сие время известных земель в четырех частях Света <...> пер. с франц. [Я. И. Булгаков]. Т. 1–27. СПб., 1778–1794; То же. 3-е изд. СПб., 1799–1816.

<sup>2</sup> Шведское название финского города Турку.

<sup>3</sup> Державин в своих «Записках» так рассказывает об этом: «Также по приезде тогда в Петербург, когда все были в крайней тревоге, собирались и укладывались ехать неизвестно куда и капиталы партикулярных людей из ломбарда не хотели выдавать, то он чрез госпожу \* ... довел ропот народный до вдовствующей императрицы, под управлением которой состоял тот ломбард, что было весьма неприятно императрице; но однако дано было повеление, чтоб выдать капиталы их требующим обратно, то и прекратилось тем народное неудовольствие» (*Державин Г. Р.* Записки. 1743–1812. М., 2000. С. 270).

<sup>4</sup> Об этом путешествии см.: *Морозова Н. П.* 1813-й год в жизни Державина (Г. Р. Державин и его время. Вып. 9. СПб., 2014. С. 125–132).

<sup>5</sup> См.: *Шамбинаго С. К.* Дело об оскорблении Г. Р. Державина почтосодержателем станции Лопасни // Русская старина. 1899. Т. 98. Кн. 6

Июнь. С. 713—715; Письмо Державина московскому почт-директору Д. П. Руничу от 30 июля 1813 г. С. 713—714.

<sup>6</sup> В это время домашним доктором Державина был Карл Григорьевич Бейтель. О нем см.: *Грот Я. К. Жизнь Державина* (VIII, 974).

<sup>7</sup> Плоти́на (с *укр.*).

<sup>8</sup> *Коттен С.* Матильда, или Записки, взятые из истории крестовых походов / пер. с фр. Дмитрий Бантыш-Каменский. Ч. 1—6. М., 1806—1807; 2-е изд. Ч. 1—2. М., 1811; Ч. 1—6. М., 1813.

<sup>9</sup> Примеч. П. Н. Львовой: «<чучело> которой хранится еще в кабинете редкостей в Кунсткамере».

<sup>10</sup> См.: Объяснения на сочинения Державина, им самим диктованные родной его племяннице Е. Н. Львовой в 1809 г., изданные Ф. П. Львовым в четырех частях. СПб., 1834.

<sup>11</sup> *Тома А. Л.* Слово похвальное Марку Аврелию. Сочиненное г. Томасом, членом Французской академии / Пер. с фр. [Д. И. Фонвизинум]. СПб., 1777. В 1801 г. было издано в переводе И. В. Лопухина.

<sup>12</sup> Посажен В. Н. Львовой (в замужестве Воейковой).

<sup>13</sup> *Роллен Ш.* 1) Древняя история об египтянах, о карфагенянах, об ассирианах, о вавилонянах, о мидянах, персах, о македонянах и о греках <...> с фр. пер. чрез Василья Тредиаковского <...>. Т. 1—10. СПб., 1749—1762;

2) Римская история <...> с фр. пер. тщанием и трудами Василья Тредиаковского <...>. Т. 1—16. СПб., 1761—1767.

<sup>14</sup> *Херасков М. М.* Бахариана, или Неизвестный: волшебная повесть, почерпнутая из русских сказок. М., 1803.

<sup>15</sup> Возможно, «Краткое объяснение церковного устава» (СПб., [1809]).

<sup>16</sup> Романс талантливого, в детстве потерявшего зрение музыканта А. Д. Жилина (ок. 1766 — не ранее 1848) на стихи Державина (ода «Мечта») был опубликован в сборнике «Эрато». (1814. № 3. Июнь. С. 6—7). Один из современников отмечал: «Музыка восхитительная» (Новейший полный и всеобщий песенник <...>: в 4 ч. М., 1818). По мотивам анакреонтической оды «Мечта» Н. А. Львов написал комическую оперу «Милет и Милета» (1781).

<sup>17</sup> Принц Людвиг Фердинанд Прусский, племянник Фридриха Великого, погиб в 1806 г. в сражении с французами при Заальфельде. Был талантливым пианистом и композитором, поклонником творчества Бетховена. См.: *Die Musik in Geschichte und Gegenwart. Allgemeine*

Enzyklopadie der Musik. Bd. 8. Laaff — Mejtus. 1960. Стб. 1232—1237. Сочинения принца Людвига, бытовавшие в рукописях, в России были известны главным образом в дворянских семьях, близких к императорскому двору. С. В. Капнист вспоминает, что в 1819 г. в Обуховке разыгрывала с Луниным «Фантазию» Людвиг (См.: НИРО РГБ. Ф. 334. Чичерины. Картон XVII. Д. 15. Скалон С. В. (рожд. Капнист). Воспоминания. С. 82 (л. 42 об.).

<sup>18</sup> Деревня Дымна, принадлежавшая Державиным.

<sup>19</sup> Сын Е. Н. Львовой Гавриил (3.04.1815—11.06.1816), названный в честь Державина.

<sup>20</sup> Известный врач; англичанин. С 1774 г. служил в России. О нем см.: *Кросс Э.* Британцы в Петербурге XVIII века. СПб., 2005. С. 167, 169, примеч. С. 145—147. О надгробии Симпсона (где написано на английском языке: «От 25 благодарных семейств») на Смоленском кладбище в С.-Петербурге см.: *Шмидт И. М.* Василий Иванович Демут-Малиновский. М., 1960. С. 72—73.

<sup>21</sup> Секретарь Державина. О нем см.: *Морозова Н. П.* Секретарь Г. Р. Державина Е. М. Аврамов // Г. Р. Державин и его время. Вып. 8. СПб., 2013. С. 4—13.

<sup>22</sup> Цитата из стихотворения Вольтера «Мысли из Экклезиаста»: «Величественно, прекрасно — создавать неблагодарных» (*фр.*). Опубли. в 12 т. «Oeuvres complètes de Voltaire» (Kehl, 1785—1789. 70 vol.), который числился в «Каталоге библиотеки Д. А. Державиной». См.: *Ашешова А. Н., Морозова Н. П.* Материалы к описанию библиотеки Д. А. Державиной // Г. Р. Державин и его время. Вып. 12. СПб., 2016. С. 107, 135.

<sup>23</sup> Я. К. Грот отмечает, что доказательством этого может служить стихотворение Державина «В альбом Екатерины Дмитриевны Балашовой», где есть строки:

Блажен, кто мог творить всяк день неблагодарных  
И, не жалея себя, невинность защищать! (III, 509)

<sup>24</sup> Цитата из оды Державина «К первому соседу» (I, 105).

<sup>25</sup> О возможности иного толкования этих слов см.: *Дзюбанов С. Д.* «Зачали уже описывать дома и деревни...» (о финансовых проблемах Г. Р. Державина) // Г. Р. Державин и его время. Вып. 11. СПб., 2016. С. 33—71.

<sup>26</sup> Домашний доктор Державиных Максим Федорович; служил в последние два года жизни поэта.

<sup>27</sup> Грифельная доска с едва читаемым последним стихотворением Державина хранится в Рукописном отделе Российской национальной библиотеки. См.: *Градова Б. А.* Реликвии Г. Р. Державина в Императорской Публичной библиотеке // Г. Р. Державин и его время. Вып. 7. СПб., 2011. С. 120–124.

## Э. И. СТОГОВ

### Из «Очерков, рассказов и воспоминаний»

Стогов Эраст Иванович (1797–1880), полковник, мемуарист, бытописатель Сибири. Внук А. П. Буниной и дед А. А. Ахматовой. В 1810–1814 гг. учился в Морском кадетском корпусе в Петербурге и мог посещать заседания «Беседы любителей русского слова», почетным членом которой была Бунина. Восемь глав из его очерков, рассказов и воспоминаний публиковались в «Русской старине» в 1878–1879 гг.

Текст печатается по: *Стогов Э. И.* Очерки, рассказы и воспоминания // Русская старина. Т. XXIII. 1876. Вып. 9. Сент. С. 118.

<sup>1</sup> Автор эпиграммы С. Л. Львов (см.: *Жихарев С. П.* Записки современника. М.; Л., 1955. С. 96; см. также с. 265 наст. изд.).

## С. В. СКАЛОН (КАПНИСТ)

### Из «Воспоминаний»

Скалон (Капнист) Софья Васильевна (1797–1880-е), младшая дочь В. В. Капниста, мемуаристка. Детские и юношеские годы провела в родительском имении Обуховка Полтавской губернии. В 1835 г. вышла замуж за преподавателя Полтавского кадетского корпуса В. А. Скалона, впоследствии генерал-майора.

С Державиным Софья Васильевна встречалась летом 1813 г. в Обуховке. Рассказ об этом вошел в «Воспоминания» писательницы, над которыми она работала в Петербурге в 1858–1859 гг. Впервые опубликованы в 1891 г. в журнале «Исторический вестник» (Т. XLIV. Кн. V–VII). Вторая публикация, подготовленная Ю. Г. Оксманом, вошла в сборник «Воспоминания и рассказы деятелей тайных обществ 1820-х годов» (в 2 т. М., 1931–1933. Т. 1. С. 297–426).

Мемуары С. В. Скалон сохранились в нескольких рукописных вариантах, анализу которых посвящена статья Б. А. Градовой «О публикации Записок С. В. Скалон (Капнист)» (См.: Г. Р. Державин и его время. Вып. 13. СПб., 2017. С. 86–105).

Текст печатается по наиболее авторитетному списку, принадлежавшему А. А. Чичериной (ОР РГБ. Ф. 334. Чичерины. Картон XVII. Д. 15. Скалон С. В. (рожд. Капнист). Воспоминания).

<sup>1</sup> Василием Васильевичем Капнистом.

<sup>2</sup> Имение Капнистов Обуховка находилось в Полтавской губернии.

<sup>3</sup> Александра Васильевна Капнист.

<sup>4</sup> Брат Софьи Капнист Семен уехал с отцом в Петербург в марте 1814 г., в июле сюда же отправились для определения в службу Иван, Владимир и Алексей, а также их двоюродный брат Илья. См.: *Морозова Н. П.* 1814-й год в жизни Г. Р. Державина (материалы к летописи) // Г. Р. Державин и его время. Вып. 10. СПб., 2015. С. 150, 155, 170.

## М. М. ПОПОВ

### Из «Мелких рассказов»

Попов Михаил Максимович (1801–1872), педагог, чиновник, писатель. Окончил Пензенскую гимназию и Историко-филологический факультет Казанского университета (1821). Преподавал в Пензенской гимназии во время обучения в ней В. Г. Белинского, на которого оказал большое влияние. С начала 1830-х гг. служил в Петербурге, был знаком со многими литераторами и оставил о них воспоминания.

Публикуемая заметка о Державине входит в «Мелкие рассказы», напечатанные М. М. Поповым в «Русской старине» (1896. Т. 85. № 3, 6).

Текст печатается по: Мелкие рассказы Михаила Максимовича Попова // Русская старина. 1896. Т. 85. № 3. С. 543–544.

<sup>1</sup> Примеч. М. М. Попова: «То же говорит и сам Державин в своих Записках».



## И. П. ХРУЩЕВ

### Милена, вторая жена Державина

Хрущев Иван Петрович (1841–1904), историк литературы, педагог, журналист, издатель. Окончил историко-филологический факультет Санкт-Петербургского университета (1868), в 1870–1878 гг. служил доцентом кафедры русской словесности Киевского университета, затем чиновником разных ведомств в Петербурге; с 1896 по 1899 г. попечитель Харьковского учебного округа. Автор книг по истории древнерусской литературы и этнографии.

Был женат на Вере Дмитриевне Поленовой, сестре художника Василия Поленова и внучке Воейковых (дочери Марии Алексеевны Воейковой). В 1862 г. в альманахе «Подснежник» (№ 1. Январь. С. 1–105) и журнале «Русское слово» (№ 3. Март. Отд. I. С. 1–31) были напечатаны под псевдонимом Илья Жучек его повесть «Парашин лесок» и рассказ «Няня», написанные на основе семейных преданий.

В связи с кончиной отца Веры Дмитриевны (в 1878 г.) И. П. Хрущев опубликовал очерк «О жизни и трудах Д. В. Поленова» (СПб., 1879). По просьбе Василия Поленова приезжал в имение Ольшанка (Тамбовской губернии) для приведения в порядок старинной семейной библиотеки. Под его руководством составлен «Список книг Д. В. Поленова и Л. А. Воейкова, пожертвованных г. Тамбову» (СПб., 1894). В знак заслуг был избран почетным членом тамбовского Общества народных чтений.

На основе Воспоминаний своей бабушки Веры Николаевны Воейковой и матери Марии Алексеевны Поленовой написал статью «Милена, вторая жена Державина», опубликованную в 1903 г. в журнале «Русский вестник» (1903. Т. 238. Февраль. С. 549–580). Текст печатается по этому изданию.

<sup>1</sup> И. П. Хрущев был женат на ее дочери Вере Дмитриевне Поленовой.

<sup>2</sup> Сочинения Державина с объяснит. примечаниями Я. Грота: в 9 т. СПб., 1864–1883.

<sup>3</sup> Так Державин называл в стихотворениях первую супругу Екатерину Яковлевну (в девичестве Бастидон).

<sup>4</sup> См. оду Державина «Призывание и явление Пленеры» (I, 584–587).

<sup>5</sup> О ней см.: *Дзюбанов С. Д.* Родственное окружение Е. Я. Бастидон (первой супруги Г. Р. Державина // Г. Р. Державин и его время. Вып. 7. СПб., 2012. С. 49–99.

<sup>6</sup> *Дмитриев И. И.* Державин. См. с. 32–33. в наст. изд.

<sup>7</sup> Эта тетрадь была подарена Державиным известному коллекционеру Алексею Ивановичу Мусину-Пушкину, владельцу рукописи «Слова о полку Игореве», и сгорела вместе с его собранием в московском пожаре 1812 г.

<sup>8</sup> Примеч. И. П. Хрущева: «Отпечатанных обоев на бумаге тогда еще не было и в помине. Они появились лишь в 30-х годах. Когда Пушкин женился, то в Москве для новобрачных оклеили квартиру обоями; это было совершенно новинкой, и об этом тогда говорили (со слов князя Павла Петровича Вяземского, бывшего на свадьбе Пушкина мальчиком с образом)».

<sup>9</sup> В. В. Голицыной (урожд. Энгельгардт), племянницы Г. А. Потемкина, живущей в селе Зубриловка Тамбовской губернии.

<sup>10</sup> Голицыну.

<sup>11</sup> Письмо Е. Я. Державиной Г. Р. Державину от 25 января 1789 г. из Зубриловки в Москву (V, 742).

<sup>12</sup> *Капнист В. В.* На смерть Пленеры // Капнист В. В. Избр. произведения. Л., 1973. С. 523.

<sup>13</sup> Письмо В. В. Капниста Державиным от 20 июля 1786 г. из Обуховки в Тамбов (V, 512–514).

<sup>14</sup> Письмо Державиных Капнистам от 4 мая 1786 г. из Тамбова в Обуховку (V, 851).

<sup>15</sup> См.: *Грот Я.* Жизнь Державина (VIII, 606–607).

<sup>16</sup> См.: Николай Михайлович Карамзин, по его сочинениям, письмам и отзывам современников: Материалы для биографии / с примеч. и объясн. М. Погодина: в 2 ч. М., 1866. Ч. 1. С. 168.

<sup>17</sup> Сочинения Державина. Т. I. С. 573.

<sup>18</sup> Там же. С. 576–579.

<sup>19</sup> *Дмитриев И. И.* К Г. Р. Державину (По случаю кончины первой супруги его) // Дмитриев И. И. Полн. собр. стихотворений. Л., 1957. С. 118–119.

<sup>20</sup> Ода «К Сафе» (I, 581–583).

<sup>21</sup> Сочинения Державина. Т. I. С. 596–587.

<sup>22</sup> Там же. С. 662.

<sup>23</sup> Там же. С. 663.

<sup>24</sup> О правде и вымысле в этом семейном предании см.: *Дзюбанов С. Д.*

«Верует во Резон, как во Единого Бога» (Подлинная история тайной женитьбы Н. А. Львова) // Г. Р. Державин и его время. Вып. 4. СПб., 2008. С. 5–54.

<sup>25</sup> «Записки» Державина (VI, 685).

<sup>26</sup> Имеется в виду: «Ода <...> на взятие Варшавы в 1794 году октября 29 дня» (СПб., 1794) П. М. Карабанова. Приписывалась А. А. Ржевскому.

<sup>27</sup> Вероятно, имеется в виду одно из следующих стихотворений В. Г. Рубана: «Пean, или Песнь на победы, одержанные генералом графом Александром Васильевичем Суворовым над мятежниками польскими, в окрестностях города Бреста Литовскаго <...>» (СПб., 1794), «Дифирамб пану Фаддею Костюшке, разбитому и взятому в плен с предводимыми им польскими мятежниками, при замке Мачевице, в 60 верстах от Варшавы, 29 сентября 1794 года» (СПб., 1794), «Ода на всерадостный день тезоименитства ея имп. величества Екатерины Вторыя <...> и Надпись на взятие Варшавы победоносным российским воинством, по усмирении во всей Польше мятежей <...>» (СПб., 1794).

<sup>28</sup> Опубл.: Сочинения Державина. Т. VI. С. 25.

<sup>29</sup> Там же.

<sup>30</sup> Там же. С. 26.

<sup>31</sup> Там же. Т. I. С. 666.

<sup>32</sup> Там же. Т. II. С. 56.

<sup>33</sup> Там же. С. 102.

<sup>34</sup> *Жихарев С. П.* Записки современника. Ч. 1: Дневник студента. М.; Л., 1955. С. 107. См. также с. 56 наст. изд.

<sup>35</sup> Письмо Г. Р. Державина С. В. Капнисту от 4 июля 1816 г. из Званки в Петербург (VI, 346).

<sup>36</sup> См. с. 88–112 в наст. изд.

<sup>37</sup> См. с. 113–135 в наст. изд.

<sup>38</sup> См.: Объяснения на сочинения Державина, им самим диктованные родной его племяннице Е. Н. Львовой в 1809 году, изданные Ф. П. Львовым в четырех частях. СПб., 1834.

<sup>39</sup> См.: *Державин Г. Р.* Из перевода Расиновой трагедии «Федра» (IV, 767–770); *Демин А. О.* Державин-переводчик «Федры» Расина // XVIII век. Вып. 26 / под ред. Н. Д. Кочетковой. СПб., 2011. С. 238–253.

<sup>40</sup> См. с. 224–226 в наст. изд.

<sup>41</sup> См. с. 63 в наст. изд.

<sup>42</sup> См.: *Воейкова В. Н.* Воспоминания / [Предисл.: Ив. Хрущов]. СПб., 1903.

<sup>43</sup> Там же.

<sup>44</sup> Сегодняшний адрес Музея-усадьбы Г. Р. Державина: Санкт-Петербург, набережная реки Фонтанки, 118.

<sup>45</sup> Примеч. И. П. Хрущева: «Подробное описание дома и план его см. в акад. изд. Державина. Дом этот был продан за 150 тысяч рублей римско-католической коллегии. Недавно надстроенный этаж изменил его вид».

<sup>46</sup> Об этом имении см.: *Никитина А. Б.* Об усадьбе Г. Р. Державина Званка // Памятники культуры. Новые открытия. 1984. Л., 1986. С. 508–522.

<sup>47</sup> Цитата из оды «Евгению. Жизнь Званская» (1807).

<sup>48</sup> См.: *Солдатова Л. М.* К истории храма во имя Воскресения Господня в новгородском имении Державиных Званка // Державинские чтения. Вып. 2. СПб., 2007. С. 186–221.

<sup>49</sup> О нем см.: *Морозова Н. П.* Секретарь Г. Р. Державина Е. М. Аврамов // Г. Р. Державин и его время. Вып. 8. СПб., 2013. С. 4–13.

<sup>50</sup> Письмо Г. Р. Державина В. В. Капнисту от 28 июня 1797 г. (VI, 69).

<sup>51</sup> Но по гет мечт не мінідубо\*:

Се страшный князя меч псковского Гавриила.

С ним чести никому своей не отдал он:

Да снидет от него на Александра сила,

И с срамом побежит от нас Наполеон! (III, 131)

<sup>52</sup> Примеч. И. П. Хрущева: «Которою командовал Неверовский».

<sup>53</sup> Записки П. Н. Львовой впервые полностью опубл. Е. Д. Кукушкиной (XVIII век. Сб. 18 / под ред. Н. Д. Кочетковой. СПб., 1993. С. 262–297). В наст. изд. см. с. 218–264.

<sup>54</sup> Письмо опубл.: Сочинения Державина. Т. VI. С. 239–240.

<sup>55</sup> *Скалон С. В.* «Из Воспоминаний...». См. с. 266–268 в наст. изд.

<sup>56</sup> *Львова П. Н.* Записки. С. 224 в наст. изд.

<sup>57</sup> Там же. С. 228–230.

---

\* Чести моей никому не отдам (*лат.*).

<sup>58</sup> *Ла Порт Жозеф, де*. Всемирный путешественник, или Познание Старого и Нового света <...> / пер. с фр. [Я. И. Булгаковым]. СПб., 1778–1794. Т. 1–27.

<sup>59</sup> *Львова П. Н.* Записки. С. 238–240 наст. изд.

<sup>60</sup> См.: там же. С. 245–249.

<sup>61</sup> В миру Евфимий Алексеевич Болховитинов.

<sup>62</sup> М. Ф. Ростовская.

<sup>63</sup> Об этом см.: *Мартынов Г. Г.* Переписка двух помещиков // Г. Р. Державин и его время. Вып. 2. СПб., 2005. С. 150–198.

<sup>64</sup> Там же. С. 190.

<sup>65</sup> Там же. С. 193. Дата письма в статье Хрущева указана ошибочно: вместо 1830 напечатано 1831 (как и в первой публикации Я. Грота в Сочинениях Державина, IX, 329).

<sup>66</sup> Александром Николаевичем.

<sup>67</sup> Вероятно, Юревский монастырь (Новгородская губерния).

<sup>68</sup> Именины Дарьи отмечались 19 марта.

<sup>69</sup> В 1836 г. Л. А. Ярцова была награждена малой золотой медалью Российской Академии за книгу «Полезное чтение для детей» (Ч. 1–6. СПб., 1836), а в 1837 г. — половиной Демидовской премией (2500 руб.).

<sup>70</sup> О Бакуниных см.: *Сысоев В. И.* Бакунины. Тверь, 2002.

<sup>71</sup> См.: ода «Параше» (II, 184–186). Примеч. Хрущева: «Другая сестра, Татьяна Михайловна, была в замужестве за Александром Марковичем Полторацким».

<sup>72</sup> «Люси» (1797).

<sup>73</sup> См.: *Дзюбанов С. Д.* Завещание Дарьи Алексеевны Державиной // Г. Р. Державин и его время. Вып. 2. СПб., 2005. С. 199–231.

<sup>74</sup> Александры Федоровны, супруги императора Николая I.

<sup>75</sup> Об исполнении завещания Д. А. Державиной см.: *Иосиф*, архимандрит. Державинская Званка // Древняя и новая Россия. 1879. № 10. С. 199–202. См. также с. 368–374 наст. изд.

<sup>76</sup> О судьбе монастыря и училища см.: *Калинин Н. Н.* История Званки. Званско-Знаменский монастырь // Державинский сборник-2008. Петро-заводск, 2008. С. 102–110.

В. И. ЛЫКОШИН

**Из «Записок»**

Лыкошин Владимир Иванович (1792 — после 1876), мемуарист, дальний родственник А. С. Грибоедова. В 1805—1808 гг. обучался в Московском университете. Участник войны 1812 г. (корнет «конного волонтерного полка» барона Боде), награжден орденами Анны 3-й степени и Владимира 4-й степени. С 1818 г. почти безвыездно жил в своем имении Трисвятское Бельского уезда, где составил несколько томов «Записок». Из них дошли лишь фрагменты, опубликованные Н. К. Пиксановым в книгах «Грибоедов и старое барство» (М., 1926) и «Грибоедов: Исследования и характеристики» (Л., 1934).

Воспоминание о встрече с Державиным относится, вероятно, к 1810—1811 гг.

Текст печатается по: *Пиксанов Н. К.* Грибоедов: Исследования и характеристики. Л., 1934. С. 75—76.

<sup>1</sup> Озеров.

<sup>2</sup> И. И. Дмитриев служил министром юстиции с января 1810 по август 1814 г.

М. И. ГОГОЛЬ

**Из воспоминаний**

(письмо к С. Т. Аксакову)

Гоголь-Яновская (урожд. Косяровская) Мария Ивановна (1791—1868), мать Н. В. Гоголя. Была тонкой и впечатлительной натурой, склонной к мистицизму и мечтательности, обладала литературными способностями. Эти качества она сумела передать сыну. После его кончины вела обширную переписку с писателями, в том числе с С. Т. Аксаковым. По его просьбе изложила в письме от 3 апреля 1856 г. из Васильевки воспоминания о сыне. Они включают эпизод о приезде Державиных летом 1813 г. в Васильевку. Впервые были опубликованы Л. Ф. Пантелеевым в 1913 г. в журнале «Современник» (Кн. 4. С. 247—253).

Текст печатается по журнальной публикации (с. 249—251).

<sup>1</sup> Кибинцы Полтавской губернии.

<sup>2</sup> Державины гостили в Обуховке с 7 по 19 июля 1813 г.

<sup>3</sup> П. Н. Львову (в действительности она была брюнеткой).

<sup>4</sup> Екатерину Ивановну Косяровскую.

## А. П. КОЖЕВНИКОВ

### Некоторые черты Званской жизни

Кожевников Александрович Павлович (1809—1875), чиновник (с 1843 г. советник дворцового правления в Петергофе)\*, автор воспоминаний о Званке, двоюродный племянник Д. А. Державиной. Кожевниковым принадлежало небольшое имение Пристань (Змейско) по соседству со Званкой.

Очерк «Некоторые черты Званской жизни» был написан, предположительно, в июле 1847 г. Он является частью комплекса мемуарных материалов (несколько чертежей и рисунков), созданного А. П. Кожевниковым. Впервые был опубликован вместе с тремя рисунками Н. Н. Калинин в 1994 г.\*\*

Текст печатается с уточнениями и вставками купюр по рукописи (ИРЛИ 6962), которая хранится в Институте русской литературы (Пушкинский Дом) РАН. Она представляет собою тетрадь из 3-х сложенных пополам листов, размером 36 × 22,4 см. Бумага без водяных знаков, рукопись не датирована. Поступила от Я. К. Грота.

<sup>1</sup> Примеч. Кожевникова: «Званка — небольшое имение, принадлежавшее матери Дарьи Алексеевны, и после замужества куплена ею от матери Авдотьи Петровны Дьяковой».

<sup>2</sup> Примеч. Кожевникова: «И дочь друга его, Петра Гавриловича Лазарева, Вера Петровна Лазарева, сестра знаменитого адмирала М. П. Равно как и графов М. Ю. и Мат. Ю. Виельгорских».

<sup>3</sup> От своить — родниться. См.: *Даль В.* Толковый словарь: в 4 т. Т. 4. СПб., М., 1882. С. 154.

---

\* \* См.: *Гущин В. А.* Младший советник (А. П. Кожевников). СПб., 1998 (сер. «Утраченные памятники Петергофа»).

\*\* См.: *Калинин Н. Н.* Некоторые черты Званской жизни // Памятники культуры. Новые открытия. 1993. М., 1994. С. 20—28. Подробное описание опубликованных рисунков и их воспроизведение см.: *Агамалян Л. Г.* Державинские материалы в собрании Литературного музея ИРЛИ (Пушкинского Дома) РАН // «Беседа любителей русского слова»: 200 лет. СПб., 2013. С. 114—115, 128, 134; цв. вклейка между с. 136—137.

<sup>4</sup> Неточная цитата из оды «Вельможа» (I, 631).

<sup>5</sup> Подробнее см.: *Мартынов Г. Г.* Переписка двух помещиков (Д. А. Державина и А. А. Аракчеев) // Г. Р. Державин и его время. Вып. 2. СПб., 2005. С. 150–198.

<sup>6</sup> Примеч. Кожевникова: «Илья Иванович впоследствии жил в маленьком своем имении Тверской губернии близ села Никольского Н. А. Львова, где теперь живут его дети».

<sup>7</sup> См.: Сочинения Державина. Т. VIII. С. 974.

<sup>8</sup> О нем см.: *Морозова Н. П.* Секретарь Г. Р. Державина Е. М. Аврамов // Г. Р. Державин и его время. Вып. 8. СПб., 2013. С. 4–13.

<sup>9</sup> Равновесием.

<sup>10</sup> Поэтажные планы дома (хранятся в РО ИРЛИ РАН), выполненные А. П. Кожевниковым, были опубликованы А. Б. Никитиной. См.: *Никитина А. Б.* Об усадьбе Г. Р. Державина Званка // Памятники культуры. Новые открытия. 1984. Л., 1986. С. 508–522.

<sup>11</sup> О судьбе Званки в наши дни см.: *Калинин Н. Н.* История Званки. Званско-Знаменский монастырь // Державинский сборник—2008. Петрозаводск, 2008. С. 102–110.

<sup>12</sup> Е. Н. Львовой.

<sup>13</sup> См.: *Солдатова Л. М.* К истории храма во имя Воскресения Христова в новгородском имении Державиных Званка // Державинские чтения. Вып. 2. СПб., 2007. С. 186–221.

<sup>14</sup> Государственных.

<sup>15</sup> Неточная цитата из оды «Евгению. Жизнь Званская» (1807).

## **ЗВАНКА ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX века**

В. Я. СТОЮНИН

### **Званка**

*(Из путевых впечатлений)*

Стоюнин Владимир Яковлевич (1826–1888), педагог, историк русской литературы. Окончив в 1850 г. Петербургский университет, преподавал словесность в 3-й Петербургской гимназии, которую заканчивал. Автор трудов по методике преподавания литературы, статей о русских писателях XVIII в., монографий об А. С. Пушкине и А. С. Шишкове.



Имение Державина Стоюнин посетил молодым выпускником университета. Тогда же написал очерк «Званка (Из путевых впечатлений)» и опубликовал в журнале «Библиотека для чтения» (1850. Т. 104. № 11 (ноябрь). Отд. 1. С. 29–52). Текст печатается по этому изданию.

<sup>1</sup> Имение Державиных Званка находилось в Новгородской губернии в 120 верстах от Петербурга (ныне Новгородская область, Чудовский район), обветшавший усадебный дом был разобран в 1857 г.

<sup>2</sup> Буцефал — имя коня Александра Македонского, ставшее нарицательным.

<sup>3</sup> Цитата из оды «Видение мурзы» (1783–1784).

<sup>4</sup> Цитата из стихотворения «Приношение монархине» (1795).

<sup>5</sup> Письмо Г. Р. Державина Д. И. Хвостову от 31 мая 1805 г. (VI, 169–170).

<sup>6</sup> Цитата из оды «Евгению. Жизнь Званская» (1807).

<sup>7</sup> Примеч. В. Я. Стоюнина: «Об них рассказывал мне старик-рыбак, с которым я встретился, возвращаясь из Званки».

<sup>8</sup> Название французского танца, исполнявшегося в быстром темпе.

<sup>9</sup> Название французского танца, исполнявшегося в умеренном темпе.

<sup>10</sup> Примеч. В. Я. Стоюнина: «Фортепьяно (porte-piano или piano-forte — тихо-гром».

<sup>11</sup> Цитата из оды «Евгению. Жизнь Званская».

<sup>12</sup> Цитата из той же оды.

<sup>13</sup> Карта «Река времен, или Эмблематическое изображение всемирной истории» (СПб., 1805).

<sup>14</sup> Примеч. В. Я. Стоюнина.: «Известное стихотворение, которое автор написал перед смертью:

Река времен в своем теченье  
Уносит все дела людей  
И топит в пропасти забвенья  
Народы, царства и царей.  
А если что и остается  
Чрез звуки лиры и трубы,  
То вечности жерлом пожрется  
И общей не уйдет судьбы...

А две последние строки не могут разобрать».

<sup>15</sup>Примеч. В. Я. Стоюнина: «Об этой тетради говорил мне девяностолетний священник, несколько раз беседовавший с Державиным».

<sup>16</sup>«Манжурский, т. е. запах чайный; левантский — кофейный, т. е. что первый родится в Китае <а второй в Аравии> и доставляется чрез торг левантский» («Объяснения» Державина на свои сочинения, III, 707).

<sup>17</sup>Журнал «Вестник Европы» (1802—1830).

<sup>18</sup>Цитата из оды «Евгению. Жизнь Званская».

<sup>19</sup>Цитата из той же оды.

<sup>20</sup>Щука с голубым пером (чешуей) получалась при особом способе приготовления: вынув готовую рыбу из кипятка, ее спрыскивали холодной водой и накрывали полотенцем.

<sup>21</sup>«Липец, мед, наподобие вина приуготовленный, желтого цвета, воронок — тоже мед, но черный, с воском варенный, — напитки, которые бывают очень пьяны, особливо последний, так что у человека при всей памяти и рассудке отнимутся руки и ноги; пиво черное кабацкое тоже весьма крепкое» («Объяснения» Державина на свои сочинения, III, 708).

<sup>22</sup>Цитата из оды «Евгению. Жизнь Званская».

<sup>23</sup>Имеется в виду великий князь, впоследствии император Александр I.

<sup>24</sup>Имеются в виду европейские войны с Наполеоном.

<sup>25</sup>Цитата из оды «Евгению. Жизнь Званская».

<sup>26</sup>Державин в 1800-е гг. написал несколько трагедий.

<sup>27</sup>Ода «Тишина» (1801).

<sup>28</sup>Цитата из оды «Полигимнии» (1816).

<sup>29</sup>Александр Македонский.

<sup>30</sup>Цитата из оды «Эхо» (1811).

<sup>31</sup>Цитата из оды «Евгению. Жизнь Званская».

<sup>32</sup>Цитаты из оды «Мой истукан» (1794).

<sup>33</sup>Цитата из оды «Евгению. Жизнь Званская».

<sup>34</sup>Цитата из оды «Памятник» (1795).

<sup>35</sup>Ода «Признание» (1807), без последних строк.

Я. К. Грот

Я. К. ГРОТ

## Званка и могила Державина

Грот Яков Карлович (1812–1893), выдающийся филолог, академик, издатель академического собрания Сочинений Державина (СПб., 1864–1883. Т. I–IX), исследователь творчества поэта.

В 1863 г. посетил Званку, очерк об этом путешествии («Званка и могила Державина») был напечатан в 1863 г. в газете «Современная летопись» (Приложение к «Московским ведомостям». Т. 4. № 33. С. 4–6) и с тех пор не переиздавался. Печатается по этой публикации.

<sup>1</sup> Об этих поездках см.: *Грот Я. К.* 1) Записка о дополнительных материалах для биографии Державина (собранных в Тамбове и на Волге) // Записки Императорской Академии наук. Т. II, кн. 1. 1862. С. 29–44; 2) Поездка в Петрозаводск и на Кивач // Там же. Т. IV, кн. 1. 1863. С. 51–63; 3) То же. Отд. отт. СПб., 1863.

<sup>2</sup> Примеч. Я. Грота: «Только не оду „Бог“, как рассказывают в околотке: она окончена была в 1784 г., когда Званка еще и не принадлежала Державину».

<sup>3</sup> Примеч. Державина: «Березовый или яблочный сок, приготовляемый в виде шампанского».

<sup>4</sup> Половину этого числа составляют крестьяне Дымны и Залозья, которых душеприказчик вдовы Державина К. М. Бороздин отпустил на волю и наделил 1000 дес. земли. Деревня Антушево со всем господским имуществом вскоре после смерти Державиной была продана и принадлежит помещику Крейтеру.

<sup>5</sup> Примеч. Я. Грота: «Приношу искреннюю признательность Ивану Семеновичу Капнисту за доставление мне, чрез благородное посредство барона М. А. Корфа, собрания писем Державина к Капнистам. К этому собранию принадлежит и то письмо, откуда извлечен приведенный отрывок».

<sup>6</sup> Сегодня в селе Егорьево действует восстановленная церковь Богоявления Господня, воссозданы надгробия на могилах родителей поэта, проводятся поминальные службы.

<sup>7</sup> Цитата из стихотворения «Приношение монархине» (1795).

## ИОСИФ, АРХИМАНДРИТ

### **Державинская Званка**

Архимандрит Иосиф (в миру Иван Гаврилович Баженов или Бажанов, 1827—1886), епископ, талантливый проповедник, историк и духовный писатель. В 1857—1862 гг. служил в Петербургской семинарии, в 1873—1881 гг. был членом Петербургского духовного цензурного комитета. Печатался в журналах «Духовная беседа», «Церковный вестник», «Странник», «Церковно-общественный вестник», из которого статья «Державинская Званка», вероятно, написанная им, была в 1879 г. перепечатана в журнале «Древняя и новая Россия» (№ 10. С. 199—202). Текст печатается по этой публикации.

<sup>1</sup> Примеч. архим. Иосифа: «В завещании сказано: „Если бы по каким-либо препятствиям монастырь сей не мог быть устроен, в таком случае означенное село Званку продать, вырученные деньги внести в опекунский совет, а проценты ежегодно употреблять на все женские монастыри Новгородской губернии, для поминовения завещательницы и супруга ее“». См. также: *Дзюбанов С. Д.* Завещание Дарьи Алексеевны Державиной // Г. Р. Державин и его время. Вып. 2. СПб., 2005. С. 204—205.

# Аннотированный указатель имен, упоминаемых в мемуарах

## А

- Абрамов (Аврамов) Евстафий Михайлович (?–1827), секретарь Г. Р. Державина 175, 194, 291, 322, 323, 363, 365, 394, 396, 397, 405, 411, 415
- Аксаков Сергей Тимофеевич (1791–1859), писатель 7, 9, 10, 87 112, 201–202, 284, 315, 390–393, 397, 413
- Александр I (1777–1825), российский император 10, 49, 71, 72, 84, 85, 122, 129, 140, 182, 211, 213, 215, 216, 227, 254, 261, 298, 322, 340, 344, 385, 388, 394, 400, 402, 417
- Александра Федоровна (1798–1860), российская императрица, супруга императора Николая I 309
- Александрина см. Дьякова А. Н.
- Алексеев Илларион Спиридонович (?–1794), правитель Кавказского наместничества 21
- Анакреон (570/559–485/478 до н. э.), древнегреческий поэт 81
- Анисья Сидоровна, крепостная Д. А. Державиной 159, 291, 323
- Анна Павловна (1795–1865), великая княжна 129
- Антоний (в миру Григорий Антонович Рафальский, 1789–1848), митрополит Новгородский, Санкт-Петербургский, Эстляндский и Финляндский (с 1843) 310
- Аракчеев Алексей Андреевич (1769–1834), государственный и военный деятель 235, 255, 298–300, 320–322, 415
- Арбеньев Иоасаф Иевлевич (1742–1808), генерал от инфантерии 282
- Арсеньевы, родственницы Г. Р. Державина 286

## Б

- Багрим, мурза, предок Г. Р. Державина, выехавший на Русь из Золотой Орды в XV в. 71, 133, 182, 183
- Бажанов Василий Борисович (1800–1883), священнослужитель 311
- Бакунин Александр Михайлович (1768–1854), предводитель тверского дворянства, поэт и публицист; двоюродный брат Д. А. Державиной 121, 394

- Бакунин Михаил, родственник  
Д. А. Державиной 304
- Бакунин Николай, родственник  
Д. А. Державиной 304
- Бакунина (в замужестве Нилова) Пра-  
сковья Михайловна (1775–1857),  
двоюродная сестра Д. А. Держави-  
ной 180, 181, 216, 302
- Бакунины, родственники Д. А. Дер-  
жавиной 237, 286, 296, 302, 304
- Балабин Иван Петрович, офицер  
Конногвардейского полка 305
- Балашов Александр Дмитриевич  
(1770–1837), первый министр  
полиции, санкт-петербургский  
военный губернатор, имел дом на  
Фонтанке напротив дома Держа-  
вина 289
- Барклай-де-Толли Михаил Богдано-  
вич (1761–1818), полководец 288
- Барятинская-Голшгейн-Бек Ека-  
терина Петровна (1750–1811),  
принцесса, статс-дама 38
- Барятинский Степан Степанович  
(1789–1830), князь, двоюродный  
брат С. П. Жихарева 387
- Бастидон (Бастодонт) Яков Бенедикт  
(1722 — ок. 1765), камердинер  
Петра III, отец Е. Я. Державиной  
32, 77, 274
- Бастидон (урожд. Чеканаева) Ма-  
трена Дмитриевна (1734–1805),  
мать Е. Я. Державиной 274
- Батый (Бату; ок. 1209–1255/1256),  
монгольский полководец 47, 75
- Батюшков Константин Николаевич  
(1787–1855), поэт 106
- Бахтин Иван Иванович (1754–1818),  
слободско-украинский (харьков-  
ский) губернатор, поэт 239
- Безбородко Александр Андреевич  
(1747–1799), граф, позднее  
светлейший князь, главный  
директор почт Российской им-  
перии, канцлер 19, 28, 84, 230,  
287, 398
- Безбородко Илья Андреевич (1756–  
1815), генерал, сенатор, брат  
А. А. Безбородко 287
- Безобразов Николай Александрович  
(1816–1862), камергер, писатель  
305
- Безобразова (урожд. Сухозанет),  
супруга Н. А. Безобразова 305
- Безобразова Мария Владимировна  
(1857–1914), философ, историк  
305
- Безьеров см. Лабзин А. Ф.
- Бейер Илья, обер-секретарь 311
- Бейтель Карл Григорьевич (1786–  
1836), домашний врач Держави-  
на 221, 322, 404
- Беклемишева Марья Алексеевна,  
знакомая Д. А. Державиной 282
- Бередников Яков Иванович  
(1793–1854), историк, академик  
Петербургской Академии наук,  
поэт 118, 394
- Березин Илья Иванович (1739–  
1811), муж Анны А. Дьяковой,

- отец Н. И. Березиной (в замужестве Львовой) 279
- Бибиков Александр Ильич (1729–1774), генерал-аншеф, государственный и военный деятель 24, 116
- Блудов Дмитрий Николаевич (1785–1864), двоюродный племянник Державина, литератор, министр внутренних дел 199, 200, 276
- Блэр де Лебёф, гувернантка Львовых 295
- Бобрищева-Пушкина Анна Осиповна (1722–1798), тетка О. П. Козодавлева по отцу 184
- Бобров Семен Сергеевич (1763/1765–1810), поэт 66
- Богданович Ипполит Федорович (1743–1803), поэт, переводчик 29, 80, 382
- Боровиковский Владимир Лукич (1757–1825), художник 125, 138, 144, 164, 191, 278
- Бороздин Константин Матвеевич (1781–1848), чиновник, историк, археолог; муж П. Н. Львовой 127, 146, 285, 303, 307–310, 312, 323, 369, 370, 393, 402, 418
- Бороздина Варвара Константиновна (в замужестве Воейкова, 1820–1853), дочь П. Н. Львовой и К. М. Бороздина, внучатая племянница Д. А. Державиной, была замужем за своим двоюродным братом Л. А. Воейковым 308, 402
- Бороздина Елена Константиновна (в замужестве Корсакова, 1838–1922), дочь П. Н. Львовой и К. М. Бороздина, внучатая племянница Д. А. Державиной 393
- Бороздины, родственники Д. А. Державиной 304
- Брайко Григорий Леонтьевич (нач. 1740-х — 1793), переводчик, издатель журнала «Санктпетербургский вестник» (1778–1781) 381
- Браницкая Александра Васильевна (урожд. Энгельгардт, 1754–1838), графиня, племянница кн. Г. А. Потемкина 223
- Брянский Яков Григорьевич (1790–1853), актер-трагик 392
- Булнина Анна Петровна (1774–1829), поэтесса 106, 265, 406

## **В**

- Валберхова Мария Ивановна (1788–1867), актриса, переводчица 105, 392
- Вагнер (сестра Балабина И. П.), княгиня 305
- Васильев Алексей Иванович (1742–1807), граф, министр финансов Российской империи 20, 21
- Васильевский Александр Алексеич (1794–после 1849), художник, автор портрета Г. Р. Державина (1815) 122, 377, 395
- Вельяминов Петр Лукич (1752–1805), переводчик, поэт, близкий

- друг Г. Р. Державина 32, 80, 81, 319
- Веньяминов Михаил Васильевич (1757–1826), чиновник 65
- Вера Николаевна см. Воейкова
- Веревкин Михаил Иванович (1732–1795), директор Казанской гимназии, поэт, переводчик 34
- Вигель Филипп Филиппович (1786–1856), мемуарист 196–200, 397
- Витберг Александр Лаврентьевич (1787–1855), архитектор, художник 210, 400
- Витгенштейн Петр Христианович (1769–1843), светлейший князь, генерал-фельдмаршал 10, 131
- Воеводский Иван Григорьевич, сосед Державиных по имению Званка 320, 321
- Воейков Алексей Васильевич (1778–1825), генерал-майор, поэт и переводчик 232, 285–289, 292
- Воейков Леонид Алексеевич (1818–1886), сын В. Н. Львовой и А. В. Воейкова, библиофил, библиограф 408
- Воейкова (урожд. Львова) Вера Николаевна (1792–1873), дочь Н. А. Львова, племянница Д. А. Державиной 12, 63, 76, 161, 229, 273, 284–288, 292, 307, 312, 313, 319, 372, 389, 404, 408, 411
- Воейковы, родственники Д. А. Державиной 304
- Волковы, гости Державиных 286
- Волконская (урожд. Мусина-Пушкина) Наталья Алексеевна (1784–1829), княгиня, дочь А. И. Мусина-Пушкина 285
- Вольтер Франсуа-Мари-Аруэ (François Marie Arouet; 1694–1778), французский философ-просветитель, поэт, прозаик, драматург, публицист 45, 405
- Воронов Николай Семенович, врач 328
- Вяземский Александр Алексеевич (1727–1793), князь, генерал-прокурор Сената 186, 190
- Вяземский Павел Петрович (1820–1888), дипломат, сенатор 409
- Вязмитинов Сергей Кузьмич (1744–1819), государственный деятель, главнокомандующий в Санкт-Петербурге, первый военный министр Российской империи 11, 69, 131, 386

## Г

- Гагедорн Фридрих фон (1708–1754), немецкий поэт 35
- Галицкий, полтавский помещик 223
- Гарновский Михаил Антонович (1764–1817), управляющий недвижимостью Г. А. Потемкина 88, 391
- Геллерт Христиан Фюрхтеггт (1715–1769), немецкий поэт и философ 35



- Гёте Иоган Вольфганг фон (1749–1832), немецкий поэт, философ 358
- Глинка Сергей Николаевич (1776–1847), писатель, издатель журнала «Русский вестник», мемуарист 8, 44–48, 377, 384
- Гнедич Николай Иванович (1784–1833), поэт, переводчик «Илиады» 50, 51, 106, 107, 109
- Гоголь Николай Васильевич (с 1821 Гоголь-Яновский; 1809–1852), писатель 413
- Гоголь-Яновская Мария Ивановна (урожд. Косяровская) (1791–1868), мать Н. В. Гоголя 315–317, 413
- Годейн Павел Петрович (1784–1847), генерал-лейтенант, командир школы гвардейских подпрапорщиков 89
- Голицын Александр Николаевич (1773–1844), государственный деятель 300, 412
- Голицын Сергей Федорович (1749–1810), военачальник, генерал от инфантерии 275, 409
- Голицына (урожд. Энгельгардт) Варвара Васильевна (1757–1815), племянница Г. А. Потемкина 275, 409
- Гораций Квинт Флакк (65 до н. э. — 8 до н. э.), древнеримский поэт 363, 379
- Греч Николай Иванович (1787–1867), писатель, редактор, издатель журнала «Сын отечества» и других периодических изданий 198, 388
- Григорий (в миру Георгий Петрович Постников, 1784–1860), архиепископ казанский и свияжский (1843–1856), позднее митрополит Новгородский, Санкт-Петербургский, Эстляндский и Финляндский 311, 370
- Грот Яков Карлович (1812–1893), филолог, исследователь творчества Г. Р. Державина 11, 273, 358–367, 377, 378, 403–405, 408, 409, 412, 414, 418
- Гудович Иван Васильевич (1741–1820), генерал-фельдмаршал, в 1785–1796 гг. генерал-губернатор рязанского и тамбовского наместничеств 26, 84, 190, 398

## Д

- Дашкова Екатерина Романовна (1743–1810), княгиня, президент Российской Академии и директор Академии наук, писательница 25, 163, 185, 186, 381
- Делагарди Понтус, сын (?) Е. Ф. Делагарди (урожд. Штернберг), воспитанницы графини Е. Я. Стейнбок, сестры Д. А. Державиной 304
- Дельвиг Антон Антонович (1798–1831), поэт, издатель 22
- Державин (1743–1816) Г. Р. 7–12, 18–32, 34, 36–42, 46–58, 60–84,

- 86–118, 122–134, 136, 137, 140, 144–153, 164, 168, 170, 172–224, 226–236, 238–246, 248, 252, 254–256, 263, 265–298, 302–304, 307, 308, 313–323, 326, 327, 331, 334–346, 348–356, 361–363, 365–369, 372, 377–419
- Державина (урожд. Бастидон, Ба-стодонт) Екатерина Яковлевна (1760–1794), первая супруга Г. Р. Державина 32, 33, 55, 77, 207, 274–278, 280, 283, 398, 399, 408, 409
- Державина (урожд. Дьякова) Дарья Алексеевна (1767–1842), вторая супруга Г. Р. Державина (1795) 12, 62, 77, 78, 102–104, 108, 123, 126, 136–141, 143–145, 148, 151, 152, 154–165, 167, 168, 170–175, 179, 180, 187, 188, 191, 194, 195, 220, 229, 230, 231, 233, 234, 236, 237, 240–249, 251, 252, 256–258, 260–264, 267, 269, 270, 273, 274, 278–286, 288–308, 310–316, 318, 321–328, 354, 359, 361, 364, 366, 369, 370, 372, 378, 393, 395, 401, 402, 405, 412, 414, 415, 419
- Державины 153, 182, 273, 275, 276, 280, 284, 286, 287, 289, 291–294, 302, 303, 315, 316, 391
- Дмитревский Иван Афанасьевич (1734–1821), актер, переводчик, драматург 55, 66, 67, 75, 76, 198, 391
- Дмитриев Александр Иванович (1759–1798), поэт и переводчик, брат И. И. Дмитриева 381
- Дмитриев Иван Иванович (1760–1837), поэт, государственный деятель 7, 8, 24–39, 48, 50, 54, 55, 57, 61, 77, 78, 82, 100, 101, 106, 274, 277, 280, 314, 379, 381, 383, 387, 389, 409, 413
- Дмитриев Михаил Александрович (1796–1866), поэт, критик, переводчик, мемуарист, племянник И. И. Дмитриева 8, 77–86, 389, 390
- Дмитрий Иванович см. Резанов
- Добрынин Гавриил Иванович (1752–1824), чиновник, мемуарист 208, 399
- Дьяков Алексей Афанасьевич (1720–1789), бригадир, инженер-строитель 279
- Дьяков Алексей Николаевич (1790–1837), племянник Д. А. Державиной 319, 327
- Дьяков Николай Алексеевич (1757–1831), чиновник, брат Д. А. Державиной 55, 285
- Дьякова (урожд. княжна Мышецкая) Авдотья Петровна (1729–1795), мать Д. А. Державиной 279, 414
- Дьякова Александра Николаевна (1795 — после 1829), дочь Н. А. Дьякова, племянница Д. А. Державиной 229, 232, 241, 243, 246, 249, 250, 258, 267, 295
- Дьякова Екатерина Алексеевна см. Стейнбок
- Дьякова Мария Алексеевна см. Львова

Дьяковы, родственники Д. А. Державиной 137, 138, 276, 279, 304, 306, 315, 319

## **Е**

Евгений (в миру Александр Филиппович Баженов или Боженков, (1784–1852), архиепископ Астраханский и Енотаевский (1844–1856) 311

Евгений (в миру Евфимий Алексеевич Болховитинов; 1767–1837), митрополит, писатель, друг Г. Р. Державина 256, 297, 324, 325, 346, 350, 360, 363, 397, 411, 415, 416, 417

Евгений (Елевтерий Булгарис; 1715–1806), духовный писатель, архиепископ Славянский и Херсонский 81

Еврипид (480-е — 406 до н. э.), древнегреческий драматург 50

Ежова Екатерина Ивановна (1787–1836 или 1837), драматическая актриса, гражданская жена князя А. А. Шаховского 74

Екатерина II (1729–1796), российская императрица 25, 27, 35, 36, 44, 72, 79, 85, 113, 138–140, 144, 151, 159, 163, 178, 179, 183, 185, 189–191, 208, 222, 224–227, 231, 267, 271, 277, 294, 320, 334, 335, 379, 382–394, 398, 399, 400, 410

Екатерина Павловна (1788–1819), великая княжна, впоследствии королева Вюртембергская 129

Елагин Иван Перфильевич (1725–1794), вельможа, историк, поэт 36, 37

Елизавета (1709–1761), российская императрица 34

Елманова, просительница 20

## **Ж**

Жихарев Степан Петрович (1788–1860), чиновник, мемуарист 7, 9, 54–76, 198, 283, 285, 386–389, 406, 410

Жуковский Василий Андреевич (1783–1852), поэт 50, 61, 380

## **З**

Завадовский Петр Васильевич (1739–1812), граф, государственный деятель, первый министр народного просвещения 198, 388

Захаров Иван Семенович (1754–1816), сенатор, писатель 29, 67, 68, 69, 388

Злобин Василий Алексеевич (1759–1814), откупщик, крупный предприниматель, благотворитель, именитый гражданин г. Вольска 206, 399

Зотов Захар Константинович (1755–1802), камердинер Екатерины II 72

Зубов Валериан Александрович (1771–1804), генерал-аншеф, брат П. А. Зубова 79

Зубов Платон Александрович (1767–1822), граф, фаворит Екатерины II 20, 21, 44, 72, 205, 398

**И**

Измайлов Александр Ефимович (1779–1831), писатель 48, 385, 393

Иосиф (в миру Иван Гаврилович Баженов или Бажанов, 1827–1886), архимандрит, епископ Балтский 368–374, 396, 412, 418, 419

Исидор (Никольский Яков Сергеевич; 1799–1892), митрополит Новгородский, С.-Петербургский и Финляндский 311, 312, 370, 374

**К**

Кавелин Александр Александрович (1793–1850), генерал от инфантерии; наставник будущего императора Александра II, петербургский военный генерал-губернатор 89, 90, 110

Капнист (урожд. Дьякова) Александра Алексеевна (1759–1830), сестра Д. А. Державиной 279, 315–317

Капнист Алексей Васильевич (ок. 1896–1867, по др. данным 1869), сын В. В. Капниста, миргородский уездный предводитель дворянства 407

Капнист Василий Васильевич (1757–1822), поэт, драматург 32, 65, 66, 77, 81, 82, 183, 223, 266, 269, 275, 276, 279, 291, 315, 316, 317, 391, 406, 407, 409, 411

Капнист (в замужестве Полетика) Екатерина Васильевна (1784–1837), дочь В. В. Капниста 316

Капнист Иван Васильевич (1794–1860), сын В. В. Капниста, губернатор Смоленской и Московской губерний, сенатор 89, 407

Капнист Николай Васильевич (? – ок. 1815), помещик, брат В. В. Капниста 266

Капнист Петр Васильевич (? – 1829), помещик, старший брат В. В. Капниста 223, 266, 269

Капнист Семен Васильевич (1791–1843), сын В. В. Капниста, чиновник, поэт 7, 97, 234–238, 252, 253, 255, 259, 269, 270, 296, 298, 327, 365, 391, 405, 407, 410

Капнисты, друзья и родственники Державиных 89, 93, 304, 316, 319, 407, 418

Карабанов Петр Матвеевич (1764–1829), поэт 281, 410

Каразин Василий Назарович (1773–1842), общественный деятель, инициатор создания Министерства народного просвещения, основатель Харьковского университета 48, 386

Карамзин Николай Михайлович (1766–1826), писатель, историк 8, 16, 29, 50, 53, 107, 108, 128, 198, 276, 285, 378, 381, 382, 392, 395, 409

- Кашкин Евгений Петрович (1737–1796), генерал-аншеф, ярославский и вологодский наместник 21
- Квашнин-Самарин, офицер Измайловского полка 89
- Кикин Петр Андреевич (1775–1834), флигель-адъютант 107
- Княжнин Яков Борисович (1740–1791), драматург, поэт 31
- Кобенцль Людвиг фон (нем. Johann Ludwig Joseph von Cobenzl; 1753–1809), граф, австрийский дипломат и государственный деятель, посол в России 19
- Кожевников Александр Павлович (1807–1875), чиновник, мемуарист, двоюродный племянник Д. А. Державиной 7, 255, 318–330, 328, 377, 405, 414, 415
- Кожевников Павел Александрович (1766 — после 1826), провиантский чиновник, сосед Державиных по имению Званка, был женат на Е. П. Яхонтовой, двоюродной сестре Д. А. Державиной 319
- Кожевникова Александра (Александрина) Павловна, двоюродная племянница Д. А. Державиной 242, 251, 302, 328
- Кожевникова (урожд. Яхонтова) Екатерина Петровна, двоюродная сестра Д. А. Державиной 261, 319
- Кожевниковы, родственники Д. А. Державиной, владельцы имения Пристань по соседству со Званкой 302
- Козлова Фекла Андреевна (ок. 1710–1784), мать Г. Р. Державина 33, 34, 382
- Кознаков Геннадий Иванович (1792–1851), генерал-майор 304
- Козодавлев Осип Петрович (1753–1819), сенатор, министр внутренних дел Российской империи, член Российской Академии 52, 67, 184, 185, 381
- Кокошкин Федор Федорович (1773–1838), театральный деятель, драматург 105, 106, 110
- Колтовская (урожд. Турчанинова) Наталья Алексеевна (1773–1834), адресат переводов Державина из Петрарки, жена обербергмейстера; Державин был опекуном ее имений 127
- Кондратович Кирьяк Андреевич (1703–1790), писатель, поэт и переводчик; коллежский ассессор 38
- Кондратий, швейцар в доме Державина на Фонтанке 133, 134, 249
- Кондратьев Николай Иванович, чиновник 56, 57
- Костров Ермил Иванович (1752–1796), поэт 29
- Косяровская (в замужестве Кованько) Екатерина Ивановна, родственница Д. П. Трощинского, сестра матери Н. В. Гоголя 414

- Крылов Иван Андреевич (1769–1844), баснописец 50, 100, 106, 109, 198, 210, 391
- Крюков Лев Дмитриевич (1783–1843), художник, преподаватель живописи в Казанском университете 126
- Куракина (урожд. Головина) Наталья Ивановна (1766–1831), княгиня, супруга А. Б. Куракина (1759–1829) 298
- Кутайсов Иван Павлович (ок. 1759–1834), граф 71
- Кутневич Василий (1787–1865), богослов, обер-священник армии и флота, член Святейшего синода 311
- Кутузов Михаил Илларионович (1745–1813), светлейший князь, фельдмаршал 42, 45
- Л**
- Лабзин Александр Федорович (1766–1825), писатель, масон 127, 210
- Лавров Василий Лаврович (?–1864), настоятель церкви Св. равноапостольных и Великих Царей Константина и Елены при Павловском военном училище 328
- Лазарев Петр Гаврилович (1743–1800), владимирский гражданский губернатор, друг Г. Р. Державина 414
- Лазарева Вера Петровна (в замужестве Львова, ?– 1867), сестра адмирала М. П. Лазарева, ее опекуном был Державин 287, 414
- Лазаревич Иван Лазаревич (1735–1801), придворный ювелир, строитель и владелец Ропшинского дворца 227
- Ла Порт Жозеф де (1713–1779), аббат, французский литературный критик, поэт и драматург 403, 412
- Леонтович Варвара Федоровна, племянница сенатора Д. П. Троицкого 268
- Лобанов-Ростовский Александр Иванович (1754–1830), князь, генерал-майор, был женат на дочери И. А. Безбородко, племяннице Н. И. Панина 287
- Ломоносов Михаил Васильевич (1711–1765), ученый, поэт 31, 35, 49, 52, 123, 379
- Лопухин Дмитрий Ардалионович (1730–1813), калужский губернатор (1799–1802) 56
- Лопухин Николай Андреевич (1790–после 1819), офицер Измайловского полка 89
- Лопухин Петр Васильевич (1753–1827), князь, государственный деятель 60, 64, 65, 71
- Лубяновский Федор Петрович (1777–1869), сенатор, мемуарист, поэт 209, 399
- Лыкошин Владимир Иванович (1792–после 1876), мемуарист,

- дальний родственник А. С. Грибоедова 314, 413
- Львов Александр Николаевич (1786–1849), сын Н. А. Львова, подполковник Конно-егерского полка, ценитель живописи и покровитель художников 105, 255, 260, 261, 298, 323, 391
- Львов Алексей Федорович (1798–1870), скрипач-виртуоз, композитор, руководитель Придворной певческой капеллы в 1837–1861; автор музыки гимна «Боже, Царя храни!» 279, 401, 402
- Львов Леонид Николаевич (1784–1847), подполковник, любитель искусств и благотворитель, сын Н. А. Львова 71, 292, 388
- Львов Леонид Федорович (1813–1890), управляющий Императорскими Московскими театрами (1860–1864), сын Е. Н. и Ф. П. Львовых 328
- Львов Николай Александрович (1751–1803), архитектор, изобретатель, поэт 29, 32, 33, 61, 65, 66, 80, 81, 137, 145, 183, 275, 279–281, 284, 302, 319, 378, 395, 401, 402, 404, 410, 415
- Львов Павел Юрьевич (1770–1825), литератор 26
- Львов Федор Алексеевич (1843–1899), сын А. Ф. Львова, коллежский советник 214, 401, 402
- Львов Федор Петрович (1766–1836), писатель, композитор, директор Придворной певческой капеллы, статс-секретарь Государственного совета (1827–1833) 11, 29, 32, 80, 107, 214, 279, 284, 292, 319, 395, 401–403, 410
- Львова Вера Николаевна см. Воейкова
- Львова Вера Петровна см. Лазарева
- Львова Елизавета Николаевна (1788–1864), дочь Н. А. Львова, племянница Д. А. Державиной 7, 11, 161, 168, 176, 214–217, 226, 284, 287, 319, 328, 372, 377, 395, 401–403, 405, 410, 415
- Львова Мария Александровна (в замужестве Голицына-Прозоровская, 1826–1901), княгиня 305
- Львова (Березина) Надежда Ильинична (1776–1809), супруга Ф. П. Львова, племянница Д. А. Державиной 279
- Львова Прасковья Николаевна (в замужестве Бороздина, 1793–1839), младшая дочь Н. А. Львова, племянница Д. А. Державиной 7, 11, 16, 97, 112, 127, 187, 214, 218–264, 232, 240, 244, 245, 249, 251, 262, 267, 269, 284, 285, 287, 292–297, 319, 327, 377, 401, 402, 403, 411, 414
- Львова (урожд. Дьякова) Мария Алексеевна (1755–1807), сестра Д. А. Державиной 137–139, 142, 279, 280, 284
- Львова (в замужестве Ваксель) Прасковья Алексеевна (1844 –

- ок. 1920), дочь А. Ф. Львова 214, 401, 402
- Львовы, родственники Д. А. Державиной 302, 304, 319
- Людвиг Фердинанд, принц Прусский (1772–1806), генерал-полковник, музыкант и композитор 404
- М**
- Максим Федорович (возможно, Фомич), домашний доктор Державина 322, 327, 405
- Максимович Лев Максимович (1754 — до 1816), переводчик, писатель, масон 54
- Мария Александровна (1824–1880), российская императрица, супруга Александра II 312
- Мария Федоровна (1759–1828), российская императрица, супруга Павла I 48, 385
- Марк Аврелий (121–180), римский император 30, 227
- Мартынов Иван Иванович (1771–1833), переводчик, издатель 81, 389
- Мартынов Павел Петрович (1782–1838), полковник Измайловского полка, впоследствии генерал-лейтенант, комендант Петропавловской крепости и Петербурга 88, 89
- Мерзляков Алексей Федорович (1778–1830), поэт, литературный критик, профессор Московского университета 61
- Мертваго Дмитрий Борисович (1760–1824), тайный советник, чиновник, мемуарист 201, 203–207, 397, 398
- Мещерский Александр Иванович (1730–1779), князь, статский советник 95, 98
- Миллер Петр Никитич (?–1842), двоюродный брат Державина 306
- Милютин, купец 20
- Михаил Николаевич (1832–1909), великий князь 168
- Мольер Жан-Батист Поклен (1622–1673), французский комедиограф 66
- Мордвинов Николай Семенович (1754–1845), адмирал 198
- Моцениго Дмитрий (?–1794), граф, полномочный министр во Флоренции 19
- Муравьев-Апостол Иван Матвеевич (1762–1851), дипломат, писатель 50
- Мусин-Пушкин Алексей Иванович (1744–1817), граф, историк, собиратель рукописей и русских древностей, действительный тайный советник 244, 285, 409



Мусина-Пушкина (урожд. Волконская, 1754–1829), графиня, супруга А. И. Мусина-Пушкина 285

Мышецкая Авдотья Петровна см. Дьякова

## **Н**

Наполеон I (1769–1821), император 122, 227, 272, 292, 417

Нарышкина Мария Павловна (1728–1793), статс-дама императрицы Елизаветы 138

Нарышкин Лев Александрович (1710–1775), обер-штальмейстер 44, 45, 46, 47, 279, 384

Неклюдовы, дочери давнего приятеля Державина Петра Васильевича Неклюдова 286

Нейком Зигизмунд фон (1778–1858), австрийский композитор, пианист, дирижер, органист, капельмейстер немецкого театра в Санкт-Петербурге 71

Нестеров Аполлон Иванович (?), поэт, автор воспоминания о Державине 8, 40–43, 383, 384

Никанор (в миру Николай Степанович Клементьевский, 1787–1856), митрополит Новгородский и Санкт-Петербургский 310, 311

Никифор, священник церкви во имя Воскресения Господня в селе Званка 354, 355

Николай (в миру Никифор Васильевич Доброхотов, 1800–1864), епископ Тамбовский и Шацкий 311

Николай I (1796–1855), российский император 157, 402

Ниловы, родственники Д. А. Державиной 304

Новиков Николай Иванович (1744–1818), писатель, просветитель 21, 382

Новосильцев Иван Филиппович (1761–1832), сенатор 20

Новосильцев Петр Иванович (1744–1805), муж Е. А. Торсуковой 277

Новосильцева (урожд. Торсукова) Екатерина Александровна, свойственница М. С. Перекухиной 277

## **О**

Огер (урожд. Полянская) Анна Александровна (1766–1845), баронесса, фрейлина 304

Озеров Владислав Александрович (1769–1816), драматург, поэт 50, 67

Озеров Евграф Данилович, переводчик, служил в канцелярии Державина 314, 413

Оленин Алексей Николаевич (1763–1843), художник, директор Императорской Публичной библиотеки, президент Академии художеств 29, 32, 33, 50, 65, 80, 81, 114, 275, 319

- Ольга Николаевна (1822–1892), великая княжна 308
- Орлов Григорий Григорьевич (1734–1783), генерал-фельдцейхмейстер, фаворит императрицы Екатерины II 32, 382
- Орлова-Чесменская Анна Алексеевна (1785–1848), камер-фрейлина 154, 157, 158, 159, 304, 328, 369
- Осокин Иван Петрович (1745–1808), купец, впоследствии дворянин, владелец металлургических предприятий Урала и Прикамья 38
- Остен-Сакен Фабиан Вильгельмович (1752–1837), князь, генерал-фельдмаршал 10, 131
- Офросимов Михаил Александрович (1797–1868), генерал, член Государственного совета 287
- П**
- Павел I (1754–1801), российский император 32, 72, 77, 79, 80, 84, 113, 138, 140, 216, 226, 274, 279, 379, 389, 394, 400
- Панаев Владимир Иванович (1753–1796), офицер, впоследствии чиновник, поэт 7, 10, 11, 113–135, 284, 285, 393, 394, 395
- Панаев Иван Иванович (1812–1862), писатель, литературный критик, журналист 115, 393
- Панаева (урожд. Страхова) Надежда Васильевна, двоюродная племянница Державина 113
- Панин Петр Иванович (1721–1789), граф, генерал-аншеф, сенатор 116
- Перекусихина Марья Савишна (1739–1824), камер-юнгфрау императрицы Екатерины II 277
- Перфильев Степан Васильевич (1734–1793), генерал-майор, масон 95, 96, 101
- Петр III (1728–1762), российский император 32, 77, 224–226, 274
- Петров, майор, служащий при Л. А. Нарышкине 44, 45
- Петров Василий Петрович (1736–1790), поэт, переводчик 31
- Писарев Александр Александрович (1780–1848), генерал-лейтенант, поэт, участник «Беседы любителей русского слова» 50
- Платов Матвей Иванович (1753–1818), граф, атаман Донского казачьего войска, генерал от кавалерии 10, 131
- Плиний Младший (61–113), древнеримский писатель и политический деятель 85
- Погодин Михаил Петрович (1800–1875), писатель, журналист, издатель 8, 276, 394, 409
- Поленов Василий Дмитриевич (1844–1927), художник 408
- Поленов Дмитрий Васильевич (1806–1878), отец В. Д. Поленова, археолог и библиограф, историк, дипломат; тайный советник, муж М. А. Воейковой 408

- Поленов Матвей Васильевич (1823–1882), сенатор 305  
владелица имения Пшеничище неподалеку от Званки 320
- Поленова (урожд. Воейкова) Мария Алексеевна (1816–1895), художница, мать В. Д. Поленова 273, 303, 306, 408  
Путятин (урожд. Бухарина) Елизавета Григорьевна, соседка Державиных и Аракчеева по имению, супруга В. Е. Путятин 261, 299
- Политковский Гаврила Герасимович (1770–1824), ярославский губернатор, сенатор 69, 70, 130, 131, 388  
Пушкин Александр Сергеевич (1799–1837), поэт 7, 8, 22–23, 93, 380, 409, 415
- Полянская см. Огер  
Пушкин, граф см. Мусин-Пушкин
- Попов Василий Степанович (1745–1822), действительный тайный советник, статс-секретарь императрицы Екатерины II 20, 79  
Пушкина см. Бобрищева-Пушкина
- Попов Михаил Максимович (1801–1872), педагог, чиновник, литератор 271–272, 407  
Пушкина, графиня см. Мусина-Пушкина
- Потемкин-Таврический Григорий Александрович (1739–1791), светлейший князь, государственный деятель 20, 27, 32, 79, 184, 185, 224, 381, 382, 409  
**Р**
- Потемкина (урожд. Голицына) Татьяна Борисовна (1797–1869), статс-дама, благотворительница 312  
Разумовский Алексей Кириллович (1748–1822), сенатор, министр народного просвещения 198, 222
- Потоцкий Северин Осипович (1762–1829), граф, чиновник 386  
Резанов Дмитрий Иванович (1774–не позднее 1828), сенатор 69, 70
- Пугачев Емельян Иванович (1742–1775), донской казак, предводитель Крестьянской войны 1773–1775 24  
Репнин Николай Васильевич (1734–1801), дипломат, генерал-фельдмаршал, масон 209, 399
- Путятин Василий Ефимович (1779–1805), капитан-лейтенант, Репнин-Волконский Василий Николаевич (1806–1880), князь 48, 400
- Репнина-Волконская (урожд. Балабина) Елисавета Петровна (1813–?), княгиня, фрейлина 305  
Ржевский Алексей Андреевич (1737–1804), действительный тайный советник, сенатор, вице-директор Петербургской Академии наук, президент Медицинской коллегии, масон; поэт 281, 410

Родзянко Аркадий Гаврилович

(1793–1846), поэт 110, 112, 316

Роллен Шарль (1661–1741), французский историк и педагог 404

Ростовская (урожд. Львова) Мария Федоровна (1814–1872), писательница, издатель, внучка Н. А. Львова, внучатая племянница Д. А. Державиной 7, 11, 136–195, 305, 328, 378, 395

Ростопчин Федор Васильевич (1763–1826), граф, генерал от инфантерии, московский генерал-губернатор (1812–1814) 80

Рубан Василий Григорьевич (1742–1795, поэт, переводчик, издатель 410

Румянцев Николай Петрович (1754–1826), граф, государственный деятель 60, 64, 65, 388

Рунич Дмитрий Павлович (1780–1860), московский почт-директор (1812–1816), попечитель Санкт-Петербургского учебного округа, мемуарист 404

Руссо Жан-Жак (1712–1778), французский писатель, философ 146, 379

Рылеев Кондратий Федорович (1795–1826), поэт, декабрист 7

Рябинин Дмитрий Дмитриевич (1826–1895), чиновник, литератор, мемуарист 211–212, 400

## С

Сакен см. Остен-Сакен

Салагов (Сологашвили) Семен Иванович (1756–1820), генерал-лейтенант, сенатор 69

Салтыков Петр Семенович (1700–1773), граф, генерал-фельдмаршал, московский главнокомандующий (1763–1771) 35

Самойлов Александр Николаевич (1744–1814), граф, генерал-прокурор, племянник Г. А. Потемкина 27

Самсонов Евгений Петрович (1812–1877), генерал-майор, автор мемуаров 305

Самсонова (урожд. Львова) Надежда Федоровна (1818–1895), писательница, композитор, дочь Е. Н. Львовой, внучатая племянница Д. А. Державиной 305

Сантис Александр Львович (1770–1838), граф, губернатор Киевской губернии (1811–1813) 223

Сафо (VI–V в. до н. э.), древнегреческая поэтесса 277

Свечина Софья Петровна (1782–1857), фрейлина, писательница 234

Сегюр Луи Филипп (1753–1830), граф, французский историк и дипломат, посол Франции при дворе Екатерины II (1784–1789) 138

Сербинович Константин Степанович (1797–1874), тайный советник,

- почетный член Петербургской Академии наук, автор мемуаров о Карамзине 276
- Симпсон (Симсон) Роберт (Роман) Иванович (1743–1822), известный врач, англичанин на русской службе 237, 238, 365, 405
- Скалон Василий Антонович (1805–1882), генерал-лейтенант, муж С. В. Капнист 406
- Скалон (урожд. Капнист) Софья Васильевна (1797–1887), младшая дочь В. В. Капниста, автор мемуаров 11, 266–270, 293, 377, 405–407, 411
- Смирдин Александр Филиппович (1795–1857), книгопродавец и издатель 84, 390
- Соколов Н. И., участник заседаний «Беседы любителей русского слова» 50
- Соколов Петр Иванович (1764–1836), непреходящий секретарь Российской Академии 76, 389
- Сократ (470/469 г. до н. э. – 399 г. до н. э.), древнегреческий философ 146
- Сосницкий Иван Иванович (1794–1877), актер 392
- Сперанский Михаил Михайлович (1772–1839), государственный деятель 50, 287, 288
- Стейнбок (урожд. Дьякова) Екатерина Алексеевна (1759–1823), графиня, сестра Д. А. Державиной 279, 280, 304
- Стейнбок Яков Федорович (1744–1824), бригадир, муж Е. А. Дьяковой 279
- Стогов Эрнест Иванович (1797–1880), полковник, мемуарист, бытописатель Сибири 265, 406
- Стоюнин Владимир Яковлевич (1826–1888), педагог, историк русской литературы 331–357, 415, 416, 417
- Страхов Александр Васильевич, подполковник, казанский губернский предводитель дворянства, двоюродный племянник Державина 113, 114
- Страхов Василий Михайлович, родственник Д. А. Державина 124
- Страхова Надежда Васильевна см. Панаева
- Строганов Александр Сергеевич (1733–1811), граф, масон 28
- Стурдза Александр Скарлатович (1791–1854), дипломат, писатель 49–51, 385
- Суворов Александр Васильевич (1730–1800), полководец 176, 177, 215, 216, 410
- Сумароков Александр Петрович (1718–1777), поэт, драматург 35, 36, 56, 382
- Сутерланд Ричард (1739–1791), барон, придворный банкир 19, 79, 387

**Т**

- Татищев Ростислав Евграфович (1742–1820), статский советник, внук историка В. Н. Татищева 56
- Тимковский Илья Федорович (1773–1853), юрист, писатель 52–53, 386
- Толстая (урожд. Кутузова) Прасковья Михайловна (1771–1844), дочь М. И. Кутузова 304
- Тома Антуан Леонард (1732–1785), французский писатель, автор похвальных слов 404
- Тончи Сальваторе (Николай Иванович) (1756 – 1844), художник 58, 63, 91, 92, 125, 144
- Траян (ок. 53–117 н. э.), римский император 85, 131
- Третьяковский Василий Кириллович (1703–1769), поэт, переводчик, филолог 38, 230, 404
- Трофимов Илья Иванович, врач Державина 322, 415
- Трощинский Дмитрий Прокофьевич (1749–1829), государственный деятель, тайный советник, сенатор 48, 223, 266–268, 294, 315–317
- Тургенев Иван Сергеевич (1818–1883), писатель 391
- Турчанинов Петр Иванович (1746 – после 1823), генерал-поручик, статс-секретарь императрицы Екатерины II 19

Тутолмин Тимофей Иванович (1740–1809), генерал от инфантерии, государственный деятель 190

Тырков Алексей Дмитриевич (1795–1853), владелец имения Вергежа по соседству со Званкой 194, 243, 244, 252, 254, 255, 319, 327, 328

**У**

Ушаков Н. А., генерал-лейтенант 373

**Ф**

Фон Фрикен Федор Карлович (1780–1849), генерал, участник наполеоновских войн 321

Фонвизин Денис Иванович (1745–1792), поэт, драматург 30, 31, 382, 404

Фотий (Петр Никитич Спасский; 1792–1838), архимандрит, настоятель Юрьева монастыря 300, 301, 304, 326, 359, 369

Фридрих II (1712–1786), король Пруссии 24

**Х**

Хвостов Александр Семенович (1753–1820), писатель, переводчик, участник «Беседы любителей русского слова» 67, 73, 107, 109

Хвостов Дмитрий Иванович (1757–1835), граф, поэт, участник «Беседы любителей русского слова» 29, 107, 265, 335, 416

Хвостова (урожд. Горчакова) Аграфена Ивановна (1768–1843), графиня, супруга Д. И. Хвостова, племянница А. В. Кутузова 288

Хемницер Иван Иванович (1745–1784), баснописец, переводчик, член Российской Академии 81, 100, 101, 391, 394

Херасков Михаил Матвеевич (1733–1807), поэт, драматург, куратор Московского университета, масон 25, 36, 196, 230, 404

Хераскова (урожд. Неронова) Елизавета Васильевна (1737–1809), писательница, супруга М. М. Хераскова 36

Хилков, князь, был женат на побочной дочери Д. П. Троицкого 316

Хлоповы, орловские помещики 224

Храповицкий Александр Васильевич (1749–1801), статс-секретарь императрицы Екатерины II 18–21, 379, 380

Хрущев Иван Петрович (1841–1904), историк литературы, педагог, журналист, издатель, 12, 273–373, 408, 409, 411, 412

## Ц

Цылов Николай Иванович (1799–1879), генерал-майор, писатель 213, 401

## Ш

Шаликов Петр Иванович (1768–1852), поэт-сентименталист 7, 8, 9, 15–17, 61, 378, 379

Шамбинаго Сергей Константинович (1871–1948), писатель, литературовед 403

Шаховской Александр Александрович (1777–1846), писатель, драматург, служил в Петербургской дирекции императорских театров и фактически руководил театрами Петербурга 74–76, 105, 133, 196, 197, 388, 392

Шелашников Константин Николаевич (1820–1888), генерал, иркутский губернатор 305

Шихматов (Ширинский-Шихматов) Владимир Александрович, князь, сосед Державиных по имению Званка 62, 69, 243, 244, 252, 319, 327

Шишков Александр Семенович (1754–1841), адмирал, писатель 50, 51, 66–68, 89, 107, 109, 128, 196, 198, 199, 271, 385, 415

Шувалов Иван Иванович (1727–1797), государственный деятель, меценат, основатель Московского университета и Академии художеств 24, 25, 34, 52, 53, 84, 184, 386

Шушерин Яков Емельянович (1753–1813), актер 87, 390

*Аннотированный указатель имен, упоминаемых в мемуарах*

**Э**

Эллизен Егор Егорович (ум. 1830),  
врач 61

**Я**

Якоби Иван Варфоломеевич (1726–  
1803), генерал от инфантерии,  
в разное время астраханский,  
уфимский и симбирский, иркут-  
ский и колыванский генерал-гу-  
бернатор 177–179, 396

Яковлев Алексей Семенович (1773–  
1817), актер-трагик 87, 94, 95

Ярославов, ярославский помещик,  
несправедливо обвинявшийся  
в разбое 21

Ярцев Николай Аникитович (1790–?),  
племянник Н. А. Львова 328

Ярцева Любовь Аникитична (1794–  
1876), племянница Н. А. Львова  
319, 328, 412

Яхонтов Николай Петрович  
(1764–1840), действительный  
статский советник, композитор,  
двоюродный брат (по матери кн.  
П. А. Мышецкой) Д. А. Держави-  
ной 187, 320, 321

Яхонтов Петр Петрович (?–1852),  
полковник, двоюродный брат  
Д. А. Державиной, сосед по име-  
нию Званка 319



Литературно-художественное издание

**Г. Р. ДЕРЖАВИН**  
**В ВОСПОМИНАНИЯХ СОВРЕМЕННОКОВ**

Воспоминания, дневниковые записи, очерки

Редактор *В. С. Кизило*  
Верстка *Л. В. Васильевой*

ISBN 978-5-9909951-9-2



Подписано в печать 11.06.2018. Формат 60 × 84<sup>1/16</sup>.  
Печ. л. 27,5. Печать офсетная. Тираж 200 экз. Зак. № 8-5350-lv.

Отпечатано в ООО «Типография Михаила Фурсова»  
Санкт-Петербург, ул. Заставская, д. 14 А

